

ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

4(6)' 2012

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Редколлегия:

Евгения КРАСНОЯРОВА зав. отделом поэзии
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ зав. отделом прозы и драматургии
Алексей ТОРХОВ зав. отделом критики
Алёна ЯВОРСКАЯ зав. отделом литературоведения и краеведения

Людмила ШАРГА отдел поэзии
Александр ЛЕОНТЬЕВ отдел прозы и драматургии

Общественный совет:

Валерий Басыров (Симферополь), Евгения Бильченко (Киев),
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск), Кирилл Ковальджи (Москва),
Александр Корж (Киев), Татьяна Липтуга (Одесса),
Виктор Петров (Ростов-на-Дону), Александр Петрушкин (Кыштым),
Юрий Работин (Одесса), Илья Рейдерман (Одесса),
Анна Стреминская (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

Издание журнала осуществляется при поддержке Одесского городского совета
в рамках программы «Сохранение и развитие русского языка в Одессе»

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: auroa_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2013

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Ксения Александрова. Бессонницу возведя в искусство. <i>Стихи</i>	4
Одесса: Александр Хинт. Первородный смех. <i>Стихи</i>	9
Одесса: Елена Боришполец. Графарет с единственным знаком. <i>Стихи</i>	13
Одесса: Александра Велич. «Даже у Шивы не хватит рук...» <i>Стихи</i>	17

ПРОЗА

Одесса: Евгений Деменок. Мама и Би Джиз. <i>Рассказ</i>	21
Одесса: Сергей Токолов. Piccola Italia per la stampa. <i>Очерк</i>	27

«МЕГАФОН»

«Ник Ильин и его Одессея» (<i>интервью Киры Сапгир с Ником Ильиным</i>)	29
--	----

ПОЭЗИЯ

Ялта: Евгения Баранова. Звёздочки на метафорах. <i>Стихи</i>	32
Новосибирск – Индианаполис: Давид Паташинский. Капитан мой капитан. <i>Стихи</i>	36
Полоцк: Александр Раткевич. «Когда я придумую...» <i>Стихи</i>	40
Гагра: Елена Бондаренко. Биометеорит в куртке на синтепоне. <i>Стихи</i>	43

ПРОЗА

Калининград: Виктория Берг. Улетели гуси-лебеди. <i>Рассказы</i>	49
---	----

ПОЭЗИЯ

Одесса – Ильичёвск: Александр Семькин. Словарь бессонницы. <i>Стихи</i>	53
Одесса – Нюрнберг: Григорий Вайдман. Сквозь перфорацию. <i>Стихи</i>	57
Одесса – Ганновер: Виталий Шнайдер. Кристаллически чист. <i>Стихи</i>	60
Одесса – Санкт-Петербург: Сергей Зиневич. Цапли меняют озеро. <i>Стихи</i>	62
Одесса – Измаил: Марина Копаной. «Неона свет и солнце Крыма...» <i>Стихи</i>	65

«СЕТИ»

Ирина Каменская, Настя Романькова, Сергей Городенский, Ирина Ремизова, Лев Либолев, Елена Мудрова, Михаил Шерб	67
---	----

ПРОЗА

Москва: Кирилл Ковальджи. Моя мозаика. <i>Воспоминания</i>	74
Тирасполь: Роман Кожухаров. Камни (<i>глава из романа</i>)	81

ПЕРЕВОДЫ

Джеймс Элрой Флекер. Золотое путешествие в Самарканд (<i>перевод с английского Анны Стреминской</i>)	99
Поэзия крымских ханов (<i>перевод с крымско-татарского Сергея Дружинина</i>)	102

ПРОЗА

Одесса: Ирина Дежева. Сонет в зеркало. Эссе	105
Одесса: Феликс Подгаец. Ностальгия. Очерк	109
Одесса: Галина Соколова. Адамово яблоко. Повесть. Окончание	110

ПОЭЗИЯ

Одесса: Галина Мещерякова. «Возврати меня детству...» Стихи	134
Одесса: Леонид Якубовский. Как мумии. Стихи	136
Одесса: Сергей Александров. Вселенная за забором. Стихи	139

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

Кыштым: Александр Петрушкин. Я полагаю, что молчанья нет. <i>Вступительное слово</i>	143
Челябинск: Владимир Тарковский. <i>Стихи</i>	144
Касли: Маргарита Ерёмченко. <i>Стихи</i>	147
Челябинск: Александр Букасев. <i>Стихи</i>	149
Екатеринбург: Владислав Семенцул. <i>Стихи</i>	150
Челябинск: Янис Грантс. <i>Стихи</i>	152
Челябинск: Елена Оболишкта. <i>Стихи</i>	155

«ФОНОГРАФ»

Одесса: Иван Рядченко. Во имя будущего света. Стихи <i>(вступительная статья Евгения Голубовского)</i>	159
Одесса: Владимир Филатов. Стекловидное тело. Рассказы	164

«ОКОЁМ»

Москва: Мария Ватугина. Отрава. В хорошем смысле (коктебельские хроники)	173
Ставрополь: Станислав Ливинский. <i>Стихи</i>	174
Кемерово: Дмитрий Мурзин. <i>Стихи</i>	178
Киев: Ирина Иванченко. <i>Стихи</i>	181
Красноярск: Сергей Кузнечихин. <i>Стихи</i>	186
Москва: Тим Скоренко. <i>Стихи</i>	190
Вологда: Мария Маркова. <i>Стихи</i>	192
Николаев: Алексей Торхов. Блю-Йеллоу Сабмарин. Из романа	197

«ЛИТМУЗЕЙ»

Одесса: Юлия Цымбал. Мир глазами Генриха Бёлля. Очерк	202
Генрих Бёль. «Тогда в Одессе». Рассказ	203
Одесса: Ольга Королькова. «А я был солдатом...» <i>(фронтовые письма Генриха Бёлля)</i>	205

«ШКАФ»

Москва: Лола Звонарёва. Завещание Агасфера. Статья	208
---	-----

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

БЕССОННИЦУ ВОЗВЕДЯ В ИСКУССТВО

Тёплая кожа, жадное любопытство.
Знаешь, почти что пытка — вот так молчать.
Хочется то в монастырь уйти, то напиться,
То прикоснуться к родинке у плеча,
Внуков растить, под вечер вязать на спицах,
Ночью до крика ссориться сгоряча.

Тёплая кожа, мягкость чужих касаний,
Целое солнце спрятано под пальто
Мартовским снегом, мокрыми волосами,
Нервной, весенней, праздничной суетой.
А с остальным мы справимся, верно, сами —
С этим нам не поможет уже никто.

Тёплая кожа, будь осторожней: слово
На языке опаснее, чем на вид.
Я просыпаюсь рядом, и больше словно
Нет ни обид, ни нежности, ни любви.
Кто нас, пустых и радостных, остановит,
Кто нас, безумных, сможет остановить?

Жадное солнце,
Тают на улицах слишком медлительные южане.
Каждое слово жалит.
Жаркие дни проходят, но никому не жаль их.
Помнишь, как мы сюда в прошлом августе приезжали?

Жадное солнце,
До самого вечера сонно лежать в постели,
Ворочаясь и потеть.
Просыпаться не с теми, не просыпаться с теми.
Помнишь, как мы, чтобы это закончилось, не хотели?

Жадное солнце,
Минута прохлады — почти что праздник.
Через неделю здесь каждый станет ленивым, праздным.
К осени вышить красным:
Помнишь, как я любила тебя? Помнишь, как я любила тебя напрасно?



Не смотри, как входят те двое в чёрном.
 Сероглазая Эльза, скажи мне, какого чёрта
 Ты каждый раз прогоняешь меня из чарта,
 Где снаружи зелень, внутри брусчатка?
 Потом в тишине всегда засыпаешь чутко,
 Сто раз мокрой спичкой чиркнув.
 Навсегда уходя из дома, забыть перчатки,
 Каждую ночь становиться чьим-то,
 Всю жизнь говорить о чём-то.

Не смотри, как падает на пол гильза.
 Сероглазая Эльза, скажи мне, какая польза
 От того, что ты носишь в себе обузу,
 Кто каждую ночь подступает к тебе обозом,
 Непрошенных мыслей тяжелым грузом,
 Последнего слова инертным газом?
 Где теперь все эти серьги, браслеты, бусы?
 Я смотрю на тебя, и мои вопросы
 Тают во рту, как кусок арбуза.

Не смотри, как льётся вино по коже.
 Сероглазая Эльза, скажи мне, наверняка же
 Ты знаешь, что я остался почти таким же,
 Что каждый из нас подумает или скажет.
 Закрывай глаза, в бреду опускайся ниже,
 Падай к ногам и не думай об этом даже,
 Не гадай, кому это было нужно,
 Кто кем обласкан, а кем обижен.
 Сероглазая Эльза, всё, что осталось важным —
 Не смотри, на то, что сейчас я вижу.

Как же не помнить всё это: жаркие дни, мягкие губы, изгибы, линии,
 Лилии в волосах, воздух пьянящий, утренний и запах травы несокошенной.
 Нет ничего светлей, ничего бесполезней, ничего безнадёжней прошлого -
 Ничего прекрасней.
 Солнце предплечья красит,
 Словно жёлтую краску вылило,
 Высыхают на шее бусины, волосы ещё чуть влажные после душа.
 Слова западают в душу,
 Или нам всё только мерещится, мнится, кажется.
 Мысли теряются от жары, плавится мир, превращаясь к полудню в кашницу,
 Переспевшую мякоть яблока. Нас обнимает август, обвивает, душит
 В своих объятьях,
 Ветер играет подолом платья,
 Бродит в кустах малиновых,
 Где закаты длинные,
 Где таится недолгий покой, что приносят полночи.
 Улыбаясь, слышу почти сквозь сон, как ты шепчешь,
 что завтра меня не вспомнишь... Но
 Как же не помнить всё это: жаркие дни, мягкие губы, изгибы, линии?

Помнишь, как это было не с нами — с теми,
 Кто отпустил на волю слова из горла,
 Утром проснулся, выбежал в поле голым
 Или всю ночь сидел на краю постели,
 Не выдыхая, слушая сонный голос.



Сколько их было – светлых, смешных, игривых,
Тех, кто во сне, смеясь, поднимался выше,
Тех, у кого рассвет на ладони вышит.
Меньшее счастье – солнце держать за гриву,
Большее счастье, если тебя услышат.

Помнишь, как это было не с нами – с ними,
Теми, кто не боялся идти на ощупь.
Что может быть прекрасней, сложнее, проще?
Новая полночь панцирь ненужный снимет,
Где-то в груди огнями взорвётся площадь,

Ты, оглушённый, будешь стоять на месте.
Был ли кто рядом? Может и вовсе не был,
Всё это просто вымысел, сказка, небыль.
Только однажды ночью проснутся вместе
Двое, во сне случайно упавших в небо.

Что будет дальше? То, что бывает с каждым,
Памяти не закрасить страницы белым.
Помни, под утро песни мои слабеют,
Но помолчи и я расскажу: однажды
Серое небо выплеснет их на берег.

Не сумеешь сдаться – остановись, я тону в предательстве и любви. Сколько нас таких, молодых на вид, а внутри прогорклых? Предлагаю смыться, сбежать, уйти, напевая тихо чужой мотив – наши песни лучше звучат в груди, умирая в горле.

Ладно, я предатель, а ты герой, пусть солгут сегодня твои таро, всё равно в остатке у нас зеро или даже меньше. Ладно, ты святоша, а я бандит, мне вся эта сладость уже претит. Как почувствуешь, что готов простить – уходи, не мешкай.

Как решишься снова себе солгать, расскажи, как Бог нас оберегал, мы привыкли драться и убегать, а не жить, как люди. Но одно я знаю наверняка: без тебя остаться уже никак. Обещай не верить моим рукам – хорошо, не буду.

Ты – горчайшая из моих побед, я тону в предательстве и тебе, но в последний вечер наш, хоть убей, о любви ни слова. Нас уже застукали, засекли. Что там впереди – только чистый лист. Пусть другие, милый, давно сдались, мы сыграем снова.

Мы же, как последние дураки, будем прятать ранки и синяки. Наши души мелки, в руках мелки, остальное – в домну. А над нами сонная синева, я тону в предательстве и словах, каждый божий день попадаю в ад, выходя из дома.

Наши души мелки, слова просты, надо строить стены и жечь мосты, различать оттенки у темноты, помнить: время лечит. Что ж, я всё сказал, теперь выбирай: расставаться, прятаться, умирать. Приходи к полудню к воротам в рай – я тебя там встречу.

До свиданья, мой друг.
Я тебе никогда бы не написала,
Если б не этот дождь, не эти серые тучи на горизонте,
Будто бы выплавленные из стали,
А я вчера потеряла последний зонтик,
Когда тебя случайно увидела на вокзале –
Ты выглядел радостным, но усталым.

До свиданья, мой друг.
Я ещё держусь за свои бессмысленные победы,
Слушаю неинтересные мне истории,
И не проси рассказать, чего мне всё это стоит.
Соседи по лестничной клетке идут обедать,
Их дети смеются звонко, кричат по-чаячьи.
Я вчера вспоминала тебя нечаянно,
Впрочем, вовремя перестала.



До свиданья, мой друг.
 Я опять наслаждаюсь своей бессонницей,
 Разбираю себя на составные части.
 Соседи смотрят старые фильмы и никогда не ссорятся,
 Я вчера поняла, что это, должно быть, счастье.
 Ты только не обещаай, что будешь писать мне чаще,
 Я тебе тоже не обещаю.

До свиданья, мой друг.
 Я вчера купила новое платье – нежное, голубое.
 У соседей в квартире пахнет зелёным чаем,
 Клубничным вареньем и, как всегда, любовью,
 У них по ночам горит свет в прихожей.
 Помнишь, как мы боялись проснуться на них похожими?
 До свиданья, мой друг,
 Я опять, конечно же, не прощаюсь.

1

Прошлое пахнет горячей сдобой, но оттого и больней, обидней.
 Ты выдыхала бессильно, злобно: я не хочу тебя больше видеть,
 Ты вытирала чужие слёзы, но и ревела сама потом же.
 Выпусти солнце, пока не поздно, не отрезая кусок потолка,
 Выпусти сердце своё на волю, над головой пустота синееет,
 Если ты знаешь, что будет больно, надо ли делать ещё больнее?
 Где-то внутри тебя бьётся слово, счастьем быть долгим, печали – светлой.
 Всё, что сегодня тебя не сломит, будет тобой же однажды спето.

2

Июльский полдень, жадное солнце в окно стучится.
 Я ещё помню каждую родинку на ключице,
 Каждый твой шрам и каждую линию на ладони.
 Прошлое пахнет сдобой, дурманом и белладонной,
 Счастьем, больным, безумным, бессонным, почти бездонным.
 Мы пытались быть целым, но всегда становились дробью,
 Моё нервное сердце испуганно билось в рёбра...
 Тихо. К вечеру солнце становится красным, спелым.
 Помнишь, сколько всего мы не сделали, не успели?
 Я вернусь для того, чтобы ты мне ещё раз спела.

3

Кажется, будто грудь разъедает щёлочь,
 Но мне не больно, не страшно, а горячо.
 Солнце касается ласково мокрых щёк.
 Так спой мне ещё,
 Спой мне, прошу, ещё раз.

Каждый вечер ты сидишь на диване и пялишься в одну точку,
 Ждёшь кого-то, наверное, ту, которая отличится от сотен прочих.
 Ты узнаешь её слова и жесты, повадки и даже почерк,
 Рядом с нею ты станешь совсем домашним.
 И вот она пляшет, ты ловишь себя на мысли, что всё, попался.
 Сколько таких же было недавно в твоей постели – не сосчитать по пальцам,
 Но что-то зовет тебя дальше, мягко вскрывает надежный панцирь.
 Прикасаешься к ней – и срывает башню.



В ней есть что-то совсем дикарское, как у маори, как у биса,
 Когда она, улыбаясь, шепчет: любимый мой враг, мой дорогой убийца.
 В эту жестокую нежность, наверное, слишком легко влюбиться,
 Хватит всего движения, жеста, танца —
 И холодные звёзды всю ночь догла сгорают в тебе и гаснут...
 Но утром ты выходишь из её квартиры, на бегу поправляя галстук,
 И говоришь себе, что ты, конечно, не струсил, не испугался —
 Ты просто не смог остаться.

Не засыпай, не время бродить во сне,
 Когда зима засыпает снежным своим покровом.
 От безысходности плакать, губы кусать до крови -
 Всё, что угодно, только не засыпать...
 Где-то вдали виднеется водопад,
 Волны смывают линию горизонта,
 Сверху вода нам кажется бирюзовой,
 Но остается красной на глубине.

Время идёт назад, зима укрывает снегом, как одеялом.
 Пой мне о том, что мы потеряли.

Вокруг только снег, только снег... Водопад по курсу.
 Не засыпай, бессонницу возведя в искусство,
 Не слушай, как шепчут о счастье волны,
 Пустые слова отпуская на волю,
 В бреду вспоминай о чём-то.
 Вода вдруг становится чёрной.

Времени больше нет. Не засыпай. Не молчи, не закрывай глаза,
 Пой мне о том, что нельзя сказать.

Не засыпай, смотри, водопад всё ближе,
 Вспомни всех тех, кто был на тебя обижен,
 Попроси прощения, позови на помощь
 Всех, кто забыл тебя, всех, кого сам не помнишь.

Время вдруг остановится, корабль твой остановится на краю.
 Не засыпай, пока я пою.

Утром всё же дожидаться помощи, идти домой, улыбаясь сонно,
 Дома смеяться, праздновать, чувствовать всех спасённых,
 Знакомым показывать фотографии водопада...
 Падать в чёрную воду, падать в красную воду, падать.

Время идёт, время уходит прятаться в тёплом уюте спален.
 Пой мне, пока я здесь засыпаю.

АЛЕКСАНДР ХИНТ

ПЕРВОРОДНЫЙ СМЕХ

Корабли не придут восемь лет,
восемь писем приснятся пустыне.
Нагревается сумрак и стынет.
Я ищу в тебе то, чего нет,
что мерцало в незрячей свече
и качалось в последнем трамвае
на продрогшем стекле забываний.

И уже не останется чем
резать спину того, что нельзя,
на ремни, в лоскуты, на обложки.
И понять, и уверовать можно
только пальцы к лицу поднеся.

Каблук заменяет шарк
на оступь, втиранием площади
в рельеф настроения ловчего,
придумывая ветшать
не здесь; но поклёп дождя
сорвавшего мелким – всем бы так
ещё – замечаньем реплики
медлительность, провожал
в дома, где и сумрак стыл
от неподтверждений слиться с
телами, с живыми лицами,
теперь наводя мосты –
так письма, прощальный стих
вобрав, заменяют имя и
сургуч обжигает инеем,
присужденным смерти их
вернее давать в ночи
корзины, где носят белое.
Как сука заиндевелая
у двери весна молчит.

О. Л.

День седьмой уменчался в ладонь, но за весь день
не утратил к ночи предрасположенность.
До утра незадёрнутость занавески
седину добавляла в рассвет по ложке,



а рассвет и сам отвечал рипостом,
проговаривал комнату всею кожей
наготы и её восковым несходством
разливал тепло сотворений божьих.

От молитвы лолитвенно-желатиновой
в келье каждого зеркала заперт Гумберт,
но осколки запрета ко рту подносила и
говорила «воскрес», повторяла «не умер»,
уличая дыхания блаженное олово -
и назад, по волне обратного звука
до истоков начала, где было не слово,
только губы.

угловатая дева созвездье инкубус
на витрину окна рассыпает колье
кровяные шарики станут кубики
забывают протечь образуя клей

инфракрасные капельки ветра в спине
застревают эхом от каблука
полусонная вмятина на простыне
тёплый контур распятия напрокат

ЗИМНИЙ ТЕАТР 29 ФЕВРАЛЯ

За оградой безвременья дикая ткань
пропускает шаги неофита пещер
в замороженный кем-то концерт, на алтарь
у оркестра намоленных мест и вещей.
Пропускает остатки тепла – в немоту
сновидений, и это бесплатный билет
в бельэтаж расстояния. Занавес – тут.

...Раскалённый до зрения, софита белей,
стеариновый пепел суфлёра шептал
размораживать вдох, ошибаясь в числе,
а за каждым – два сердца, и выход в портал.
И последняя ночь обрывающих след
инсценируя, что опоздала на круг
нафталиновым светом развалин темно
расставляла звериную, впалую грусть
на арене слепца...

Но, без четверти ноль,
без названия март, белламорте кулис
за секунду до снега – до снега вообще -
одинокая правда рождается вниз.
И не верит в намоленность мест и вещей.

время отклеится станет тих
шорох ботаники калевал
в небе останутся девять птиц
не успевающих колдовать



и расширяясь по осевой
до очертаний внутри растёт
неопалимая до сих пор
тень амулета кремень костёр.

Запомнить не обличье и повадку,
а мелкие неровности пятна,
что неким синоптическим осадком
зачато; в теле извести видна
несбыточность материи, остаток.
Нордический саднит эпистоляр,
исходит сиречь сентяблями сада
на буковки, золя клочки Золя,
придымленному ветру оставляя
кизиловый, кислее влаги след.
Ты первая вода, а я седьмая
ему на киселе.

В безбашенное небо одичаний
пожалуйся, поплачь по волосам
притихшая Рипанзель; у причала
без адреса кружит вечерний спам.
От патефона до фортепиано
за шторами не опознать во сне,
что никого давно не удивляло
куда идёт снег,

и утром не добраться до причастий.
Секунда, обнажённая дотла,
синхронно примеряет одночасье
на все колокола.

В глубине её неба теплеет игла,
на которой время висит устало,
плиссированный ветер тяжёлых глаз
ворошит песок его пьедесталов.

Примеряя Медведице Южный Крест,
на единственный миг опознаешь тут же
в чём оно, проклятие здешних мест,
и каких улиссов не ждать на суше.

Панацея лечится плацебо –
так осколок, вмятина на иконе
объясняют всё, что придумал Бог
для живых. И тех, кто в пустом вагоне.

Слово роет ходы и творит уста,
что снаряд – окопы. Потому что мина
под ногой всегда, потому что сам
первородный смех, Калибан, причина

и свобода пролить в небосвод воды
гороскоп огня. И, восьмым нечистым,
беззаветно выпить за молодых –
из кувшинок, чашечек, мёртвых листьев.



MEMORY

Что ты делаешь? Тень огня до сих пор не может
пересечь пентаграмму ветра за тем зелёным
переулком, и кровь дождя всё ещё под кожей.
Наваждения просят себя выгрызть поимённо,
соблюдая порядок безумств, не толкаться локтем,
занимают места поудобнее – всё бы им слушать
болеро, где моё молчание вило кольцо, где
твоё бормотание Богу бы прямо в уши.

Отнимающим призрачный год от своей весны
навсегда оставаться на стебле живых и поющих.
Расступается небо, спускается свет на весы,
нарисованный ливень настраивает клавесин
дребезжанием тёплых уключин -

это старая песня, извечная тяга угля
к раскалённому телу стены, возжелавшая знака
без надежды понять, бесконечная дань удивлять
облака и растения первого дня; это взгляд,
провисающий как у маньяка,

поутру расстрелявшего бал – до растерянных слуг,
канареечных перьев вокруг, онемения в пальцах.
Это холод, последняя слабость – остаться в снегу -
убирает ресницы с лица, и не дарит ни губ,
ни возможности попрощаться.

ЕЛЕНА

БОРИШПОЛЕЦ

ТРАФАРЕТ С ЕДИНСТВЕННЫМ ЗНАКОМ

МОЁ МОРЕ

Между моим морем и твоим небом всегда война,
Призраки павших, дымящие свалки осколков.
Перебинтуемся перед последним боем,
В этом заливе нефтетруба – одна.
Перешагнём может и баррельларёк закроем?

Ведь я же – твоя Аргентина, пой мне, Эрнесто, пой,
Мы после твоей песни вряд ли уже делимы.
Завтра тебе тридцать девять,
Лучше уйди в запой,
И береги ноги – они продолжают спину.

Не предлагай стрелять мне больше в сырой песок,
Опустошать обойму в пустые пляжи.
У времени нет времени
Ждать твой косой бросок,
Мой оловянный, железный, а лучше – совсем бумажный.

Я заживаю быстро, если и ты кровишь,
Густо, без остановок и сгорбленных передышек.
Про нас уже не строчат в Revolution magazine,
Есть там своих кровищ,
А Терана нет для тёплых твоих лодыжек.

Мы наполняем кураре каждый свой арсенал,
Я вою под шрамами, а ты подо мной стонешь.
Тебе нужно помнить, что это – моё море
И крепко держаться скал,
Иначе, Эрнесто, ты умер и долго-предолго тонешь.

СИСТЕМА

Хочется быть вполне одержимой
Братством своей страны.
И за нашим совместным успехом, мнимым,
Зорко смотреть с чужой стороны.

Хочется красные, спелые туфли,
Чтоб каблук от колена
И чтобы лампа над входом не тухла,
И мне табличку не выносили:
«Вы уже были сегодня, Елена!
Мы вам напишем, раз вы оглухли!»



Хочется выпить с Главным.
 Много, на брудершафт.
 Если бы пил Он, было бы славно,
 Водка с лимоном, мостик и шаг,
 Но Бог не пьёт, а то бы ещё Клеопатра
 Ходила вопросы решать.

Хочется белый глобус
 И двадцать четыре карандаша.
 И на любой паразитоголос
 Нарезать три короба чётких: «ша»!
 Я – неоГоген Земли.
 Хватит ч.б. здесь полос!

Хочется сбоя во всей системе,
 Резкого, через плечо.
 И никогда не быть ни в струе, ни в теме,
 А только там, где под ложечкой горячо,
 И тошнит от свободы
 И от гармонии в вене.

Хочется подкараулить Мессию,
 Вытолкнуть в актальный зал
 И дожидаться словесных усилий:
 «Извините, но, кажется, я опоздал...»
 Дверью хлопнуть снаружи сильно.
 Что-то ты, Господи, недосозидал.

А вообще хочется так:
 Парта, стул, тетрадка в косую,
 Мне не пять, и ещё не надцать,
 Я не голосую, а плохо рисую,
 И научиться хочу целоваться,
 Чтобы потом, головой рискуя,
 Богу смешные писать стихи.

ВАВИЛОНСКОЕ

У моей глупости такие красивые крылья,
 Что когда она в полёте – рогатки слепнут,
 Даже под крышами старых сопящих домов.
 И есть у меня книга про каббалу, но в ней нет
 Подходящих огненных слов,
 И не хватает одной буквы,
 Той самой, ради которой страницы её и открыла.
 К столу я тащу бидон вишнёвых чернил,
 Тебе на завтрак, думая, что ты носишь
 Где-то между сердцем и красивым почерком
 Маленький трафарет с единственным знаком,
 В котором всё моё прожорливое одиночество
 Стало поиском высших сил.
 К слову о нём: у него есть зубы,
 Два ряда металлического кошмара.
 И если морда его не съта пару-тройку дней,
 Сон не приходит ко мне,
 Хочет, чтобы я сама сражалась,
 Чтобы перестала тебя поить чернилами и стала умней.
 Завела бы собаку, научилась не лезть в бутылку,
 И забросила чтение между тугих строк.
 Все эти книжечки – горб на моём затылке,
 Не «писать» больше что ли, с ударением на второй слог?
 Это такое варварство по старинке:



Слуха лишать повёрнутого спиной к голосящему,
 Пусть по крылатой думает, что виноват глухой.
 Мы сожгли семь толстых настенных календарей,
 Чтобы услышать один раз по-настоящему,
 Что на чужом языке нам говорит другой.

БЕЗ ЗНАКОВ ПРИПИНАНИЯ

Я научу её одеваться
 Спать под Шанелью
 Без всяких там номеров
 Выносить отходы
 И с братьями Гримм возвращаться
 А мамины руки и папину ямочку на подбородке
 Уютно носить в тепле
 Гадать на кофейной гуще
 Всё знать про казённых валетов
 Ставить свечу за предков
 Без воска и фитиля
 Оставлять белое золото на чаевые
 И с третьего лотобилета
 Обновлять портфолио
 Финансового нуля.
 Уходить на сухой чердак
 Щелкать сладких бычков солёных
 Давать имена деревьям
 Пробовать дикий мёд
 Знать что только дурак
 Уходит из отчего дома
 Без благословите мама
 К новым своим дверям
 Плавить сахар
 На старенькой сковородке
 Петушками зайцами резать во рту щеку
 Говорить на пятнадцати языках
 Быть заговором и знаком
 Просить только жизнь
 У чёрного на берегу
 Утро
 Четыре двадцать
 хочется помолиться
 хочется дать ей имя
 знать как её дела
 Утро
 четыре тридцать
 значит она родится
 значит когда-то точно
 чтобы и я была.

СИНАЙ 33

Говори: я стар, я устал.
 Все открытки пахнут Синаем
 На тридцать третье лето.
 Мне не нужно в горы,
 Мне нужно немного скал:
 Эквадорского Спящего льва,
 Парус и Три брата на человека.
 Говори: все дни — водоём,
 Захлебнувшийся в жажде,
 Посыпавший пеплом пальцы.



Больше – левые,
 Дольше, чем мы живём
 И выходим в крепкие постояльцы.
 Говори: бесценное тяжело,
 У него плачет угол
 В иконах мерных,
 Через порог впадает последний щит,
 Насмерть не повезло,
 Ростом не повезло,
 Доски вторые могут не видеть первых.
 Думай: свет собирает хлеб,
 Водит поспать тебя в тень,
 С правильного утра,
 Он распадается в чёрные поры
 И не даёт ответ,
 Он в этот год отвечает
 За горы,
 если нужна гора.

ОКТЯБРЬ. ПЕРВОЕ

Сегодня сентябриг в последний раз,
 И кажется, уснули абрикосы.
 Лениво кот жуёт окурочок папиросы,
 Который кто-то потянул после колбас.

А во дворе ершатся воробьи
 С надутыми жабошными грудями,
 И я кричу с порога громко маме:
 «Смотри, лущат подсолнух, как свои!»

Мы собираем грушныя тела,
 С собачей будки, шифером накрытой.
 И ими наполняем старое корыто,
 В котором мылась маленькая я.

И есть желанье освежить забор.
 Несбыточное! Третий год желаю,
 А у соседки дети подрастают,
 И пыльный мяч с утра летит во двор.

Вчера набрякли двери – так дождило.
 И лаяла собака от грозы,
 А мне в беседке бабушка сложила
 Корзинку из просушенной лозы.

А я в неё теперь сложила нитки
 И спицы две с причудливым крючком,
 Намереваясь обязать весь дом,
 Со скоростью и ловкостью улитки.

А мыши пробрались в сырой сарай
 И тащат по одной запас картошки,
 Но нет у нас в доме приличной кошки,
 Есть только кот по славной кличке Рай.

В дубовых бочках бродит виноград.
 Не изабелла, – Лидия, как мама.
 Я завтра рано-рано утром встану
 И встречу осень по дороге в сад.

АЛЕКСАНДРА ВЕЛИЧ

«ДАЖЕ У ШИВЫ НЕ ХВАТИТ РУК...»

Свои мысли, как цветы в венок,
Я в слова вплетаю неумело.
И сокрыт их смысл между строк,
Как душа меж клеточками тела.

Этот мир – лишь тысяча зеркал,
Отражаются друг в друге лица.
Я как будто что-то потерял...
И как будто всё это мне снится...
Только голос в сердце прошептал:
«Если есть стихи – их кто-то написал,
Если жив поток – то он куда-то мчится».

Нет, не ты позвонил мне сейчас,
И ночью.
Я хочу быть с тобой каждый день, каждый час,
А впрочем...

Может быть, когда мои волосы время покрасит в белый,
Кто-то тоже меня полюбит так неумело.
И ночами не сможет спать, ожидая чуда,
И, как ты, я тоже верить ему не буду.

Потому что я одолела жизнь, а он просто птенец,
Потому что он так мечтателен и доверчив.
И в лицо я ему рассмеюсь с похмелья,
И скажу, что он так влюблен в меня от безделья.

И ночами, борясь с бессонницей и тоской,
Буду призывать забвение и покой.
На закате, в руках у страсти, шептать: «Прости,
Быть может, ты всё же сможешь меня спасти».

Я хочу, чтобы кто-то называл меня – мама.
Чтобы было кому позвонить, когда грустно и больно.
Чтобы было кого поругать, что он слишком упрямый
И в ответ слышать дерзкое: «Вечно ты мной не довольна».



Я хочу, чтобы было о ком помолиться в бессонные ночи,
 Чтобы было кому в мою память поставить свечу.
 Чтобы мне говорили с обидой: «Ну, мам, что ты хочешь?»
 О, поверь, ничего, ничего не хочу.

Только знать, что на свете есть кто-то родной, мой, и преданность
 И любовь моя, ласка моя в этом мире кому-то нужна.
 Мама учат детей своих, учат и даже не ведают,
 Что такое навеки, навеки – одна.

Сколько нежности, сколько тепла и заботы во мне не растрчено,
 Сколько я бы могла рассказать, передать, объяснить.
 Сколько дней в суете, в бесполезности мною утрачено
 Потому что казалось, что как бы и незачем жить.

Я не жалею, нет, я не плачу, не стоит печалиться.
 Только годы летят, только жизнь не вернётся назад.
 И мне страшно, что после меня на Земле не останется
 Никого, кто бы помнил мой голос и взгляд.

Странное – не всегда плохо,
 Удивляться нужно время от времени.
 Я пытаюсь собрать жалкие крохи
 Мудрости ушедшего поколения.

Может быть, я действительно шизофреник,
 Но мне кажется, что мир – иллюзия,
 Что коснёшься пальцем стены и насквозь,
 Что на каждом дереве где-то прячется ценник,
 Что это тюрьма огромная, а ты – пленник,
 И все будто вместе, а всё же врозь.

И обман, такой наглый обман,
 Что даже не прикопаешься. А так ясно, казалось бы:
 Живи, работай, копи на старость.
 Только кому выгодно, что ты маешься, стараешься,
 А на планете детям твоим уже ничего не осталось...

Всё присвоили, выжгли, выкачали, вырубали,
 Создали что-то ненужное, потратили десять баксов, продали за сто,
 Попользовались, надоело, выбросили на свалку,
 А может и на кучу вонючую под кустом.

Заработаем снова, пойдём, купим новое, модное, попонтуемся,
 Порадуемся один день, и забудется.
 Только есть ли смысл в этой спешке, в этом безумии,
 Фальшивой вере, что счастлив тот, кто в поте лица своего трудится?

Страшно, что наши дети звёзд не видели, не бегали по росе,
 Не плели веночки из колосков, не гуляли по лесу.
 Страшно, что им очень хочется быть как все,
 Даже когда носят серёжки во всех местах и сбривают волосы.

И никто не задумывается почему, если все равны
 В правах от рождения,
 Кто-то присвоил даром ресурсы целой страны,
 А кто-то мотает срок за несовершеннолетние преступления.

Ну, посудите сами, что-то здесь не вяжется:
 Серые города, разбитые улицы, грустные лица, –
 Это и есть счастливая жизнь, или только кажется,
 Что ничего не может уже измениться?



Опять это глупое состояние.
Читаю чужие стихи, восхищаюсь.
Получила два высших образования,
Работать не собираюсь.

Пью цикорий, три чашки в день,
Ем чёрный хлеб с солью.
Вчера напала какая-то лень,
Смешанная с душевной болью.

Пиши диссертацию, дур-ра,
Исключат, стипендию потеряешь,
Вот весь смысл аспирантуры,
Другого не знаешь.

Что написать? Что нужно жить,
Что смысл жизни в вечном стремлении к истине,
Что мир – это единое целое.
Только кому из нас хватит смелости отделить
Истинное от ложного, чёрное от белого.

Убийца и жертва, красивое и безобразное,
Бытие и Ничто, бессмысленное и вечное,
Умное – глупое, чистое – грязное,
Сострадание Будды и европейское бессердечное
Правило, лишь бы тебе хорошо, лишь тебе довольствие.
Эта западная манера оценивать благополучие страны
По росту потребления продовольствия.

Нельзя отделить причину от следствия,
И мне кажется, очень похоже на правду,
Мысль, что Эра всеобщего благоденствия
Начинается периодом полураспада.

Я хочу жизнь прожить так,
Как будто прошла босиком по цветущему лугу,
Не оставив следов.
Я знаю, что все мы покорно, безропотно
Ходим по кругу в плену городов.

Я знаю, что нужно любить и не требовать благодарности.
Прощать, отпускать и не ждать сострадания.
Я знаю, что все мы здесь дети далёкой туманности,
Пришедшие в мир с непонятным, как будто, заданием.

Я знаю, мне нужно любить тебя просто, такого как есть,
Далёкого от совершенности.
Я знаю, мне нужно уметь принимать их укоры и лесть,
Как гений, уставший от чужой ему современности, тленности.

Я знаю, что очень бессмысленно
Заставлять себя уважать эти скучные лица
В обёртках из шёлка поддельного.
Я знаю, всё то, что мне снится –
Не импульсы мозга, желавшие воплотиться,
А реальность, ему сопредельная.



Я знаю, правды нет, есть только предположения,
Поэтому ничего определённого не утверждаю.
Я просто ребёнок своего поколения, не имеющий мнения,
И поверьте, прекрасно знаю, что ничего не знаю.

Я просто хочу прожить жизнь свою так,
Как будто прошла босиком по цветущему лугу,
Не оставив следов.
Я просто хочу, что мы понимали друг друга
Как дети, без слов.

Я очень хочу, чтобы длилось то светлое чувство,
Когда без одежды, с распущенными волосами,
Лежишь на траве, и в твоей голове,
Только небо с застывшими облаками.
И смотришь вокруг, зелёный луг
Пытаясь обнять руками.
Понимаешь, что даже у Шивы не хватит рук,
Собрать миллионы осенних ягод, алеющих под ногами.

И за это счастье,
Быть нераздельной частью
Чего-то лучшего, чем ты сам,
Я готова отречься от всякой власти,
Я, наверно, и душу свою отдам.

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

МАМА И БИ ДЖИЗ рассказ

Интерклуб на улице Розы Люксембург, нынешней Бунина, был в советские времена единственным в Одессе местом, где студентки факультета романо-германской филологии Одесского университета могли пообщаться с живыми иностранцами. Нет, студенты, конечно же, тоже могли попрактиковаться в английском, немецком и французском, но сами знаете – студентов на РФФ днём с огнём не сыщешь.

Иностранцы разных калибров и мастей, а точнее – разных национальностей и профессий, – придя в Интерклуб, могли почувствовать себя почти как дома. Вокруг звучала родная речь, а в баре на доллары, фунты и марки можно было купить всё то, что для советских граждан было недоступной роскошью. Гостями Интерклуба были в основном моряки. «Водоплавающие» – так называли их в Одессе. Собственно, основной целью открытия Интерклуба было создать для иностранных моряков такое место, где они могли бы, пока их суда находятся под погрузкой, проводить свободное время, не болтаясь при этом на улице и не смущая советских граждан своим зажиточным буржуазным видом. Однако в Интерклуб иногда забредали и обычные туристы, ведь ориентироваться в тогдашней Одессе и социалистической действительности в целом иноязычным гражданам было затруднительно. Собственно говоря, и сегодня у нас нет ни одного уличного указателя на английском, но сегодня, по крайней мере, процент англоговорящих на улицах гораздо выше того, что был тогда, в конце 60-х.

Студентки РФФ приходили в Интерклуб стайками. Если стайка не собиралась, то приходили парами, но никогда поодиночке. Это можно было легко понять. Во-первых, ситуация складывалась двусмысленная – девушки сами приходят в мужскую компанию. Чуть было не написал «по своей инициативе», но вовремя спохватился – инициатива исходила скорее от преподавателей и руководства факультета. То есть студенткам прямо говорили о том, что посещение Интерклуба желательно. Причём посещение регулярное, не меньше двух раз в неделю. Конечно, не для завязывания международных контактов или, не дай Бог, не для поисков иностранного жениха. Основным поводом была, как я уже говорил, языковая практика. Для того, чтобы попасть в Интерклуб, девушкам приходилось сдавать целых два экзамена – экзамен по языку и экзамен на знание политической ситуации. Они должны были достойно представлять Советскую Родину в общении с пусть не акулами, но дельфинами капитализма. Или бычками. Камбалами капитализма.

Среди таких камбал было много тех, кто уже бывал в Одессе в предыдущих рейсах. Но иногда попадались и те, кто приехал-пришёл-приплыл в наш город впервые. Им всё было в новинку, всё интересно.

С двумя такими не «водоплавающими» интуристами и познакомилась в июне 1968 года моя мама, перешедшая в том году на последний курс РФФ. Тёплым летним вечером они с подругой пришли в привычное место на улице Розы Люксембург. По левую руку в арке дворика филармонии, построенной когда-то выдающимся итальянцем Бернардацци как биржа, была – собственно, и сейчас есть, – большая красивая деревянная дверь, войдя в которую советский человек попадал в совершенно иной мир. Широкая мраморная лестница вела на второй этаж, в огромный зал с высокими потолками, отделанными дубовыми балками; в зале к приходу иностранных гостей расставляли столики, каждый из которых прослушивался сидящим в отдельном кабинете директором Интерклуба – разумеется, сотрудником уполномоченных органов, – с экзотической фамилией Мариосабиа. Но ни мама, ни её подруга Люба этого, разумеется, не знали, и настроение их ничто не могло испортить. В зале за большой, выполненной по последней моде барной стойкой можно было купить недоступные для простого советского гражданина предметы роскоши – импортные сигареты и спиртное. В соседней комнате была библиотека, в которой можно было не только найти раритетные книги на английском, но и скрыться от посторонних глаз – но, увы, не от посторонних ушей.

Встречи с иностранными гостями организовывались как вечера дружбы. Когда заходило немецкое судно – устраивался вечер советско-немецкой дружбы. Когда заходило индийское, – а такое бывало часто, – соответственно советско-индийской. На этот раз был организован вечер советско-английской дружбы – к причалу Одесского морвокзала пришвартовался большой английский пассажирский теплоход.

Основными заводилами вечеров дружбы как раз и были отличницы, комсомолки и спортсменки, одной из которых и была моя мама. Девушки – и иногда даже парни, – готовили небольшое выступ-



ление, в котором пели, танцевали и разыгрывали небольшие театрализованные сценки, прямо-таки втягивая иностранноподанных в дружбу. После такого разогрева все разбивались на группы по интересам и продолжали общаться, уже сидя за столиками.

Этим вечером в клубе было шумно и многолюдно. Поздоровавшись со знакомыми и окинув взглядом зал, мама обратила внимание на двух совсем молодых людей, выглядевших и одетых необычно даже для иностранцев. А точнее, ярко и даже вызывающе. Оба были длинноволосыми, с густыми шевелюрами, бакенбардами и небольшими бородками. Синий в тонкую белую полоску пиджак, белая водолазка, коричневые расклешённые вельветы у одного, жёлтый пиджак с голубой рубашкой с отложным воротником и опять же расклешённые джинсы у второго. Конечно, мама знала, как выглядят рок-звёзды – фото «Битлов» были знакомы всем студенткам иняза, а их песни на бобинах мама слушала уже в 64-м году. Но эти двое выглядели слишком ярко даже для рок-звёзд. Мамины мысли прервал Нолик – комсомольский заводила и неформальный худрок вечеров дружбы. Ноликами в Одессе называли Наумов, Лодиками – Давидов. То были славные времена, когда даже комсоргами в нашем городе были евреи.

– Света, пора готовиться к выступлению.

В этот вечер мама пела свою коронную – «Strangers in the night» Синатры. Её песня завершала «разогрев». С причёской а-ля Бабетта, в коротком синем платье, она привлекала к себе всеобщее внимание. Неожиданно, к немалому мамину смущению, один из двух ярко одетых парней подошёл к ней, склонился к микрофону и начал подпевать. После первых нот стало неясно, кто кому подпевает – таким густым и сильным был его голос. Публика аплодировала, как одержимая, и попросила исполнить ещё одну песню, на бис.

– Давайте сплём «Следы на песке» Пэта Буна? – спросила мама.

– С удовольствием! – ответил ей молодой человек.

И снова публика аплодировала как одержимая.

После окончания песни молодой человек раскланялся во все стороны, взял маму под руку и повёл к своему столику. Мама растерялась было, но не подала виду и позвала взглядом Любу. Второй молодой человек стоял у столика и, улыбаясь, смотрел на маму. Оба англичанина были удивительно похожи друг на друга – правда, этот казался немного старше и представительнее.

– Светлана, – сказала мама, протягивая ему руку. В тогдашнем СССР руки для рукопожатия протягивали только очень решительные и эмансипированные девушки.

– Барри, – ответил молодой человек. – А это – мой брат Робин, – сказал он, показывая на маминого кавалера, который минуту назад так замечательно пел.

Робин пожал мамину руку и посмотрел ей в глаза.

Мама слегка покраснела и сказала, показывая на подошедшую подругу:

– А это – моя подруга Люба.

Люба тоже покраснела.

– Давайте выпьем кофе? – предложила мама.

– С удовольствием, – хором ответили братья. Через несколько минут Робин принёс всем кофе, сел рядом с мамой и вновь, улыбаясь, посмотрел ей в глаза.

– Вы выглядите экстравагантно даже для англичан, – сказала мама.

– Мы не совсем англичане. Родились на острове Мэн, потом вся семья уехала в Австралию. Вернулись в Англию всего полтора года назад, – сказал Барри. – Вернулись для того, чтобы делать настоящую музыкальную карьеру.

А дальше началось совсем невероятное. Барри и Робин заявили, что они не просто музыканты, а всемирно известные музыканты. Что они записывают сейчас новый альбом – уже шестой, – который задумали назвать «Masterpeace», как игру слов «шедевр» и «мир». Что часто ссорятся на музыкальной почве – ведь каждый считает себя главным, и когда каждому нравится разная музыка, это в итоге приводит к конфликтам. Что продюсер требует от них всё новых песен и что они записывают по альбому каждые полгода. И вообще, поют они с детства, начинали музицировать ещё с папой, и за десять лет так устали, что пришла пора отдохнуть. И вот они решили отправиться в круиз по Средиземному и Чёрному морям для того, чтобы проветриться и найти новые идеи. Вот так и приплыли в Одессу на круизном теплоходе – на целых три дня.

Мама, конечно, встречала в Интерклубе разных иностранцев – капитанов, бизнесменов, возможно, даже миллионеров. Но чтобы кто-то так откровенно заливал – такого ещё не было. Они с Любой улыбались и толкали друг друга под столиком при очередном сюжетном повороте или рассказе о музыкальных наградах, которые парни недавно получили.

– Сколько же вам лет, всемирно известные музыканты? – спросила мама.

– Мне почти двадцать два, я старший, – сказал Барри. – Робин на три года младше. А ещё у Робина есть брат-близнец Морис. Он родился на целых тридцать пять минут позже. Он тоже играет с нами в группе.

– И как же называется ваша группа? – хихикнула мама.

– «Би Джиз». Мы – братья Гибб. Отсюда и название.

– Никогда не слышали! – приснули мама с Любой. – «Битлз» слушаем, «Роллинг Стоунз» знаем, но о «Би Джиз» ничего не слышали.

С парнями всё было ясно. Ясно было то, что они решили «скленть» доверчивых советских девушек, рассчитывая на то, что сквозь «железный занавес» не проникает никакая информация с Запада, и проверить их небылицы не получится.



Но, как говорится, не на тех напали. Всё-таки мама была дочерью офицера, полковника, который вот-вот должен был стать генералом. Да и экзамен на знание политической ситуации сдала на отлично. Поэтому настойчивые просьбы юношей проводить их с Любой домой решительно отвергла. Но потом сжалась и согласилась завтра днём показать Одессу.

В те времена просто так гулять с иностранцами по городу советским гражданам запрещалось. Но — нет ничего невозможного для человека с интеллектом. А интеллект, как известно, помогает не только решать проблемы, но и предвидеть их. Будучи ещё студенткой второго курса, мама окончила курсы экскурсоводов при «Интуристе», что находился тогда в знаменитой гостинице «Красная». И теперь она могла гулять с иностранцами по городу сколько душе угодно.

Назавтра встретились у Дюка. Мама с Любой даже ушли пораньше с занятий. Робин и Барри оделись ещё более экзотично, решив, видимо, покорить девушек окончательно. Барри был в ослепительно белом костюме с розовой рубашкой и бордовым галстуком, а Робин — в тёмно-синем в белую полоску костюме с жёлтой рубашкой и бежевым шейным платком. Взгляды всех прохожих были устремлены на необычную четвёрку, которая так выделялась на фоне всегда неброско одетых советских людей.

— Давайте я расскажу вам о нашем городе? — радостно предложила мама.

— Мы с утра ждём этой прогулки! — улыбнулся Робин и взял маму под локоть.

— Тогда начнём прямо отсюда — с Приморского бульвара, — сказала мама и повернула к Думе, в которой тогда находился горсовет.

Приморский бульвар называли тогда «капитанским мостиком» — вышедшие в отставку капитаны и офицеры приходили во Дворец моряков, а потом сидели часами на скамейках, рассказывая друг другу и всем желающим бывалые и небывалые рассказы о морских путешествиях. Мимо одной такой группы как раз и прошли мама с Любой и ребятами. Седой стройный капитан в красивой морской форме громко рассказывал: «И вот идём мы из Норвегии в Финляндию...»

— Не знаю почему, но я всегда мечтала поехать в Финляндию, — сказала мама Робину.

— Мне сложно понять это желание, — ответил Робин. — Скудная холодная страна.

— Ну и что! — мама трянула головой. — А я хочу!

Робин смутился. Мама тоже.

— Ну что же, давайте я расскажу вам об Одессе — сказала мама, прерывая затянувшуюся паузу. — В гостинице «Лондонская», что справа от нас, останавливались Владимир Маяковский и Айседора Дункан, Жорж Сименон и Луи Арагон, Антон Чехов и Роберт Льюис Стивенсон...

Мама увлечённо рассказывала, братья смотрели на неё с восхищением, а вокруг стояла та одесская погода, которая бывает только в июне и начале сентября, когда на улице «немного жарко и до одури приятно». Потом все вместе считали ступеньки Потёмкинской лестницы, спускаясь к Морвокзалу, тогда ещё не изуродованному гостиницей, у причала которого стоял теплоход — на нём братья пришли в Одессу... На эскалаторе поднялись вверх, повернули к Воронцовскому дворцу, а оттуда по «золотому треугольнику» — через Краснофлотский переулок к площади Потёмкинцев и дальше по Карла Маркса и Ласточкина вышли к Оперному театру. Мама рассказывала братьям о славной истории Одессы, о её знаменитых градоначальниках... Когда речь зашла о Воронцове, братья оживились — они жили в Лондоне недалеко от улицы, названной в честь отца нашего генерал-губернатора, Семёна Романовича. В общем, мама блистала эрудицией и английским. Наверное, эта любовь к истории Одессы приведёт её потом на работу в Историко-краеведческий музей... Когда все подошли к Оперному, Барри и Робин вдруг предложили пойти вечером на представление и, не дожидаясь согласия, побежали в кассу.

Мама с Любой поспешили за ними — помочь объясняться с кассирами. Отказаться было невозможно и неудобно. Так мама в очередной раз посмотрела «Лебединое озеро», а Барри и Робин смотрели на неё... Но это было позже, вечером, а пока молодые люди гуляли по Пушкинской и Дерибасовской, а когда, устав, все присели отдохнуть на скамейке в Горсаду, Барри и Робин вдруг запели. Это потом, много лет спустя, мама узнала, что они пели свою знаменитую песню «Words», а тогда они с Любой не на шутку перепугались и попросили братьев не петь так громко — вокруг были советские люди, милиционеры, да и КГБ не дремало — их всевидящие сотрудники были везде, и маме совсем не хотелось объяснять, что они с подружкой делают тут в компании подозрительных иностранцев. Братья удивились и даже немного обиделись, но петь перестали. И пригласили девушек к себе на пароход, в каюту — отдохнуть перед Оперным. Мама аж поперхнулась от такой наглости и собиралась было направиться с Любой к троллейбусу, но Робин упал перед ней на колени, извинялся, улыбался и целовал руку. А потом предложил вернуться к Дюку и немного подождать, пока они с братом спустятся к своему пароходу и принесут девушкам в подарок свои пластинки. Любопытство взяло верх над благоразумием, и вот уже мама с подружкой стоят у Дюка, а братья Гибб приносят им целых две пластинки — неслыханное тогда дело, — по одной каждой девушке. Маме достался альбом «Bee Gees' 1st», а Любе — «Horizontal». Увидев фотографии Барри и Робина на обложках пластинок, девушки заволновались. Нет, внешне это, конечно, никак не проявлялось, но мысль о том, что они выгуливают по Одессе заморских рок-звёзд, заставила учащённо биться девичьи сердца. Но — нужно было держать фасон. А для того, чтобы его держать, необходимо было подкрепиться.

Сравнивать тогдашний одесский общепит с сегодняшним — занятие неблагоприятное. Сегодня иностранцев можно привозить на специальные гастрономические туры по «одесской» кухне, а тогда... К счастью, незадолго перед описываемыми событиями на Дерибасовской угол Карла Маркса откры-



лось кафе «Алые паруса», которое сразу стало считаться молодёжным, и у студентов верхом шика считалось пройтись «по Дериве» и зайти в «Паруса» или открывшуюся напротив «Лакомку», которые сверкали новенькими стеклянными витринами – неслыханное в те годы новшество.

Не без труда нашли свободный столик. Конечно же, компания привлекла к себе внимание – уж слишком несоветскими были лица и одежда Барри и Робина. Маме не хотелось обращать внимание на назойливые взгляды соседей, и она принялась рассказывать парням о своём новом литературном увлечении – романе Германа Мелвилла «Моби Дик», который они проходили недавно по курсу зарубежной литературы. Мама рассказывала братьям о сумасшедшем капитане Ахаве и его зловещих помощниках во главе с парсом Федаллой; о бедном сошедшем с ума юнге Пипе, выпавшем из лодки и проведшем ночь в бочке в открытом море; о капитане корабля «Рахель», потерявшем сына во время охоты на Моби Дика; о чудом спасшемся Исмаиле, который удержался на плаву благодаря гробу, сделанному заранее его другом гарпунщиком Квикегом...

Время пролетело незаметно. На улице начало смеркаться. Пора было идти в театр. Барри и Робин долго и искренне восхищались нашим Оперным, творением талантливых венских архитекторов-многогостаночников Фельнера и Гельмера, создавших целый концерт по постройке оперных театров в Европе. В антракте пили кофе с пирожными, болтали о пустяках, а потом мама спросила, когда братья выпустят новый альбом.

– Мы недавно прилетели из Нью-Йорка, записали там несколько песен, – сказал Барри. Похоже, альбом будет двойным. Дописывать будем уже дома, в Лондоне. Надо спешить – Стигвуд подгоняет, как всегда. Наш продюсер.

После «Лебединого озера» Барри и Робин пошли провожать маму с Любой на троллейбус. Девятка, конечная которой была тогда на площади Мартьяновского, приехала довольно быстро. Всем было жаль расставаться друг с другом после такого интересного дня, но – завтра экзамен, а дома родители. И вновь братья предложили проводить девушек домой.

– А как вы приедете обратно? Вдруг заблудитесь? Водители наших троллейбусов по-английски не говорят, – сказала мама. – Да и остановки у нас с Любой рядом с домом. Это раньше, когда папа ещё не получил эту квартиру, мы снимали две комнаты в частном доме; у хозяев была огромная овчарка, которую они на ночь отвязывали. Вот тогда я жутко боялась возвращаться вечером домой. В конце концов собака как-то перепрыгнула через забор и убежала – её так и не нашли. Вспоминаю это сейчас как страшный сон.

– Как же мы увидимся? – спросил Робин маму. – Завтра наше судно уходит в Стамбул...

– Мы постараемся сдать экзамен первыми и быть у Дюка в двенадцать. Договорились?

– Договорились! Светлана, можно поцеловать тебя?

– Прямо так сразу? – смущённо засмеялась мама.

– Сразу! В знак советско-английской дружбы! – улыбнулся Робин и поцеловал маму, не дожидаясь разрешения.

Я не стану рассказывать о том, что выслушала мама от бабушки – предупредить о том, что будет поздно, она никак не могла – телефоны в квартирах были тогда недоступной роскошью. К счастью, на помощь пришёл дедушка – он и выслушал мамин восторженный рассказ об английских музыкантах, покрутил в руках пластинку с автографом и отправил маму спать, промолчав о том, что, если в его Артиллерийском училище узнают о том, что его дочь так тесно общается с иностранцами, последствия могут быть весьма неприятными.

На следующий день у Дюка была только мама – Любе пришлось остаться в университете. Барри пришёл один с большим пакетом в руках. Он заметно волновался. Волновалась и мама. Оба понимали, что видят друг друга в последний раз. Железный занавес поднимется лишь через двадцать с небольшим лет...

– Где же Робин? – спросила мама.

– Мы с ним немного повздорили. Он не давал мне спать всю ночь. Понимаешь... Он хотел признаться тебе в любви и вообще остаться в Одессе, но я был категорически против – он ведь помолвлен, свадьба назначена на август, и я обещал его невесте, Молли, присматривать за ним в круизе. В общем, после небольшого скандала я оставил его в каюте. В конце концов, я ведь старший брат, – сказал Барри и улыбнулся.

– Робин попросил передать тебе это, – Барри засунул руку в карман пиджака и вынул оттуда бумажное сердечко. – Эта валентинка для тебя, Светлана. Мы дарим такие открытки на День святого Валентина тем, кому принадлежит наше сердце. И хотя до четырнадцатого февраля ещё полгода, Робин попросил подарить её тебе сегодня, чтобы выразить свои чувства.

Мама зарделась.

– А я... Я хочу подарить тебе неожиданный подарок. Ты так интересно рассказывала о Моби Дике и морях «Пекода»... Прямо перед отплытием мы купили в Англии точную копию моржового бивня с вырезанной надписью – это было широко распространено среди китобоев. Видишь надпись – «Китобойный барк «Вероника», 1837 год». Это тебе, Светлана.

Бивень был совсем не маленьким – девятнадцать дюймов, почти полметра. К счастью, братья предусмотрительно завернули его в плотную бумагу.

Пора было прощаться. Барри неловко поцеловал маму в щёку, она обняла его.

– Я буду писать, – сказал Барри. – Дай мне свой адрес.

Мама вырвала лист из тетрадки с лекциями по современной английской литературе и написала



домашний адрес. Барри сложил листик и положил его в карман пиджака.

– Тебе пора идти, – сказала мама. – Пароход не будет ждать.

Когда Барри ушёл, она развернула валентинку. «Я уезжаю, но сердце моё остаётся в Одессе. Робин Гибб» – было написано на ней.

Через месяц на мамин домашний адрес пришло письмо из Англии. По конверту было видно, что его уже читали. А ещё через месяц дедушку вызвал начальник училища и сказал, что о генеральском звании, которое было уже на подходе, пока лучше забыть, потому что дочь генерала не может переписываться с гражданами враждебно настроенных к нам капиталистических стран. И посоветовал как следует поговорить с дочкой.

О том, что было в письме, мама никогда мне не рассказывала. Совсем скоро она встретила папу, а через год родился я. Но до этого произошло ещё одно важное событие.

В самом начале следующего, 1969 года, сначала в США, а затем в Англии вышел двойной альбом «Wee Wee Gees», который многие критики и сегодня называют самым лучшим и самым недооценённым альбомом группы. Обложка диска очень лаконична – на однородном красном фоне большими белыми буквами написано: «WEE GEES. ODESSA». Заглавная песня альбома называется «Odessa (city on the Black Sea)». Интересно? Дальше – ещё интереснее. Над расшифровкой текста этой песни бились сотни поклонников и почитателей творчества братьев Гибб. Вот этот текст, переведённый на русский язык:

«Четырнадцатое февраля тысяча восемьсот девяносто девятого.

Британское судно “Вероника” пропало без следа.

Чёрная овечка, на тебе совсем нет шерсти.

Капитан Ричардсон оставил свою одинокую жену в Гулле.

Херувим, я потерял судно в Балтийском море.

Я сижу на айсберге, который плывёт неизвестно куда.

Сижу и пытаюсь придать этой льдине очертания судна;

Прокладывая мой путь обратно к твоим губам.

Одно проходящее мимо судно сообщило, что ты выехала из своей старой квартиры.

Ты любишь викария больше, чем это можно выразить словами.

Попроси его помолиться о том, чтобы я не растаял.

И я снова увижу твоё лицо.

Одесса, насколько я силён?

Одесса, как быстро летит время!

Сокровище, ты знаешь соседей, которые живут рядом за дверью.

У них больше нет собаки.

Замерзаю, пlying в Северной Атлантике.

Мне кажется, я никогда не покину море.

Я не могу понять, почему ты переехала в Финляндию.

Ты любишь этого викария больше, чем это можно выразить словами.

Попроси его молиться, чтобы я не растаял.

И я смогу снова увидеть твоё лицо.

Одесса, насколько я силён?

Одесса, как быстро летит время!

Четырнадцатое февраля тысяча восемьсот девяносто девятого.

Британское судно “Вероника” пропало без следа».

После многочисленных попыток расшифровки текста песни и критики, и поклонники сошлись на том, что текст, как и весь альбом, психоделический и никакого смысла в нём нет. И только несколько человек в Англии и в Одессе знали, о чём песня. Именно Робин, настаивавший сначала на названии «Masterpeace», предложил для альбома название «ODESSA», а кроме того, спел заглавную песню. Основная часть текста и говорящие слова припева: «Одесса, насколько я силён? Одесса, как быстро летит время» были написаны именно Робин. Его борьба с самим собой закончилась тем, чем и должна была закончиться – он женился на Молли Хьюллис, которая родила ему двух детей; разошлись они через одиннадцать лет, в 1980-м. Слова песни об английском капитане корабля «Вероника», потерпевшего крушение и дрейфующего на льдине с разбитым сердцем – теперь становятся совершенно понятными. Так же, как и слова о соседях, у которых больше нет собаки; о Финляндии... Да и дата – четырнадцатое февраля – встречающаяся в начале и конце песни, уже не вызывает вопросов.

Собственно говоря, названия и других песен альбома были «говорящими»: «You'll never see my face again», «Sound of love», «Never say never again». Нужно ли говорить, что уже в марте в Одессу пришла бандероль из Лондона, в которой был сам альбом с шикарной веллоровой обложкой и новое письмо, на этот раз от Барри? В письме он признавался, что та одесская размолвка с Робин. Барри и второй брат-близнец Морис решили не сдаваться и тоже записывают новый альбом – «Cucumber Castle». Что ещё было в письме, мы уже никогда не узнаем, потому что мама по настоянию папы порвала его. Диск,

к счастью, остался – сначала его не на чем было слушать, но родители поднатужились и купили радиолу «Ригонда», а потом и проигрыватель «Аккорд». В те годы это было «бомбой». Но ещё большей «бомбой» был сам альбом «Би Джиз», который так отличался от пластинок фирмы «Мелодия»...

Знаменитый одесский меломан Александр Пикерсгиль, смастеривший самостоятельно стереосистему с радиолой и колонками, равной которой по качеству звучания не было в Советском Союзе и в обмен на которую ему предлагали «Волгу» – неслыханное тогда дело, – через маминого знакомого Витю Стадниченко узнал о пластинке и выпросил её на несколько дней. Так одесситы, собиравшиеся по выходным под окнами его квартиры на углу Щепкина и Петра Великого и слушавшие джаз и популярного тогда Рэя Конниффа из колонок, которые он выставлял прямо в окно, впервые услышали музыку «Bee Gees».

А потом мама по папиному настоянию написала братьям письмо, в котором рассказала обо всём и попросила больше не писать. Дошло ли оно – неизвестно; письма из Советского Союза часто не доходили до адресатов в капиталистических странах. Но как бы там ни было, больше писем из Лондона не приходило; сам Барри вскоре женился во второй раз – на этот раз его избранницей стала «Мисс Эдинбург» Линде Грей, которая родила ему пятерых детей.

Мамина подруга Люба в начале семидесятых с первой волной еврейской эмиграции уехала в Канаду, где могла слушать любые пластинки любых исполнителей – в отличие от нас, оставшихся в самой читающей стране мира, в которой к тому же, как выяснилось, не было секса... К счастью, не у всех.

Маме потом было не до музыки – родился я, через год – холера в Одессе, она улетела со мной за северный полярный круг, в Североморск, где папа после Политеха служил на флоте, а мама работала на радио и в числе прочих исполнителей ставила в обед музыку «Bee Gees» на бобинах, привезённых из дома; тем временем братья Гибб под нажимом продюсера Роберта Стигвуда помирились и с тех пор уже не расставались. Вышедшие в 1971 году синглы «Lonely Days» и «How Can You Mend A Broken Heart» были проданы в США миллионными тиражами. А ещё через четыре года «Би Джиз» сменили амплуа, из роковых музыкантов став иконами стиля «диско». И здесь Робин развернулся в полную силу – именно его фирменный слегка вибрирующий фальцет стал визитной карточкой группы. Даже сегодня, спустя тридцать пять лет, у всех на слуху их знаменитые песни «Stayin' Alive», «How Deep Is Your Love» и «More Than a Woman» из фильма «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой в главной роли.

Дальше было много новых альбомов и новых хитов – до 2003 года, когда умер самый младший из участников группы – Морис Гибб, родившийся на целых тридцать пять минут позже своего брата-близнеца Робина. В конце 2009 года Барри и Робин объявили о возрождении группы, но новых записей братья так и не сделали. А сейчас уже не сделают – в мае этого года Робин Гибб умер в Лондоне. Ему было всего шестьдесят два года...

Загадочная песня «Odessa (city on the Black Sea)» все эти годы привлекала внимание публики, как собственно, и сам альбом «Odessa». Он переиздавался множество раз в разных странах – США, Великобритании, Германии, Аргентине, Италии, Канаде, Японии. С 1983 года он выпускается на CD, но и любители винила жаловаться не могут – совсем недавно, в 2009 году, альбом в шикарном подарочном варианте, в который входил альбом фотографий, был перевыпущен именно на пластинке.

А я... Я был бы счастлив, если бы мог послушать сейчас тот самый альбом, который Барри прислал маме. Увы, как говорят родители, он потерялся во время одного из наших многочисленных переездов с квартиры на квартиру в конце семидесятых – вместе с той, первой пластинкой, которую братья Гибб подарили маме, и целым рядом других. Я утешаю себя тем, что наверняка слышал его в те годы – родители часто приглашали гостей и проигрывали пластинки на нашем «Аккорде».

Зато моржовый бивень, как ни странно, сохранился. В детстве я часто и подолгу разглядывал его. Вот он и сейчас передо мной – с одной стороны на нём написано «THE BARK VERONICA. OUT OF NEW BEDFORD» и вырезаны две птицы, герб со звёздами и стрелами, а с другой – фигура прекрасной девушки с подписью «My Dear Kathleen», прекрасно вырезанный парусный корабль с подписью «THE VERONICA», горшок с цветами, стоящий на столе со скатертью и дата – 1849, а наверху, на самом кончике бивня – пятиконечная звезда.

СЕРГЕЙ ТОКОЛОВ

PICCOLA ITALIA PER LA STAMPA очерк

Здравствуйте, мои дорогие, или – Ciao carissimi!

В этой небольшой заметке хотелось бы рассказать о нескольких наблюдениях об Одессе, её архитектуре, жителях и одесском русском языке!

И если позволите, я начну с одного нашего иностранного гостя, что ни на есть самого настоящего итальянца Роберто, приехавшего в Одессу продолжить изучение русского языка, – который он, кстати сказать, знает очень и очень неплохо

То, что всем итальянцам нравится Одесса – это факт! И знакомые преподаватели итальянского языка, работающие как переводчики на разных конференциях, презентациях и с группами туристов говорят, что итальянцы влюбляются в Одессу «С первого взгляда и навсегда!» – «In un'occhiata per sempre!» Им здесь очень комфортно и они чувствуют себя у нас как дома. Наши улицы исторического центра напоминают им родные города средиземноморья. Итальянцы говорят, что Одесса очень напоминает Геную, и вообще североитальянские портовые или южнофранцузские приморские исторические города – очень много похожего с Марселем, например!

Первое яркое языковое впечатление от Одессы произошло у Роберто на Привозе, где он услышал выражение «делать базар» – «О! – подумал я, – говорил он потом мне, – это же как в итальянском: «fare mercato» – «делать рынок», то есть делать покупки! И я говорю дома во Флоренции: «Vado a fare mercato» – «Я иду за покупками», «я иду делать базар!» Здесь я найду с людьми общий язык!»

С некоторого времени, устав от бесконечного английского, я увлёкся итальянским языком – мотивы этого увлечения неясны мне самому, – но интересно здесь то, что сразу начались лингвистические открытия самого неожиданного свойства!

Открытия ассоциативного совпадения по звучанию, прямого заимствования форм слов и, как и бывает в местах соприкосновения разных культур, прямого дословного перевода фраз и выражений.

Замечательная одесская «фрукта», сопутствовавшая летними жаркими днями всем детям в центральных кварталах города, общим скопом обозначавшая всё многообразие даров с прилавков Привоза, – «Будешь фрукту? Фрукту надо кушать!» – и по звучанию, и по обобщающей масштабности всего фруктового ассортимента, идущего на стол, есть прямое и бескомпромиссное соответствие итальянскому «frutta», так же обозначающему только столовые фрукты и отличному от «frutto» – то есть плодов вообще, в широком смысле.

Или замечательное по своей выразительности «я тут хожу ногами». Логика нам здраво подсказывает: уточнение «ногами» здесь излишне, так как если я не еду на чём-то, то идти могу только ногами. Не так просто обстоят дела у итальянцев, ведь кроме «andare a piedi», то есть «идти ногами» итальянцы с помощью глагола andare (ходить, ездить) умудряются ещё ездить верхом – «andare a cavallo», ездить на машине – «andare in macchina», плыть под парусом – «andare a vela», мчаться во весь опор – «andare a tutto gas», и даже «andare per via aerea» – лететь (на самолёте)!

А когда кто-нибудь чихнёт, вежливый итальянец скажет ему: «stia bene!» – «чтоб тебе было хорошо!», то есть, «чтоб ты был здоров!» или даже разовьёт эту мысль до «stammi bene!», то есть «чтобы ты был мне (для меня) здоров!» («mi» – значит «мне, меня»). И как вам нравится этот дословный перевод, а? Правда, ведь он напоминает что-то наше родное и очень-очень знакомое!

А ведь весь фокус и вся соль перевода этого итальянского пожелания в сослагательном наклонении (Modo congiuntivo), в форме которого «stia» стоит глагол «stare» – находиться, быть, продолжаться, поживать, чувствовать себя. Глаголы в сослагательном наклонении употребляются в итальянском языке, когда описываемые события и факты ожидаются, желаются, субъективно характеризуются и т.д. В русском языке отдельной формы глагола для сослагательного наклонения нет, а выражается оно различными вводными модальными словами и конструкциями, например: «чтобы ты был...»

Всё-таки влилась, растворилась в нашем одесском народе частичка народа итальянского, приехавшего когда-то на эти пустынные степные земли у моря в новостроящуюся юную Одессу! А то чем иначе объяснить, что, как и одессит, с помощью глагола «занимать» («Ой, он такой хороший человек, он всегда займет денег!»), итальянец может глаголом «avanzare» (ссужать, одалживать, давать займы,



авансировать) выяснить, кто у кого сколько одалживал и занимал: «Quanto avanzo da te?» – «Сколько (я) авансировал (одолжил) тебе?» или же «Сколько (я) авансировал (занял) у тебя?». И: «Quanto avanzi da me?» – «Сколько (ты) авансировал (одолжил) мне?» или же «Сколько (ты) авансировал (одолжил) у меня?»

Дополнительная сложность возникает от того, что «da te» равнозначно переводится и как «от тебя, у тебя», и как «тебе, к тебе». То же и с «da me». Вот и попробуйте разобраться в этой головоломке! То есть не имевший высшего филологического образования разноплеменной торговый народ при переводе с языка торговли итальянского на общераспространённый русский и обратно запросто мог, в понятии авансировать совместив «одалживать» и «занимать», переводить «Quanto avanzo da te» и как «Сколько занял у тебя», так и «Сколько одолжил тебе», «Сколько занял тебе» – и понимание в такой беседе происходит исключительно по контексту, в котором уж никто не ошибётся, кто кому одолжил и кто у кого занял. Чувствуете, что всё так же запутанно и туманно, как и в одесской фразе? И кое-какую ясность в это вносят только окончания глагола в первом «avanzo» и втором «avanzi» лице, – но почему-то в настоящем, а не в прошедшем времени. Уф!

Я спросил у Роберто, как же так получается, что предложение «Vado da Laura» можно перевести «Иду к Лауре» и «Иду от Лауры», и как они сами не путаются? Роберто задумался, – похоже, что впервые над этим вопросом, – потом улыбнулся и, пожав плечами, ответил: «Наверное, для итальянцев это неважно!»

Но главное и наиболее известное русскоговорящему миру наше лингвистическое достижение, – за исключением одесского акцента, конечно же, – это знаменитые и неповторимые «Две Большие Разницы» Упоминаемые и по центральным российским каналам – разве что не чаще, чем в самой Одессе, – и одесситами, и не одесситами с извинительно-восторженным добавлением: «Как говорят в Одессе!»

Совершенно случайно наткнувшись в итальянско-русском словаре на выражение «Una grande differenza» – «Большая разница», я замер в волнительном предчувствии. «Una» – это опускаемый при переводе на русский неопределённый артикль или числительное «один»? Ведь пишутся и произносятся они одинаково...

Надо сказать, что в Одессе первой половины XIX века итальянский язык господствовал в торговле, коммерческой документации и на бирже, и без знания его вы не могли вести дела. Торговые дома Ливорно, Неаполя и Генуи проводили крупные торговые сделки в Одессе... Банки были в основном французские, кофейни держали греки...

А неискущённым в филологии продавцу и покупателю самых разных национальностей в какой-нибудь итальянской (а может и не итальянской) лавке в Одессе в начале XIX века могло показаться, что где «Одна большая разница» – «Una grande differenza», там могут быть и «Две большие разницы» – «Due grandi differenze»! – особенно если такой же товар в соседней лавке лучше, а хозяин этой не хочет сбавлять цену! «Ma tra questo e quello ci sono due grandi differenze!» – «Но между этим и тем есть две большие разницы!», – темпераментно обменивались мнениями покупатель и продавец. Да и сам Роберто, поясняя использование одного итальянского слова, вдруг взял да и выстрелил фразой: «Due differenze insieme!» – «Две разницы вместе». Ну чем он не одессит!

Верно, верно сказал великий Пушкин об Одессе своего времени в сохранившихся стихах из десятой главы «Евгения Онегина»:

*Язык Италии златой
Звучит по улице весёлой...*

«МЕГАФОН»

НИК ИЛЬИН И ЕГО «ОДЕССЕЯ»
(интервью Киры Сапгир с Ником Ильиным)

Недавно я получила в подарок альбом с названием «Odessa Memories» – «Память о настоящей Одессе». На переплёте идеально воспроизведена старинная открытка, изображающая лестницу, известную во всём мире благодаря фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». И когда я раскрыла коричневый строгий переплёт альбома, в моей парижской квартире забились серебристая кефаль прибоем, заорали сирены, оглушил гомон и гром южного порта под солёным солнцем; не потратив на путешествие ни минуты, я оказалась у «самого синего в мире Чёрного моря» – в городе Одессе.

Одесситы любят, чтобы было много всего, и притом всего самого лучшего. И альбом «Odessa Memories», выпущенный в издательстве University of Washington Press, стал отличным подарком читателям и почитателям Одессы. Это издание, включающее двести редчайших открыток, уникальных репродукций, фотографий, реклам, от чистого сердца преподнёс Николай Владимирович Ильин.

– ...Просто Ник – меня все так зовут. Все близкие друзья (этих близких друзей у Ника полным-полно на всех земных широтах).

Ник Ильин (так и будем его называть) – сын известного религиозного философа В. Н. Ильина. Он родился в Париже и долгие годы возглавлял отдел общественных связей и культуры крупной немецкой авиакомпании «Люфтганза». И хотя живёт Ник во Франкфурте, его можно встретить в любой части света: Ник Ильин – европейский представитель нью-йоркского Музея Гуттенхейма – самого знаменитого в мире собрания современного искусства. По долгу службы и по зову сердца он много времени проводит в России. И здесь его городом-любимцем стал город-герой – Одесса-мама. Оказался там Ник впервые в 1995 году – и сразу тогда в нём, по его словам, «стихийно проснулся одессит»...

К.С.: Ник, так с чего началась твоя «Одессея»?

Н.И.: Как поёт Леонид Утёсов, «любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь». Со мной так всё и вышло. Как говорится, «пришёл, увидел, полюбил». Я вспоминаю сейчас, как впервые гулял по Ланжерону, Ришельевской, Дерибасовской, как смотрел в порту на «шаланды, полные кефали». Я тогда забредал в шумные дворы, слушал, как там с балкона на балкон перелетают перлы цветистой одесской перебранки... Я был и в Одесской опере, где танцевали загорелые и вовсе не хрупкие балерины! Ну, и не пропускал ни единого погребка на Молдаванке, пил молдавские, крымские вина.

К.С.: И «на Молдаванке музыка играла», конечно же?

Н.И.: А как же! Ведь без музыки, как считают в Одессе, вино уже не вино, а выпивка! В альбоме воспроизведён интерьер знаменитого «Гамбринуса», замечательного одесского кабаре, о котором написал повесть Александр Иванович Куприн. Все помнят героя этого рассказа – Сашку-скрипача, горбатого виртуоза. Таких музыкантов звали «клемзерами». Клемзеры играли на свадьбах, на ярмарках, в кабаках. Они переселились в Одессу из Галиции и Бессарабии и привезли с собой свои мелодии. Нотной грамоты клемзеры не знали, но сумели передать потомкам своё искусство. Сыном местечкового клемзера был легендарный Столярский, скрипач и педагог, учитель не менее легендарного Давида Ойстраха.

К.С.: Перевернём страницу. Реклама: знойная красавица с роскошными формами томно вкушает шоколад «Амбатьелло».

Н.И.: В Одессе считали всегда, что «любимого тела должно быть много». Худенькую дамочку могли насмешливо обозвать «четверть курицы», а персонаж одной старой байки хвастает перед

приятелем: «моя жена красивей твоей на шесть с половиной кило!» А если красоты порой становилось многовато, тогда ездили на лечебные грязи, вот поглядите на старинные рекламы грязелечебниц на одесских лиманах. Они тут же в альбоме. . .

На целый разворот портрет Соньки Золотой Ручки – бабушки российского криминала. Рассказывают, что Сонька Золотая Ручка была бандиткой с неистощимой фантазией, любила воровское дело, как музыкант скрипку. Эта очаровательная дама говорила на пяти языках, у неё были светские манеры. Её методы были наглыми и виртуозными. Она, например, прятала под длинные ногти холёных ручек бриллианты в ювелирных лавках, либо выходила «на дело» с обезьянкой: пока хозяйка торговалась, напарница потихоньку запиховала за щеку камешки. . .

Н.И.: Вы знаете, что Сонька Золотая Ручка похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище. Братва со всего мира скинулась для неё на шикарный памятник из белого мрамора. Весь пьедестал памятника покрыт надписями вроде: «Мать, научи жить», «Соня, дай счастье жигану» или «Солнцевские тебя не забудут». А вот здесь воспроизведена во всех ракурсах моя собственная шарманка. Её сделали в Одессе.

К.С.: А отчего на ней надпись по-грузински?

Н.И.: Потому что в Одессе делали шарманки для всей Российской империи – и для Грузии тоже. Ещё пять лет назад по Тбилиси ходили по дворам старики с одесскими шарманками. Вот и я думаю – не будет у меня работы – пойду с шарманкой гулять по Франкфуртским дворам. . .

К.С.: И будешь петь блатные песни?

Н.И.: Ну, разумеется. У меня богатый блатной репертуар, причём отчасти благодаря тебе. Помнишь, как ты несколько лет назад собирала для меня тексты одесских блатных песен?

К.С.: Кстати, к альбому, насколько я помню, ты собирался прилагать компакт-диск с этими песнями в переводе на английский. . .

Н.И.: К сожалению, это не так просто. Переводить одесские песни вне контекста вообще-то неблагоприятное занятие. Они непереводаемы и англоязычный читатель их просто не поймёт.

К.С.: Я слышала, и потомки одесситов, приехавших в США три-четыре поколения назад, говорят уже только по-английски.

Н.И.: Притом, «олдесситы» (от слова «old» – «старый») свято верят, что настоящие одесситы – это они. Даже если они родом из Киева или Харькова! И мой альбом во многом рассчитан на них.

К.С.: А ты собираешься публиковать свой альбом по-русски?

Н.И.: Да, в будущем году, в российском издательстве «Трилистник», которое в основном выпускает книги по искусству. И в русском варианте, возможно, будут тексты одесских песен, в том числе и те, которые ты для меня нашла.

. . . Все помнят песенку «Как на Дерибасовской, угол Ришельевской». Общеизвестно, что эти знаменитые на весь мир улицы названы по именам двух легендарных личностей, стоявших у колыбели Одессы. И само собой в альбоме на портрете красуется основатель Одессы Осип Михайлович Дерибас, на самом деле – испанец Хосе Де Рибас, участник русско-турецкой кампании 1787-1791 гг., поступивший волонтером на Черноморский флот по призыву графа А. Г. Орлова. Де Рибас принимал участие в штурме крепости Измаил. А через несколько лет по окончании войны он основал в бухте Гаджибей военно-торговый порт, впоследствии названный «Одессой». А рядом в альбоме на открытке – статуя Армана-Эмманюэля Дюплесси, легендарного «дюка» де Ришелье. Этот аристократ эмигрировал из Франции одним из первых при крушении старого режима, прибыл в Россию и сражался против турок в 1790 году. В 1803 г. император Александр I назначил Ришелье генерал-губернатором города Одессы и всего Новороссийского края. . . Об этих героических временах и ещё о многом другом рассказывают в альбоме знатоки Одессы – историк Патриша Херлихи, профессор Гарвардского университета, а ещё коренные одесситы Олег Губарь и



Александр Розенбойм, которые знают о своём городе тьму-тьмушую всяких историй, легенд, самых невероятных хохм!

Одесская хохма — это подлинная лингвистическая симфония. Хохма — история-анекдот, фаблю, байка, исполненная житейской мудрости. Тут задействован не только сюжет, но и специфический акцент, очаровательно-неправильные словосочетания и интонации, в которых и заключена вся соль анекдота.

Н.И.: А вообще-то, тому, кто хочет застать ещё «дома» одесский юмор, надо торопиться... Пока ещё не ушла окончательно настоящая Одесса...

К.С.: Это правда, что Одесса стала теперь, как говорится, типичное не то?

Н.И.: Именно так. Улицы, дома, деревья на месте, а вот неповторимая аура исчезла. По этой-то ушедшей Одессе я и ностальгировал, выпуская свой альбом. Одесский шарм — это уже прошлое. Ведь коренные одесситы сейчас разлетелись по белу свету. А исчезли одесситы — исчезла и сама Одесса.

К.С.: Но юмор всё-таки остался?

Н.И.: Одесский юмор пока жив — но он теперь уже не в Одессе. Как пишет один одесский поэт, живущий ныне в Тель-Авиве:

*«Мы увезли свою Одессу,
Насколько можно увезти,
Насколько нашему экспрессу
Её в пути не растрясли...»*

— хотя сейчас и тужатся, стараясь его реставрировать, хоть как-то сохранить. Например, день 1 апреля решено в Одессе сделать нерабочим...

К.С.: В одной из одесских песенок есть такие слова:

*«Побывать на звёздах мы надеемся
И открою вам один секрет:
Может быть, на Марсе жизнь имеется,
Но Одессы второй там нет».*

Н.И.: Нет второй Одессы!? Как говорят в Одессе, не смешите меня! В одной только Северной Америке имеется десять городов с тем же названием, причём они там разбросаны от Атлантического океана до Тихого! А район Брайтон-бич в Нью-Йорке называют «Маленькая Одесса»! Да что там Америка: в космосе есть планета «Одесса». Её в апреле 1976 года открыл украинский астроном Николай Черных. А в 1996 году тот же астроном открыл астероид, и знаете как он его назвал? В честь выдающегося одессита — писателя Валентина Катаева. Так что, как видите, Одесса имеется не только на земле, но и в небе!

ЕВГЕНИЯ БАРАНОВА

ЗВЁЗДОЧКИ НА МЕТАФОРАХ

И ЛЕТЯТ ГОЛОСА

И летят голоса, что птицы с твоих карнизов.
Мир суров, как Суворов.
Как Пушкин на полотне.
Не печалься, котёнок,
ты тоже не будешь издан,
потому что героев – не издают вдвойне.

Потому что герои – плывут и плывут наружу,
как вексель под жабрами скапливая века.
И если ты
– болен
– жалок
– смешон
– не нужен
то в этом есть скрытый смысл.
Наверняка.

Он спрятан на дереве, в море, под облаками.
Его стережет Горыныч, друзья, ОМОН.
Тебя наградят – не справками, так венками.
Тебя наградят – коронами из ворон.

И будешь ты свят.
Оэкрашен самим Сизифом.
И будешь ты – рекламировать кофе.чай.
Когда ты уйдёшь,
тебя тоже испортят мифом.
Не думай. Не кайся. Не сплетничай. Не прощай.

Скажи только то, что обязан сказать.
Иначе – не говори.
Я вижу, как в небе горят поезда
и день у грозы болит.

Я слышу мотор и движения в нём.
Над станцией – птичий рай.
Мы все – улыбаемся, зреем, живём.
Не нужно. Не продолжай.



Часы.
Остановка.
Реальности грим.
Ответы – защиты внутри.
И если ты кем-то до горя любим,
не стоит, не говори.

BRIC-A-BRAC

То ли Vogue, то ли век.
Упадём, упадём
на резиновый снег
под холодным огнём.

Зажимая в руках
неотбеленный холст,
мы увидим, что страх –
это то, что сбылось.

Мы запомним лишь тех,
кто летать обречёт.
То ли бог, то ли смех,
то ли пули расчёт.

Пустяки. Перебой.
Утомляет слегка.
То любовь, то люголь,
то на горле строка.

И мой браслет,
и слёз собачьих блеск,
и осени божественная лажа.
Звони.
Звени.
Я уношу свой крест,
как тайну неглубокого корсажа.

Звони-звени!
Оливки.
Фонари.
«Всё по 15».
Барышни в балетках.

Когда уйдут все наши корабли,
на океан наклеят этикетки.

И разольют мой город по холмам,
по пузырькам для моложавых пальцев.
Когда уйдут все наши...
Океан
подыскивает новых постояльцев.

ПОСВЯЩЕНИЕ ЛЬВОВУ

И чёрный зверь чужой природы
тянул назад.
Я говорила с небосводом:
была гроза.



Хотелось мылом мыть брусчатку
(was maiden of).
Мой лев, мой Львов, моя тетрадка
и семь веков.

Мои епископы, аллеи –
глоток вина.
От вечности заиндевели
их имена.

Хотелось выгоптать украдкой
столетий мох.
Мой Львов, мой лев, моя загадка,
мой герр Мазох!

Поезда. Поездам. В поездах.
Я скольжу, как молекулы Данте.
Как скрещённость отравленных шпаг,
как единственный дар дилетанта.

Я увидела сорок земель.
Ещё сорок застыли в исподнем.
Если жить, почему не теперь?
Если плыть, почему не сегодня?

Поездам. В поездах. Поезда.
Проводница в измятой толстовке.
Если рельсы – всё та же вода,
я всего лишь бумажная лодка.

ON THE ROAD

От расставания до встречи
лишь расстояния скользят.
Любой маршрут бесчеловечен,
как сорок тысяч октябрят.

Любой маршрут несовершенен,
как исключительный глагол.
Ключи. Рюкзак. Такси. Есенин.
Билет. Журналы. Светофор.

Молчать – прощать.
Меняться – плакать.
Внутри, внутри, а не во вне.
Очаровательная слякоть
очаровательна вдвойне.

Пережить звонков досаду,
воспоминаний гарнизон.
От «не пуцу» до «очень надо».
Вокзал. Дыхание. Вагон.

ДОЖДИ!

Завтра будут дожди и дожди
и на кошках простывшие блохи.
Если долго куда-то идти,
то приходишь к началу эпохи.



Если долго рассматривать дверь,
всё равно не пойдёшь на прогулку.
Телефон, как прирученный зверь,
вытирает хвостом штукатурку.

Тянет лапу рекламный медведь.
Вот и август пройдёт. И полгода.
Ничего никому не хотеть,
кроме чаю и новой погоды.

Догорает – последний фитиль,
добывает – последнее слово.
А поэзия, как ни крути, –
только дудочка для крысолова.

ХЕМИНГУЭЙ

А я нашла Хемингуэя
в одном донбасском городке.
Он не любил духи, коктейли
и флирта долгое пике.
За неимением другого
играл, конечно, в world of tanks.
А мир искал дворами слово,
определяя трезвых нас.
А мир был честен и отчаян.
И предсказуем – вопреки.
От тишины горела тайна
и догорали мотыльки.
От тишины сквозили чувства,
как дверь бюджетного жилья.
Луганск. Развалины. Искусство.
И никакого бытия.

ЗВЁЗДОЧКИ НА МЕТАФОРАХ

Я открываю почту, я вижу сплав.
Ни слова, ни вздоха –
лишь звёздочки да метафоры.
Долгий сентябрь,
скверы дождём взломав,
проводит тебя по круту библейским пахарем.

Проводит тебя по слухам, по пустякам.
Вяжет крючком.
Заставляет болеть больницами.
Что остаётся?
Разве что пить бальзам.
Скрещивать пальцы –
ждать ли,
прощать,
жениться ли.

От ожидания света почти темно.
Чего только не было...
Лису ушла с алмазами.
Я открываю почту,
я вижу дно
и понимаю, что нечего пересказывать.

ДАВИД ПАТАШИНСКИЙ

КАПИТАН МОЙ КАПИТАН

Нас настигает скорбная пора,
дожди с утра, и чёт сменяет нечет,
и сосен пористая, тихая кора,
и время только плачет, а не лечит.

Кончай болтать, надежды больше нет, предатели приникли к амбразуре,
их предводитель, бешеный корнет, слагает нет, а девушек разули,
они цветут склонённой головой, и вечный суд, и Кашенко живой.

Кончай трепаться, жестяной язык, страна закончена, солдаты пьют всухую,
мелькают пальцы разовых бузык, от порчи как возьму, да застрахую,
настало лето, воздух грозовой, пройдем ещё по этой мостовой.

Я ветер за дождины ухватил, он закричал, в лицо меня ударя,
среди людей, событий и картин живые обзаводятся по паре,
вот Кашенко, единственный мужик, его душа сквозь яблонь бежит.

Чернеет вечер, надо помолчать, свеча рыдает жёлтым парафином,
лица неуловимая печать, а в остальном такой славянофил он,
идея о родимом не своём, скудеет слов холодный водоём.

Начать не кончить, кончить не начать, мельчает пруд, и бабы по колено,
от человека остается часть не речи, а которая болела,
считай до ста и немо повтори, читай с листа фонемы-фонари.

СОЛНЕЧНЫЙ СНЕГ

Забываем под утро, понятно мы, что чугунок говорил не спеша,
рассыпая туманами мятными над коротким костром малыша,

где усталые мальчики прыгали, если девочки трогали нож,
согревая горящими книгами чёрный лак опоздалых калош.

Луговой напеваловыч, сволочь та, дудкой сердца настроил рояль,
для почётной целая полочка, не участвовал, не состоял.

Успокойся немедленной темени, ты окажешься правильно взят,
парусами прозрачного темени голубые занозы скользят.

Гостевые надев подстаканники, бьёт хозяин чужую жену,
фолианты обширной британики приникают к его кожану,



на глазах его века отметины, на губах молодая фасоль,
и когда забываемся в смерти мы, он навстречу выходит босой,

он навстречу выходит, как Санников, пальцы в солнце, душа на огне,
и чудесные головы всадников проявляются в пыльном окне.

Сладкое вино тростника,
белое вино ивняка,
голова здрав, облака
падают совсем никуда.

Падают совсем облака,
небо им навстречу летит,
синяя его, глубока,
тонкая легка.

Солнечные капли часов,
звёздные секунды света,
чёрные, оранжевые,
догорят дотла.

Сладкое вино наливай,
белые слова говори,
жёлтые глаза узнавай,
это фонари.

КАПИТАН МОЙ КАПИТАН

Подходишь к нему, голос даёт петуха, голос даёт курице на яйцо,
хочешь, сомну голубые твои меха, брошу на лёд кольцо.

Хочешь, вороне подарю сыр, лисе подарю четвёртую из сторон,
ты падаешь, так одинок и сыр, ты останешься под столом.

Подходишь к нему, собака поёт муму, плачет вой, луны поминая рай,
взял казну, возьми и его жену, сам не свой, писем не разбирай.

Хочешь, мазаю испеку хлеб, пастуху волки кричу, кричу,
отползая на локтях холостых лет, красную жгу свечу.

Подходишь к нему, ветер простыл дугь, фатер простил жить, истово повторять
не по уму, снежная пляшет муть, гном бежит, глазки его горят.

Хочешь, сынку, сделаю нам шатёр, полог ник, рыбы икрой больны,
смотри, воду распарывает, остёр, стальной плавник, нож из её спины.

Подходишь к нему, кол, понимаешь, двор, колодезный небо буравит зрак,
вышел в сени, вот и весь коридор, свет лиц не разгоняет мрак.

Хочешь, перине подарю пух, поляне постелю мох, волку отдам мех,
помолчи, запоминай дурака на слух, но не забудь забывать на смех.

Подходишь к нему, а его давно нет, смотришь в глаза, там голубая даль,
руки привыкли к теплу молодых монет, не говори мне отдай, отдай.

Хочешь, я сам тебе всё отдам, море ночное, волны, луну, луну,
ты говоришь, мой капитан, мой капитан, я никогда не засну.



Начинается всё, лишь тебе не дано начинаться,
 посмотретья тебе не даётся в зеркало твоё,
 и японец кричит харасе, и податливый Надсон
 рыбой по воду бьётся, иская свое ё-моё,
 и акаций лаская рукой запоздало-шутливой,
 ты словаешь молча, говоря глухие сказы,
 Бонифация стая покой обуздальной сливой,
 словно шаешь свеча, на моря, и стихия слезы.

Продолжается вся, продложаться и нам, неуклюжим,
 семена головы разбросая по гулкой земле,
 жизнь проходит, бося, заводными слонами по лужам,
 суждена на увы, и роса на траве, и Пеле
 всё играет души ослепительный розовый мячик,
 нам не начать уже, положи на забор булавку,
 погоди, не спеши, посмотри, как он быстро мастрячит
 этой бедной душе Пифагора на полном плаву.

Окончается где, лишь тебе по твоей настоящей
 не бежит бороде малышней сокровенный мёд,
 и приходят не те по воде фонарей морозящей,
 на пустой высоте, что пришей, все одно не поймёт,
 потому-то сухи на лице твоём дряблые брызги,
 и ловца не бежит удивительный кролик идей,
 зацветут лопухи, упадут на траву василиски,
 и настроится жить умеревший давно лиходеи.

Маленький лягушечко, глазки, лапки, леденец,
 лужица, свирелица, солнечная впадина,
 у холма орешника нынче не допросишься,
 озеро обиделось, небо плачет звёздами.

Ловкий маленький прыгун, ты такой зелёнецкий,
 спинка бородавчата, голова гудельчата,
 цак-цак-цак ты мне кричишь, брызги мне в лицо бросаешь,
 лапки растопырчаты, пальчики прилипчивы.

Вечер в гости, а вина не налил, какой ты, право,
 только чай, да водки маленькая стопочка,
 только хлеба корочка, огурец хрустит всюю,
 лампа жёлтым смотрит вбок, лай собак.

ЛИТЕРАТАРА

Горький и Паустовский, два молодых дрозда,
 дело цвело, как в сказке, Ольга ещё цвела,
 гений её литовский, чёрные поезда,
 недописал приказ ты, Родина вся цела.

Родина красноблуда, пешего праотца,
 мёда несите, мёда, мне по усам течёт,
 солнечная полуда не угодит лица,
 Леда и Квазимодо, люди наперечёт.

Наперечёт, наотмашь, честно, честя шесты,
 чёртова эта пустошь, дом окружила тьма,
 обший на всех живот наш так утонул в шерсти,
 если меня не пустишь, сразу сойдёшь с ума.



Ум, Ломоносов, баня, русский котёл тюрьмы,
слушай, как страшно пели, если недокормил,
старых друзей забаня, выбежав на холмы,
урка по тонкой фене там угадает мир.

Фауста сто и старше, кресло и люстры крест,
целый восток на марше, полон простых невест,
леску совсем не видно, воду сырую зля,
на горизонте Вильно, звёзды морозят зря.

Дело цвело, не пахло, стали хмельная речь,
Родины зной остыл от жителей и жильцов,
пело село, и как-то стали себя беречь,
стриженный твой затылок, каменный теософ.

Ночь настаёт, как пуля, вдов холостой наган,
цели не зная, выли, плакали по слогам,
ноги свои разули, смыли дорог нагар,
пухом стоит ковыль и ляжет в него друган.

Пушкин, Есенин, Гоголь, пепел страниц и дней
серую сыпет падаль, ломит свои столы,
пухом земля, как тополь, ты отдохнешь на ней,
помнишь, как ветер падал, губы его белы.

ВОЛЧЬЕ

Идёт толпа нога в ногу над резонансным мостом,
печальный волк одиноко луну качает хвостом,
глаза горят угольками, загривок дыбом стоит,
клыков задумчивый камень холодным светом блестит,
людей читает, как травы, росой прибиты к земле,
его мохнатые лапы в седой пушистой золе.

Рука не трогает руку, красны с утра лопухи,
а что гулял на пиру ты, на то и звёзды легки,
оставил женщин друзьями, а сам и жить невдомёк,
такой больной обезьяне советом страшным помог,
играют пальцы сонаты, звенит в ушах барабан,
когда не выдержал сна ты, читай меня по губам.

Роняет у-уу злых метелиц хрустальный плеск на луга,
и воробьи разлетелись, и трезв вчерашний слуга,
волчара горло тугое на горизонт распрямил,
дугой полночного воя укрыв изменчивый мир,
где пробирался сквозь душ ты необозримый покой,
заснув под утро, подушку прижав колючей щекой.

АЛЕКСАНДР РАТКЕВИЧ

«КОГДА Я ПРИДУМАЮ...»

Небесный холст, что звёздами украшен,
мне стал не притягателен, а страшен.

Бывало, я ночами любовался,
как он сияньем серебра переливался.

Как сквозь его таинственное тело
комета прозорливая летела.

И в этой ткани, звёздной и нетленной,
мне слышалось дыхание Вселенной...

Теперь не то. И я на холст небесный
смотрю в растерянности бессловесной.

Я знаю, за его заветной красотой
таится смерть прозрачной пеленою.

Там, в глубине, где звёздные скопления
свершают без конца столпотворенья,

где сердце галактической спирали,
сжимаясь, расширяется едва ли,

там, в пелене безмолвной и незрячей,
там, в глубине, холодной и горячей,

сокрыта тайна, как в яйце игла,
что вечность тоже чахнет, как зола.

Боль разума рождает поэтов
где-то рядом: во дворах, в переулках...

И кажутся поддельными (кому?)
их улыбающиеся глаза.

По асфальту, по прибрежным тропам
ветер катает комочки бумаги.

Почерк выцветший (совсем-совсем),
незнакомый и неживой...



А лица уже загорели,
наполнились запахом света.

Лишь мимика напоминает всем,
что приспособливаться к боли – смерть.

С каждым вечером, с каждым дождём
всё заметней становится эта боль.

Станным взглядом смотрю на себя – нужен ответ:
Бог – это то, что во мне или то, чего нет?

Полдень полон лазури и мир полон народа;
Бог – это мы? тогда что же такое природа?!

Плачь, убитый, и кто не рождён, солоно плачь,
плачу и я – вечная жертва, вечный палач.

В руки падает свет
недосягаемых звёзд.

В тучные ночи
ярко светятся пальцы.

Когда лежу, раскрыв ладони,
думая о своём,

спрашивают,
не думая:

зачем тебе в чёрном мраке
светлячки? И так всего много.

Гм. . . Ведь в этих тучах, как в зеркалах,
отражается всё, отражаются все.

Просто трудно увидеть,
когда светлеет, очень светлеет.

Вот отпечатки моих пальцев:
Алые-Алые.

Когда первый человек вылупился из яйца,
солнце стояло над ним, склонившись,
с грудью, полною молока;
деревья плодоносили круглый год.

Когда первый человек сделал первый шаг,
земля старалась не волноваться,
чтобы не нарушить равновесие человеческого тела;
небо жило в замершем состоянии.

Когда первый человек возмужал
и ушёл на войну (на войну?..),
солнце, небо, деревья, земля надеялись,
что он отправился не убивать. . .



Поток – это люди,
когда они ненавидят
друг друга и дают котов.

На сорванной улице,
как на растоптанной ромашке,
плачут ресницы-лепестки.

И людям, и улицам
недостаточно зрения,
мало раковин-комнат.

И стёкла, и камни
падают, предвещая:
слепота, лепота, пота...

А кот, как прежде,
глазом безумия смотрит
из раковины проклятья.

От моего сердца к твоему сердцу
протянута одна-единственная струна,
когда она трепещет, мы ощущаем
созвучие сердцебиений.

И нас обжигает одинаковая жажда:
услышать не только сознанием,
но и почувствовать плотью
одну-единственную мелодию: ля-ле-ля-лю-лю.

Плакать оттого ли, что и я к исходу
не спеша и в спешке всё-таки иду,

плакать оттого ли, что как будто в воду
канет дух мой в Лету с телом наряду;

плакать оттого ли, что любовь, как море,
отштормит, усеяв берега щепой,

плакать оттого ли, что и зрелость вскоре
зыбью затрепещет с тьмой наперебой;

плакать оттого ли, что, хоть жить и любо,
обречён я больше вянуть, чем цвести,

плакать оттого ли?.. Глупо всё же, глупо -
лучше уж сквозь слёзы смехом изойти.

ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО

БИОМЕТЕОРИТ В КУРТКЕ НА СИНТЕПОНЕ

ЧУВСТВО СНЕГА

Всю ночь из розеток ползут провода...

Нина Демичева

Шайтан... шатун – полярный ветер
Казнит листвою
Иных, чьи брошенные дети
Под Рождество
В лесу качают одичало
Сухой скелет
Сосны. Сползает одеяло...
Повержен свет.
В удушливом келейном мраке
По всем углам
Клубятся страшные собаки,
Нездешний хлам
Танцует, кланяется в пояс
И товарняк,
Тяжёлый, длинный, тёмный поезд –
Шампур – меня
Пронзает. Мрак – материален?!
А как же мы?

Во влажном рубище проталин,
Поверх зимы,
Не поддающийся огласке,
Склоненный ниц,
На космодромы NASA... Наска
Вернувший птиц
Из душевных склепов почивален
Творец? Раввин?
Под тонким пеплом абиссальных
Пустых равнин
Сей лик невидим и неведом.
Поля... холсты...
Космическое чувство снега
И высоты.

Мальчик упал с моста.
Долго везли в больницу.
Невидадь... небылица...
(Мало ли что приснится?)
Жить бы ему до ста.



Кто-то замял страницу,
Тупо нажал на «Start».

– Мамочка, он умрёт?
– Тяжко, грешно, напрасно.
Ломаный тонкий лёд,
Пепельное на красном

Будет кошмарить сны,
Скупю кровить, калечить...
Сломанные часы,
Ссадина у предплечья...

Господи, он летит,
Солнцу раскрыв ладони,
Биометеорит
В куртке на синтепоне,

Режет моё кино
Кадрами телехроник –
Впору сбежать в окно,
В форточку на балконе...

Поздно считать до ста,
Если бегут по лицам
Тени – ночные птицы,
Вороны на крестах,
Если шагнул с моста
Парень – самоубийца
И, как назло, не спится.
Ангел... самоубийца
Долго летит с моста,
Беженец из ЖЖ?
Косово, Сталинграда? –
В крошево этажей,
В сочиво снегопада.
Буду читать с листа
Небыли... небылицы,
Ночь напролет молиться.
Птицы – самоубийцы,
Отроки на крестах.

Все – на своих местах.

Кто-то летит с моста,
С Химкинского моста
В окна моей светлицы,
Бедный, уставший сниться,
Снять бы его с креста!
Тени коробят лица,
Светля в грусти лица,
И бесконечно длится
Зимний полёт с моста.



НЕ-ВАЛЕНТИНКА

*Христос, родной простор печален.
Изнемогаю на кресте.
Александр Блок*

*Кольщик, наколи мне купола,
Рядом – чудотворный крест с иконами
Михаил Круг*

*Он сказал: «Поехали!» и взмахнул рукой
Из песни*

Святки – время волхвов, снежных троп к чудотворным иконам,
Где в намоленных нишах колеблется пламя свечей.

Креативщик «Кулибин», смекалкой прославивший зону,
Мастерит звездолёт, словно Ной – легендарный ковчег.

Пара крыльев, движок и «поехали» – к дальним галактикам
На потеху волхвам, вертухаям и тощим котам!
Над куделью теней за притихшими к ночи бараками
Сотворенье растущей Луны как явление Христа –

Сорванцам, оседлавшим крыльцо бельэтажного дома.
Над кирпичной трубой, как обычно – чахоточный дым –
Млечный Путь, словно в Чёрное море, впадающий в кому.

Поцелуй в родничок со слезами крещенской воды
В ямке темечка – бережней, горше за миг до – распятыя,
До комочка чуть тёплого воска в созревшей горсти.

Не заглядывай демонам в очи, ломая запястья.

Под *чудовищной пыткой хотеть и не мочь отомстить*
Выгибаются доски крестов, загоняя под кожу
Не занозы – соборы, где тают в тени куполов

Восковые фигуры святых и случайных прохожих,
Осуждённых на тысячу серий про кровь и любовь,

На шале, «BMW», «Файв-о-клоки» в шезлонгах от «Балтики»,
Жвачку офисных будней и сауну по выходным.

...был застрелен едва заступившим на пост часовым
При попытке покинуть пределы родимой галактики.

ИЗ КАРИОТА

*...будто призрак из Кариота
В лоб целует тебя, и ты
Где-то в облаках ищешь берег
Олег Горшков*

*Далёко отступило море...
Александр Блок*

*Низ, на разбитых коленях – в полымя полыни
Под пересуды ушедших в пески поколений.
Аз есмь согдийская пыль на сайгачьих копытах
Той колыбельной юдоли, откуда мы родом.*



В окне – дичающая степь
 На триста серий.
 В язычестве ли, во Христе –
 Не важно, верю
 В маяк на пристани и бриз,
 Ключущий чёлку.
 Присаживайся, говори,
 А я умолкну
 В тени, где ссорится волна
 Со встречным ветром.

Любовь отчаянно нежна
 И – безответна.

В потемках сайта «Voga net»
 (Хвала инету)
 По-рысьи, скрадывая след,
 Прельстившись светом,
 Вонзившим жёлтые клыки
 Во чрево дома,
 Где мы неистово близки
 И – незнакомы,
 Держать, сорвавшись со скалы –
 Во тьму ущелья,
 Баланс – на кончике иглы,
 Где смерть Кощея
 Роняет розы рваных ран
 В снега черешен.

Прекрасен древний Океан
 И – безутешен.

Камо грядеши? К облакам...
 Под корни яблонь...
 «Венчается раб божий Кай
 Со снежной бабой...»
 Серебряный иконостас...
 Аминь. Стигматы
 Сочатся нежностью «...я Вас...
 Любовью брата»
 А Вы? В согретую постель
 «Из моря – зверем»

Прислушайтесь: сайгачий степ –
 Поверх империй,

Что ведомы лишь муравьям
 И скарабеем.
 Дрейфующий в песках маяк,
 Сулящий берег
 Христа простившим ради всех,
 За всё и сразу,
 Верь, одиночество – не грех,
 Увы – диагноз.

Под мягкий законный шум
 Осенних листьев
 Я Вам однажды напишу
 Сто тысяч писем,
 Надергав (sorry) перья рей
 Со шхуны ночи,
 Не став, однако, ни мудрей,
 Ни одиноче

ВИКТОРИЯ БЕРГ

УЛЕТЕЛИ ГУСИ-ЛЕБЕДИ рассказы

С ГУСЯ ВОДА

– Шу-у-у-у! С гуся вода, с внученьки худоба!..

Тёплая, ласковая вода течёт по телу, с брызгами падает в таз из нержавеющей стали. У нас сегодня банный день. Бабушка как следует протопила печку, нагрела воды и устроила мне Сандуны. Сандуны – это такая баня в центре Москвы. Мы однажды ездили туда мыться. Там было много народу, и все голые. Просто удивительно, сколько голых набралось. И одни тётеньки. А дяденьки, может, мыться не любят. Или их в Сандуны не пускают – наверное, это тётеньковская баня.

За стеной что-то гроыхает, раздаются крики и отчаянный вой – так может вопить только мой кореш Колька. Мы живём в двухэтажном деревянном домике на восемь семей, слышимость в квартирах хорошая. Опять Колька кота валерьянкой в научно-испытательских целях напоил, не иначе. Хлопает соседская дверь. Через несколько минут раздаётся стук в нашу.

– Алексанна, можно?!

– Заходи, Люся, – откликается бабушка. – Только дверь долго открытой не держи, заморозишь мне ребёнка, а у неё...

– Было пять клинических смертей! – нетерпеливо продолжает соседка тётя Люся.

– Да, – как ни в чём не бывало отвечает бабушка. – Девочка болезненная, слабенькая. Проквозит, и опять с пневмонией свалится.

– Да где ж она слабенькая?! – подхватывается тётя Люся. – Третьего дня соседских Лёшку и Гошку отлупила – на весь посёлок рёв стоял. А вчера с Колькой и Ленкой всю дорожку к дому разворотили – мокриц искали, а она из асфальта была!

Бабушка усмехается и намыливает мне голову. Руки у неё мягкие, добрые.

– А сегодня! Рай, я чё пришла-то? А сегодня, – продолжает тётя Люся, размахивая руками и повышая голос, – твоя кровиночка обожрала всю герань у нас на окнах!

Бабушка перестаёт заниматься моими волосами и разворачивается к тёте Люсе.

– Ка-а-ак?! Одна?!

Соседка слегка смущается.

– Нет, – слегка гнусаво отвечает она, – вместе с Колькой. Но это ещё ничего не значит – я уверена, что зачинницей была ваша Вика!

По лбу ползёт мыльная пена, слегка останавливается на бровях, лезет в глаза. Вытираю её, гляжу сквозь щёлки раздвинутых пальцев на бабушку. Смотрит на меня, сдвинув брови.

– Ай-йй-йй. Что же это такое делается? – преувеличенно сердито говорит она. – Ты, Люся, шла бы, промыла сыну желудок, что ли. Ну как, не дай Бог, отравление. А уж я с Викой сама поговорю, уж я накажу её как следует.

Соседка переминается с ноги на ногу. Чувствуется, что она недовольна таким поворотом событий. Но бабушка уже не обращает на неё внимания. Снова на меня льётся тёплая вода...

Хлопает дверь.

– Ну, дед Шукарь, – улыбается бабушка. – Что это вы с Колей опять натворили?

Дедом Шукарём меня прозвали из-за вечно разбитых коленок, расцарапанных рук и синяков по всему телу. Если в посёлке раздаётся громкий плач, соседи говорят: «А, опять Райкина внучка в историю попала... Дед Шукарь». А на самом деле я вовсе и никакой не дед. Это в книжке взрослой есть такой невезучий старичок, меня по нему и называют. А бабушка ещё – «Викюля не оттуля». Что это значит, я не знаю, но выходит смешно.

Скоро вернётся с работы дедушка. Как всегда, немного пошатываясь, посмеиваясь в рыжие прокуренные усы. Бабушка всплеснёт руками: «Иван! Алкаш ненормальный! Опять поддатый домой пришёл!» А дедушка протянет мне подтаявшее мороженое в вафельном стаканчике, и мы пойдём с ним

играть в парикмахерскую. Я посажу его на свою деревянную скамеечку, возьму металлическую расчёску и стану делать причёски на его редеющей, с проседью, шевелюре. И дедушка будет довольно щуриться и что-то бурчать себе под нос. И этот самый нос, лиловый, в синих прожилках, станет отражать электрический свет, идущий от люстры, которую дедушка выдал сам на заводе, потому что он хороший давилщик, и к нему приезжал сам Игорь Кио – известный фокусник – чтобы дедушка сделал ему специальные коробочки с двойным дном. Это мне бабушка рассказала.

А пока по телу льётся, брызгаясь, тёплая вода, и нежно звучит бабушкин голос: «Шу-у-у! С гуся вода, с вунченки худоба!»...

ПАРТИЗАНЫ

– Сестра... Сестра-а-а... Брось меня, уходи-и-и...

Тяжело дыша, отдуваясь и потея, ползу по сухой, выгоревшей от жары, траве вглубь сада. Голые ноги немилосердно расцарапаны, руки саднят и чешутся. Мой приятель Колька увесистым мешком висит за спиной, пережав мне горло грязными, загорелыми руками. Жалобно стонет.

– Сестра-а, пи-ить...

Стоптанная обувь валяется возле вражеского штаба. Пожилая, вечно поддатая, соседка тётя Шура, вышедшая с сигаркой на губе выплеснуть помои свиньям, застаёт нас во время диверсионного акта – мы собираемся освободить боевых товарищей из лап фашистов. Пронзительно ревьёт сирена – отборный тёттишурин мат. В нашу сторону летят комья земли.

– Сандалики! Они пустят по нашему следу овчарок!...

Мы затаем следы – Колька сучит ослабевшими ногами, вороша примятую траву, оставляя на земле характерные длинные дорожки.

– Брось меня, сестричка... Передай нашим, что я сражался до конца!

Я шумно выдыхаю и отпускаю приятеля. Он смотрит на меня удивлённо, от страданий на лице не остаётся и следа.

– Ты чё, – спрашивает Колька, – бросить, что ли, решила? Партизаны своих не бросают. Тащи давай.

Хм. А говорил... Он вообще странный, этот Колька. Невысокий, худой, с тонкой цыплячьей шейкой, в очках с одним, залепленным лейкопластырем стеклом. Вечно задумчивый, витающий в облаках. Бабушка называет его «еврейчиком». Когда я спрашиваю её что это значит, говорит, что евреи – это такие умные и хитрые люди. Что они всегда друг друга поддерживают и что, в отличие от русских дураков и пьяниц, всегда хорошо устраиваются. Я часто наблюдаю за Колькой, когда он думает. Бабушка почти права – вид у него умный, но не устроенный. Папы у Кольки нет, есть только директор завода, на котором Колькина мама работает учётчицей. Иногда этот директор приходит к ним в гости, приносит всякие сладости и игрушки. И тогда Колька надолго выходит гулять или идёт ко мне домой, и мой дядя рассказывает нам удивительные истории про Рантика Спичку Серенького, который колет своим острым носом непослушных детей и спит в тумбочке. Колька говорит, что это не научно. Но всегда озирается, когда проходит мимо нашей печки – дядя утверждает, что Рантик живёт именно за ней. Как там помещается тумбочка – непонятно.

Колька снова стонет за спиной. Фашистская пуля тёти Шуры попала ему в голову.

– Потерпи, браток! Теперь скоро.

Июльское солнце немилосердно печёт мою белобрысую макушку, со лба по щекам текут горячие ручейки. Ни ветринки. В пылающем мареве, среди жёсткой травы звонко стрекочут кузнечики. Я подтаскиваю Кольку к топчану возле кустов и облегчённо скидываю.

– Дошли!

Мой приятель картинно разбрасывает руки в стороны и умирающим голосом шепчет:

– Машинки мои Мишке не отдавай. Он им живо колёса поотламывает. А Ленке скажи – голову от её куклы я спрятал в собачьей будке. Дружок, небось, её уже всю обслонявил...

Вот ведь какой! Как от вражеских оккупантов спастись – так я, а как последний вздох – так об Ленке. Ладно-ладно...

– Нет уж, – заявляю мстительно. – Ты у меня будешь жить! Бабушка говорит, что советская медицина – самая лучшая медицина в мире. Сейчас я тебя стану спасать.

Колька открывает глаз под не залепленным стеклом, настроенно приподнимается на локте.

– Давай как будто я уже почти выздоровел, а?

– Ты что-о-о? Разве так бывает? Я тебе ещё операцию не делала! Сама в кино видела – там всегда оперируют, а потом спрашивают: «Ну что, больной, вам уже легче?»

Колька тяжело вздыхает. Я достаю из-под топчана облезлую дерматиновую сумочку с намалёванным на ней синей пастой крестом и начинаю вытаскивать «инструменты»: скакалку, разноцветные стёклышки, ножички из кукольного набора, пузырьки из-под лекарств, оранжевую индивидуальную аптечку с пластмассовыми колбочками и маленьким шприцем, вату и бинт. Колька недоверчиво наблю-



дает за мои действиями. Из сумочки появляются дедушкины долото и молоток. Ободряюще улыбаюсь:

— А сейчас, пациент, мы сделаем вам трепанацию черепа.

Мне ужасно нравится это выражение. Бабушка часто говорит, что многие проблемы в стране можно решить, если сделать некоторым руководителям трепанацию черепа. Почему ж тогда не делают? Странно.

Колька дёргается и пытается соскочить с топчана. Я хватаю его за локти, валю на шершавые доски.

— Успокойтесь, больной. Современная наука творит чудеса!

Скакалка вовремя оказывается под рукой. Колька отчаянно сопротивляется, пыхтит и лягается. Глупый Колька. Я всегда побеждаю, когда мы дерёмся — хоть и хожу потом с разбитой губой или ободранными коленками.

Наша возня длится долго. В конце концов мне удаётся прижать приятеля к топчану и связать ему руки.

— Какой же ты партизан, — говорю, — если боишься операции? А вдруг фашисты станут пытать?

Колька, красный как помидор, пыгается вырваться, затем не выдерживает и издаёт душераздирающий вопль: «Ма-а-а-м-м-м-а-а-а-а!» Его громкий плач разносится далеко по саду.

Я поспешно развязываю ему руки и отпускаю. Колька бросается в сторону дома.

Вздыхаю: эх, а говорил, что партизаны своих не бросают...

ПО ШПАЛАМ

— Вот тогда Зойка меня и выгнала. Иди, говорит, своих ртов хватает...

Бабушка сидит на низеньком диванчике, штопает на банке носок. Пальцы у неё хоть и похожи на распухшие сардельки, но шустрые — иголка так и мелькает. В комнате стоит пряный запах зверобоя и мяты — сушатся, подвешенные у окна, пучки трав. Ровно, дремотно цокают часы на стене.

— Она тогда работала обходчицей, далеко от города жила. Собрала я свои вещички и потопала по шпалам до Выборга. Ночь, темнотица страшная, а я иду. Иду и думаю: какая жизнь гадская — в блокаду нас выжило всего трое, старшие братья на войне погибли, младшие с голоду на тот свет отправились — а вот, не нужны друг дружке. Лизка вечно беременная, пашет, как ломовая, — и днем и ночью, Зойка всегда сама по себе, с характером. Да и Колька её пьет. А мне-то куда? Ни квартиры, ни денег. Кому я нужна — соплячка четырнадцатилетняя?

Ну вот, шагаю, пар изо рта, ноги в летних ботиночках коченеют. Думаю, встретить бы кого, в попутчицы набиться. Хорошо, месяц из-за туч вышел, развиднелось. И тут подхожу я к кладбищу — оно вдоль железной дороги тянулось — смотрю, впереди человек. Высокий такой, сутулый, весь в чёрном...

Бабушка широко открывает глаза и понижает голос. Я, ойкнув, замираю. Она, довольная произведённым эффектом, улыбается, поправляет сползшие на нос очки. Продолжает.

— Я за ним. «Подождите, — кричу — подождите!» А он идёт и не оборачивается. И тут я замечаю, что хоть и бегу, а расстояние между нами не уменьшается...

Бабушка делает паузу. Я начинаю беспокойно елозить, слышно, как скрипит подо мной старенькая, разохшаяся скамеечка.

— Вдруг это убийца какой-нибудь был, ба?

Бабушка перестаёт шить, смотрит куда-то, в незаметно вползающие в окно летние сумерки, потом переводит взгляд на меня.

— Включи-ка свет, детка.

Я тянусь к выключателю.

— Ну, ба, а если бы это был какой-нибудь бандит?!

— Да мне тогда всё равно было, очень уж я мертвецов боялась. Вроде столько перемёрло на моих глазах, а поди ж ты.

— И что, догнала ты того, чёрного?

— Нет, не догнала. Он, как кладбище заканчиваться стало, словно под землю провалился. Только что был — и нате — нет его!

— Ого! А вдруг это живой труп был?

Бабушка смеётся, прижимает меня к себе. От неё едва уловимо пахнет укропом и чесноком.

— Живой, не живой — какая теперь разница? Давай, беги дедушку встречать, половина шестого.

Хватаю жёлтую, крупной вязки, кофту, сую ноги в стоптанные сандалии и выскакиваю во двор — к калитке. Я всегда встречаю дедушку с работы.

Мы идём с ним между огромных кустов сирени, что растут вдоль дорожки, а потом все вместе садимся ужинать, и бабушка рассказывает о том, что соседский слепондырый Игорёк опять что-то паял и вырубил электричество во всём доме. А дедушка говорит, что начальник цеха опять дал ему трудный заказ, и он, дедушка, давил его, давил, пока у него не начали болеть ноги. В ногах у дедушки осколки, врачи после войны их так и не выгнали.



А мне рассказать нечего. Потому, что я весь день провела дома. У соседского Кольки, моего друга, были гости – Аллочка и Миша. Когда они приходят, его мама меня не пускает, ругается: «Дай Коле поиграть с хорошими детьми».

Бабушка говорит, что это всё потому, что они евреи, – только со своими дружить хотят. Я удивляюсь: в школе нам рассказывали, что в нашей стране все народы равны, мы даже в прописях писали: «мир, дружба, братство», а на утреннике, посвящённом Первому мая, я играла девочку Киргизии. . . Нет, Колька хороший, это его мама давно училась, всё забыла.

Бабушка смотрит на меня, гладит по голове.

– Не грусти, Викуля-не оттуля, завтра мы с тобой поставим тесто, пирогов напечём.

Ночью мне снится сон: я иду по шпалам, темно, холодно, впереди – чёрный человек. Только совсем не страшный, худой. Кричу ему: «Подожди!» А он оборачивается, и я вижу Кольку. Моего приятеля Кольку – нескладного, неловкого, в очках – одно стекло залеплено лейкопластырем. Он машет мне рукой и, развернувшись, уходит. А я остаюсь.

ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ

А по небу летят лебеди. . .

– Бабушка, почему они так грустно кричат?

– Наверное, им жалко что-то терять. Они же прощаются с домом.

– Так они плачут, бабушка? Как я плачу, когда уезжаю от тебя?

– Да, моя хорошая.

– А разве нельзя быть всегда вместе? Почему люди расстаются?

– Потому, что они не принадлежат себе, потому, что их всегда кто-то где-то ждёт. Вот вырастешь и поймёшь это.

– Я не хочу вырастать!

Господи, какая же ты стала маленькая. Эти узкие, беспомощные плечи, эти острые, какие-то беззащитные лопатки под моей ладонью, это осунувшееся, воскового оттенка лицо. И взгляд – в себя, почти безжизненный, почти отсутствующий. Почти. . .

– Как твои дела, деточка?

– Ничего, бабуль. Всё в делах.

Тёплые дрожащие руки накрывают мою ладонь. Когда-то кожа на них была слегка шершавой от постоянной работы по дому. Теперь же она стала мягкой и тонкой.

– Скорее бы уже умереть.

– Ну что ты, бабуль? О чём ты говоришь? Тебе ещё жить и жить.

– Зачем?

– Как зачем? Просто жить и всё.

– Нет, не интересно уже. Да и умирать не страшно – раз, и улетел. И не мучаешься.

– А как же мы? Как мы без тебя?

– Вы не останетесь одни. Забыла? Нас всегда кто-то где-то ждёт.

– Бабушка!

А по небу снова летят лебеди. В этот раз они возвращаются. И тоже с плачем. Почему?

АЛЕКСАНДР СЕМЫКИН

СЛОВАРЬ БЕССОННИЦЫ

ХИЩНЫЕ МАТЧИ ВЕКА

Снова солнечный мяч пробивает зенит
Третий раз колокольчик судейский звенит
Зрелым образом лузера ты знаменит
От ушей до шипов не аршавин

Полустопганно кредо ударной ногой
Этот матч канет в лету как тот и другой
Ты бежишь автоголый душевно нагой
И мечтами траву орошаешь

Изумрудное небо и жёлтый кирпич
След от бутсы брильянтовой пылью кипит
Комментатор вздымает божественный спич
Кресла рвёт от восторга болельщик

Только сциллят харибдами беки бока
И поймают в коробочку аки жука
И порвёт нити связок дамочлов подкат
Матчи века жрут хищные вещи

ЧОКНУТЫЙ ВОЛЧОК...

Центробежно весь напрягся,
Высекая искр пучок
И цвета сливая в кляксу, —
Жизни крутится волчок...

Постигаешь скорость света —
За рывком идёт скачок...
Хоть и трудно будет это —
Сфокусируй свой зрачок:

Всё, чем мнил себя, — ошибка!
Думал шука? Нет — бычок!
Но проглочена наживка
И в щеке торчит крючок...

Блеск мечты — за полкопейки!
Видишь ценник-ярлычок
На крыле судьбы-индейки?
Но об этом — ша!.. молчок...

Мы попрягались от правды,
Как горошины в стручок...
... Может, истина в руладах,
Что выводит нам сверчок?..



СЛОВАРЬ БЕССОННИЦЫ

Читать потрёпанный словарь,
пытаясь скрыться от бессонницы...
Тебя б в ключицы целовать,
так нет же, тянет вечно ссориться.

Сто тысяч раз насквозь пройдя,
изрешетить любовь, как свёрлами,
чтоб после, в капельках дождя,
мир отражался перевёрнуто.

И всё, что нравилось в тебе,
признать гримасой сумасшествия,
и в памяти табличку «Бред»
подвесить памяткой вошедшему

о том, как тщетно возвращать...
о том, как глупо возвращение...
И ждать, что где-то к букве «Щ»
Морфей дарует нам прощение...

НИКО

Я вспомнил то, что было раньше:
Не жизнь, так две тому назад,
Смеялся благостно духанщик
И щурил хитрые глаза,
Несуетливо подливая
Слегка с кислинкою вино
В бездонный рог; струя кривая
Шипела, пенилась, и сном
Казался (так оно и было)
Уютный горный городок,
Шуршала речка под обрывом,
Полз виноград по стенке до
Цветастой вывески духана –
Зелёных букв на голубом.
И наблюдал народ, вздыхая,
Как ниже букв, вместив с трудом
Всё то, что с детства греет, манит,
Плеснувши радугу на кисть,
Парнишка Нико Пиросмани
Рисует солнечный Тифлис...

МЫ ДВОЕ

Когда тоскливо, горько, больно
И слова некому сказать,
В моей душе дрожит ребёнок:
Округлы синие глаза,
И светлый взгляд их столь тревожен,
В нём так хрусталики звенят,
Что пробивают толстокожесть
Планеты имени меня...
Ему я волосы взъерошу,
Мол, не грусти, что не ажур,
Изображу смешную лошадь...
Но вслух ни слова не скажу –



Нам тишина мила любая,
Мы двое маленьких волчат,
И он глядит не улыбаясь,
Всепонимающе молча.
Так умирительно серьёзен –
Ребёнок, что живёт во мне...

Я помню все ушибы, слёзы,
Все ссадинки его колен...

ДУНЕТ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР...

Дунет северный ветер, и я разлечусь
Мириадами светлых, но грустных пушинок.
Это лето прощаться со мной поспешило,
Это осень вросла в нас фибрами чувств.

Всё, что плавилось золотом, было, как сон,
Ночь стелилась в ладони – черна, словно метка.
Я цветок, я травинка, я рос незаметно,
Пробиваясь сквозь камни, щебёнку и сор.

Звёзды падали наземь песчинками дюн,
Море нежно светилось и было над нами.
Ветер, как же непросто подняться со дна мне,
Потому и прошу: дунь, пожалуйста, дунь...

МЯЧИКИ СТРАНЫ ЗЕМЛЯНИК

По истёртой ладони Земли
Я качусь, словно выцветший мячик,
Тот, что сам я и пнул – милый мальчик
Из далёкой страны земляник.

Это вам только кажется, я –
неприметный, задумчивый, тихий...
Но когда-то пиратами лихо
верховодил с кормы корабля.

Это только мне чудится, что
Я серьёзен, солиден, заслужен...
Но во сне вновь гоняю по лужам,
Затевая всамделишный шторм.

Как реальность безмерно скучна...
Я прошу, хоть в мечтах, понарошку,
Помани меня полным лукошком,
Земляничного детства страна!

– Папа, папа, пойдём погулять
В зоопарк, просто парк или к морю!
Я иду, ни секунды не споря...
И два мячика катит Земля...



ПРЕЖДЕ ЧЕМ...

Прежде чем уйти и кануть,
растеряться,
растерять, —
сохранись в зиме на память,
как в кусочке янтаря.

Лет так сто
шмыгнёт в окошко,
ты воскреснешь,
отогрет
в детской маленькой
ладонке.

Ты проклонешься на свет
и протянешь к солнцу листья,
и расправишь стебелёк.

И в природе,
вдруг,
осмыслишь
всё Величество Её.

ГРИГОРИЙ ВАЙДМАН

СКВОЗЬ ПЕРФОРАЦИЮ

Витражное окно,
Струится мягкий свет,
Янтарные лучи
 По стенам растеклись.
На улице серо и сыро,
А в комнате
 Приятно и тепло.
Не лучше ли прожить
В своём, пусть малом,
Но уютном мире,
Чем мёрзнуть на ветру,
На улицах
 Бездушных
 Городов?

Пот выступает на руках,
Огонь играет на лице.
На наковальне,
Искры вышибая,
Кузнец
 Вплетает
 Ветер
В виноградный лист.
В воде
Вскипает,
Пенится,
Бурлит
И, охлаждаясь,
 Застывает
 Живое
 В неживом.

Причал.
 Корабль
В предрассветной тишине,
Устав от якорных цепей,
Гудком прощальным
Чаяк разбудив,
По морю заскользил,
Оставив за кормой



Шум волн и ветра,
 Бьющихся об берег,
 И исчезающих
 В небесной
 Вышине.

Палатка,
 Продуваемая
 Ветром.
 Вода ласкает
 Каменистый
 Берег.
 Художник
 Над мольбертом
 Задремал.
 Натурщица-природа
 В ожидании застыла.
 На спинах волн
 Искрятся уходящие лучи.
 Дельфины
 Вдалеке
 Играют,
 Бакланы
 Медленно
 Парят.
 И плотный воздух
 С водной пылью
 Опадает
 На стены древние
 Оставленных домов.

Багрянцем лето
 Догорает в листьях,
 Осенний ветер
 В солнечных лучах,
 Прощаясь,
 Гладит
 Травы в парках.
 Поблёскивают лужи
 На асфальте,
 И дивных запахов букет
 Завис над садом.

Скамейка
 Одинокая
 У моря,
 Гвоздём царапаны посланья.
 Окурки мокрые,
 Газетные листы
 Солёный бриз
 Перебирает вяло.
 Со склонов дымом
 Жжёных листьев
 Окуривает ветер
 Опустевший пляж...



Рассвет над крышами
Сереет,
Сквозь перфорацию
Скрипучих жалюзи
Пробился жёлтый свет.
С окон стекает скучный дождь,
Листва прилипла к мостовым.
И суета
В парадных,
Несмотря оживших,
От стука скатывающихся ног
Выносит из домов
Остатки сновидений.

Е.В.

Оберегая
Сон
Твой,
Родной и милый
Сердцу человек,
Люблю смотреть
На мягкие
Спокойные,
Черты.
Покой в душе,
И нежное касанье
Великой тайны мирозданья,
Всё спрятано в тебе,
Великий мой предел.

ВИТАЛИЙ ШНАЙДЕР

КРИСТАЛЛИЧЕСКИ ЧИСТ

ЧЁРНЫЙ ВТОРНИК

Памяти М.С.Л.

Молча чёрный гроб несли
К свежевырытой могиле.
Тихо в яму опустили.
Каждый бросил горсть земли.

А потом был чёрный зал.
Долго говорили речи.
Сын сидел, сутуля плечи.
Он ни слова не сказал.

Над виском его седым
В свете тусклого плафона
Плыл, похожий на дракона,
Сизый сигаретный дым.

След, извив неуловимый, —
То движение души.
Мимо Мекки, Рима мимо,
Мимо Иерусалима
Вслед за ночью поспеши.

В даль, за воландовой свитой,
Набирая высоту,
И Фагот в пенсне разбитом
Скривит рот, и Маргарита
В сумрак спрячет наготу.

И Мессир вполоборота
Повернется, чёрный зрак

Наведёт и Бегемота
Подзовет, прикажет что-то,
И падёт земля во мрак.

Рухнет храм, и тьму прочертит
Отсвет огненных столбов,
И в кромешной круговерти
Закружится Ангел смерти
Над руинами домов.



Он понял вдруг, что чувство русской речи
почти утратил. И на сердце мгла.
И повторяло эхо: «Онемечен...»
И речь чужая небо обожгла.

И небо опрокинулось, сдавило.
Жизнь теплилась лишь где-то на краю
сознания. И неведомая сила
толкала в ледяную полынью...

Земля тверда везде, но речь – иная,
вот – перемены местности итог.

И от хребтов Урала до Синая
звучат наречья разные, сменяя
чуть глуховатый на гортанный слог.

Мне снился ночью страшный сон:
На перекрёстке улиц шумных
Я был внезапно окружён,
Растерзан, смят и оглушён
Толпой уродов и безумных.
И карлик прыгнул мне на грудь,
И щёлкали у горла зубы.
Его хотел я оттолкнуть,
Но мне рукой не шевельнуть
И не разжать для крика губы.
Лежу недвижимый в грязи,
Толпа уродов дышит смрадом.
Их рты зловонные вблизи
Визжат: «Коль хочешь жить – ползи!..»
И сыплются удары градом.
Ночь разорвал мой громкий крик,
Казалось, дом от крика рухнет.
Ночной кошмар растаял вмиг,
Лишь кашлял за стеной старик,
Да тикали часы на кухне.

Я прожигаю время,
Лежу на диване – жгу,
В землю не сею семя,
С телеэкрана не лгу.
Тихий, домашний, кроткий,
Я кристаллически чист,
Как смирновская водка,
Как неисписанный лист.
Люди строят дороги,
Любят, сжигают мосты,
Пьют, возводят остроги,
Бьются в сетях суеты...
Жизнь кипит за стеною
Тесной моей конуры,
Я ничего не строю –
Лежу и глаза закрыл.

СЕРГЕЙ ЗИНЕВИЧ

ЦАПЛИ МЕНЯЮТ ОЗЕРО

Укложий коридор
Косматое пальто
Мой сказочный убор
Сна в аэропорт
Не стой – вот никого
Пустой как тополей
Пробор разубеждает высь
Вернись
Землёй запей

(сон, продолжение)

Падает хлопка бутон
О смелую землю
Снятый стеклом часов
Вращающих зебру
Белый отрывок

Протон
Траекторию сов храня
Роняет края
С тыла растает утро
Фабрик «Свобода» осядет
Дорожка – пудра
Дуря от ДУСТА

JВ ПИТЕР

От гелия от циркония
Отпускаю поводья
В городе половодья
Когда машу, дрожат кожей
Ладьи
Их выводит из терпения
РЕАХИМ, пена, веса сцепление
Как качаться,
Помня руки опухало?
Бронзовые букли
Турист пальцем ужалил
Стоящие над Охгой угли
И отчалил. Ночь лил
Стёкла листали свинец
Венцы шестерён
Переключивали утро
Восход-пехотинец
Открытый чтец



О чём скулит последний номер
 Вода идёт без башмаков
 Высот расчерченный покоем
 Покроем угловатых сот
 Но выпадая каплей пьяной
 Вливает осень свой рожок
 Затем ли мост такой упрямый
 Что тень в пыли как «порошок»
 Забыть, заставить, занавесить
 Пусть «Пли!» скомандует вокзал
 Чужую песнь под навесом
 Не я – октябрь дождём лизал

Случай надрезал цирюльник
 Взял выше полотно
 Сбой
 Море прибудет. Вышлю
 Пой, рукомойник, вой
 Помнишь пашню серым пятном
 На циферблате
 Откинув купол завещала башня
 Помнишь леденец – засов
 Впускал прикосновением кашля
 Столь малое преддверие жетон
 Мир богослов
 Собою полон
 Мыс моленных волнами молот
 Мыс – вылиго восходом серебро углов
 Лондонский мятный английский
 Как слюда
 Гитара с трещинкой пьяной вишни
 И ты – 3.14

Свет-лет-ет
 Восходит
 Цапли меняют озеро
 Повторим...
 Рот пьёт, ест
 Красноводье
 Ритм рвёт стих
 Логарифм вышивает
 Памятуя
 Стёр рябь слов
 Плесень бри
 В топках торф ноет
 Скользят рыбы
 Грибы
 Зазывают сезон
 В городе без 5-ти
 Нас двое
 Не подразумеваемая очки
 Листья узнались
 В сетчатке линий



Она любила стряхивать пепел
На пальцы флейтиста
Тогда ноги не выгорали ночью
Оливы съели жизнью дочери
Ставили вопрос движениям пристани
Споры грибов плыли
Съели в крупе прибрежного плёса
Небо несло созвездие пса
Цвета растворённого купороса
Медленно я блевал
От вращения полюса
Люфта указательного пальца
И лифта летящего Космоса

На кухне холодно
Тот пепел на столе
В кармане «голодно»
Как пусто в голове
Для всех рассказано... —
«Подписаны листы»
Мы в свод повязаны
И я уже как ты
Шагаю быстрыми
И слизываю гарь
Что в губы впрыснула
Очередная тварь

МАРИНА КОПАНОЙ

«НЕОНА СВЕТ И СОЛНЦЕ КРЫМА...»

Залит чернилами восток,
Закат слезой стекает в вечность.
И разговора ручеек
Стремится к знаку «бесконечность»...

И отражается в глазах
Неона свет и солнце Крыма,
И память – цепкая лоза –
Соединяет всех незримо.

И слышно в шелесте листвы
Иного моря тихий рокот.
И где-то белые листвы
Уже грустят по чёрным строкам...

... Я погружаюсь в небеса,
В густую синь, под солнцем тая.
И, как янтарная роса,
С высот в пучину вод стекаю.

На дне песчаном, до поры,
Для глаз бездушных незаметна,
Я буду созерцать *миры*,
Ждать терпеливо час заветный.

В тот миг, раскрывшись, небеса,
Прочь отведут волну морскую.
И станет зримою краса,
Преобразившись в плоть людскую...

Так здорово качаться на волнах!
Покорно, со стихиею не споря.
Блаженствовать, как в самых сладких снах,
Во власть отдавшись ласковому морю.

Как здорово не думать ни о чём!
Хоть час короткий, ветру лишь внимая.
И чувствовать могучее плечо
Безбрежности, что землю обнимает...

Набравшись сил у четырёх стихий,
 Как здорово, насытившись раздольем,
 На теплой гальке расплескать стихи,
 Смешав вино и хвою с горсткой соли!

Дорогами древних героев
 Шагаем упрямо вперед.
 Всё кажется: миг – и откроет
 Нам тайну крутой поворот...

Ту тайну, что долго скрывала
 Расщелина хмурой горы,
 Над нею деревья сплетала
 Рука великана в шатры.

Та тайна туманом струилась,
 Под шалью скрывая каньон.
 И в струях прозрачных искрилась,
 Спеша перейти Рубикон...

Дорогами древних героев
 Упрямо шагаем вперед,
 С надеждой, что тайну откроет
 Внезапный крутой поворот.

Маленький ангел спустился на Землю
 Знал он давно, что придёт в этот дом.
 В час, когда сказки усталые дремлют,
 Птицей ночной он присел под окном.

Трудным был путь из заоблачной дали,
 Там где бескрайний шумит океан,
 В мир, где радости есть и печали,
 В мир, где любим он и долгождан.

Маленький ангел спустился на Землю.
 Руки родные прижали к груди,
 Спит безмятежно он в колыбели,
 Зная, что счастье и свет впереди.

Мне приснился светлый мир хрустальный:
 Там, рассыпав васильки во ржи,
 Дождь бродил. И пел мне гимн венчальный,
 Птичий клин на ноты разложив.

Мне закат приснился, озарённый
 Тёплым светом любящей души.
 И рассвет, что пил замороженно
 Нежность, растворённую в тиши.

Мне приснилась радуга на небе,
 Сад в цвету, и первая звезда.
 Мне приснился ты – каким ты не был,
 И каким не будешь никогда.

«СЕТИ»

семь авторов – семь стихотворений

От редакции: Комментарии есть дело наносное, энергетически ущербное. Издётся, возможно, стоило бы не говорить ни о чём. Ни о том, что священный бисер стихописания – не прерогатива журнальных монстров: Сети всё ещё приносят незамеченные талантливые стихи, в которых наличествует и природный нерв, и перевозданный кровоток. Ни о том, что случайных авторов в этой рубрике не будет: каждый из них достаточно далеко прошёл по пути личного несовершенства и весьма известен в своих сообществах. Ни о том, что попытка хоть немного приучить читателя к «текстам без биографий», как бы маловыгодно она ни смотрелась, есть задача благородная. Брать не «автора», но «текст», обнулять глаза и очищать вкусовые рецепторы до чтения – не мечта ли это? Мы и впредь будем стремиться делать это. Приятного чтения.

ИРИНА КАМЕНСКАЯ

Евпатория

ПО ЭТУ СТОРОНУ

Сводя потери к нулевым
И к не замеченым – утраты,
По эту сторону любви
Горят бумажные солдаты.

Огонь исполнен правоты
И чист, поскольку бесталанен.
По эту сторону мечты
Нет сожалений и желаний.

Чего желать, коль даже смерть
Не значимей плохой погоды,
Когда научишься гореть
По эту сторону свободы?

НАСТЯ РОМАНЬКОВА

Москва

Как Лускерия шла хоронить своего мертвеца, как она шла!
Старухи сердились ей вслед, негодуя, бурчали себе под нос:
«Почему её ноги босы, и почему голова светла?
С ума ли она сошла, да ты посмотри, как она одета!»
Как Лускерия шла хоронить своего мертвеца, вы видели это?

Как Лускерия пела, когда его тело, сожрав, забрала земля,
И смерть его - чёрные вихри - прошла завитками до вешних гроз!
Как её голос его провожал наверх, и застывший взгляд
Был обращён вовнутрь; кровь как будто сочилась из головы..
Как терзает корона из роз - вы не знаете - слишком довольны вы!

Только что ты поёшь, Лускерия, сбрендила верно, ведь он был хром!
Он был пуст, как бутылка, он в себя заливал текилью, грошовый ром,
Он к тебе присосался пиявкой, и песни он пел - за твои долги!
Лускерия, слушай же, жалок он был, и не жалко, что он погиб.
От чужого ножа, среди ночи... Кому его мелочь была нужна?

Как Лускерия пела о муже своём - так, как будто была пьяна.
Не было в голосе слабости, не было в сердце её тоски!
И у женщин сжимались влагалища, а у мужчин - налились кулаки.
Пела, будто пребудет он вечно, а вы лишь до времени, до поры.
Пела, был он собою, и был, кем хотел, и манера его игры
была безупречна...

СЕРГЕЙ ГОРОДЕНСКИЙМосква

Февраль. Нехватка витаминов.
Микстура с запахом весны.
Луна. Опушка. Буратины
Торчат носами из сосны.

Им снится что-то из Верлена
До самой утренней зари.
Где каждый - сам себе полено
С веселым мальчиком внутри.

Их сущности легки, как птицы,
Честолюбивы и вольны,
Носы длинные, полны амбиций
И вожделения полны.

Ах, как легко парить в объятьях
Беспечно-радостного сна!
Но просыпаются собратья.
Их ждут свобода и весна,

Ручей в лазурной окантовке,
Рассвет со вкусом пастилы.
Бригада лесозаготовки.
И сучий вой бензопилы.

ИРИНА РЕМИЗОВАКишинёв

НА ЦЫПОЧКАХ

Я прохожу сквозь воздух, как росток
проходит через ночь садовой почвы,
как ливень - сквозь резное решето
каштановых полураскрытых почек.

На цыпочках, корнями пальцев - вверх,
на ощупь обходя то луч, то птицу,
то облачное яблоко в листе
голубоватой - продолжаю длиться
и пробую слоёные пласты,
(чем глубже ввысь - тем холодней и жёстче)
уложенные вертикально - встык -
в отвесную невидимую площадь.

Беспечно удаляюсь - налегке,
(хотя окружена телесной ношей),
как будто в позвоночнике-стручке
всё больше сочленений и горошин.

Но там, где нет серпа и бороны
и травам полевым живётся просто, -
горизонтальной каменной стены
касаются все десять точек роста.

ЛЕВ ЛИБОЛЕВ

Одесса-Германия

ГОРЕЧЬ ГУБ

в её печали пролитая желчь,
печалиться и губы не обжечь
совсем не просто. горечь поцелуя
таит в себе расширенный зрачок,
когда она целует горячо
и возрождает в нём любовь былую,

ему передавая этот вкус,
а с ним полузабытую тоску,
укрытую под маской арлекина.
и смех его ужаснее гримас,
а горечь губ, текущая из глаз,
ещё невыносимее, чем хина.

и оба пьют невкусный горький чай,
но в чае том заварка горяча,
и поцелуй её отмечен желчью,
а хины вкус с его сочится губ...
он говорит ей - больше не могу.
а ей на горький вкус ответить нечем...

ЕЛЕНА МУДРОВА

Харьков

Лежишь в траве, изнеженной теплом,
И замечаешь, - небо чище с краю,
Где голубое зеркало крылом
Старательная птица протирает,

Чтоб видеть отражение своё.
А ты приподнимаешься и слышишь,
Что птица отраженная поёт,
Не громче настоящей и не тише.

Как на огонь, летишь на песню ту,
Но исчезают зеркало и птица...
А небо отражает пустоту.
И тонешь в ней.
И не за что схватиться.

МИХАИЛ ШЕРБ

Германия, Бохум

О том, что несколько дней подряд он дарит цветку,
Словно облатку вкладывая в распахнутый чашки зев, -
О том, к чему вожделенно тянет сквозь снег зимний куст
Отростки гибких оголённых пальцев - вверх.

И о том, что после полудня мёдом течёт
По гладким стенам с каждой покатою крыши,
О чём поёт неверие моё
в псалмах, взлетающих всё выше.

О том, что предстанет взгляду моему
В виде лестницы из бесконечного числа ступеней,
Когда, переступив через порог во тьму,
Падая ниц навсегда,
Я сперва упаду на колени.

Я чувствую это в сжатом до судороги кулаке,
Хотя ничего нет и не было на моей раскрытой ладони.

Об этом написано на каждой притолоке
В каждом доме,
В котором живут...

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

МОЯ МОЗАИКА ВОСПОМИНАНИЯ

В моей книге «Обратный отсчёт» были две части «Моей мозаики» – заметок, воспоминаний, размышлений, литературных портретов, – своеобразного дневника мыслей, внутренней жизни. Я продолжал эти «хаотичные» записи (новые страницы уже печатались в журналах, альманахах и других изданиях). С удовольствием прочитал себе в оправдание строки Леонида Зорина из его «Зелёных тетрадей»: «Было немалое искушение как-то организовать эти записи и расположить их по темам. В конце концов, я его преодолел... В бессвязности есть некая правда».

ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Лет шести-семи я сочинил первое стихотворение. По-румынски (русских школ тогда в Бессарабии не было). Сохранилось в отцовской тетради начало, написанное детским корявым почерком.

Стихотворение было про котёнка, оно взрослым понравилось и мне предложили прочитать его на празднике по случаю окончания первого класса. Выйдя на сцену, я запнулся, не знал как сказать – чьё стихотворение. Кто-то подсказал: «de subsemnatul», то есть «нижеподписавшегося». Я так и сказал под одобрительный смех. Потом были аплодисменты. Они мне понравились, захотелось ещё. Придя домой, я решил продолжить стихописание. Была, правда, ещё одна причина. Какой-то мой одноклассник сказал, нехорошо ухмыляясь:

– Это не ты сочинил. Это твоя мама.

– Как? – возмутился я. – Она даже говорить по-румынски не очень-то умеет!

– Ну и что? Она написала по-русски. А ты списал по-румынски. . .

Как ему объяснить, что стихи не «списываются» с языка на язык? Невозможно! Надо написать ещё. Но в голове пусто! Тогда я переписал первое, заменив котёнка на щенка, и прочитал маме с папой. Никогда не забуду выражение неловкости и разочарованности на их лицах. Надолго я перестал писать стихи. . .

МАЙОР МИЛИЦИИ ДАРИТ МНЕ РУЖЬЁ

Однажды ко мне в редакцию газеты «Молодёжь Молдавии» пришёл тихий скромный майор милиции Александр Петрович Левичев и принёс лёгкие, изящные, но весьма занозистые сатирические стихи. Я стал его печатать, он воспыхал ко мне восторженной влюблённостью. Однажды он заманил меня (с кем – не помню) к себе домой. Веселились, пили. Мой майор, раскисший от умиления, горячо придумывал способы, как спасти меня в случае атомной войны. Перед уходом он вдруг сорвал со стены охотничье ружьё и сунул его мне в качестве подарка. Как я ни отбивался, как ни клялся, что я не охотник и никогда им не буду, он продолжал настаивать, грозя в противном случае смертельно обидеться. Пришлось взять. Не забуду глаза моей жены, когда я появился домой заполночь подвыпивший, с ружьём!

Выспавшись, я, разумеется, отнёс «подарок» обратно. Левичев сконфуженно принял его. . .

Добрый, чистый был человек. И при этом едкий сатирик. От сокрытой ранимости, что ли? Потом я уехал из Кишинёва, потерял его из виду. Через годы узнал, что он осенью 1972 года погиб, защищая женщину от бандитов. Тетрадь его стихов до сих пор хранится у меня.

ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ ИЛИ ДОСТАТЬ КНИГУ

Достать книгу. . .

В советскую пору это была проблема. Цены не имели значения: книгу не покупали, а доставали,



решали дело привилегии, блат. В отличие от простых смертных у нас был свой магазин. Ещё со скамьи Литературного института мы получали доступ в заповедную «Книжную лавку писателей» на Кузнецком мосту. А точнее — на второй её этаж. Прочие граждане толклись на первом, где ассортимент ничем особым не блистал, члены же союза уверенно, но осмотрительно взбирались по весьма узкой лестнице на «капитанский мостик». Наверху, в метре справа и спереди от лестницы в тесном промежутке стоял прилавок, где книг навалом — редкие книги и новинки: выбирай!

Я восторженно пользовался этой привилегией после каждой стипендии, был вполне доволен и долго не замечал, что и верхний этаж — это только нижний ярус особой иерархии.

Во-первых, нам, «прилавочникам» далеко не всегда доставалось желанное. Надо было прийти заранее (предупреждали сведущие друзья: «дают того-то и того-то...»), отстоять очередь, сначала на лестнице, потом у барьера.

Во-вторых, за прилавком был зал, похожий на библиотечный, со стеллажами и столами — заповедная зона. Маститые и полумаститые писатели смело проходили за прилавок, слонялись по залу, перебирали книги и брали, что хотели. Иногда отходили в сторонку и как старые знакомые шептались с «хозяевами» — Кирилл Викторовной и Олегом Леонидовичем.

Но в правом углу зала была ещё небольшая комнатка с занавеской в дверном проёме. Туда проникали только избранные, всякие члены правлений и редколлегий. Однако и это ещё было не всё. Уже будучи работником аппарата Правления СП СССР, я узнал, что лауреаты и секретари СП вообще в Лавку не ходят, им подбирают книги в той самой спецкомнате с занавеской, пакуют и передают через посыльных и родственников.

С падением советского уклада быстро увяла и Лавка писателей. Свобода печати и книготорговли лишила её привлекательности и власти привилегий. Те же книги отныне и наверху и внизу. И на улице. Выбор огромный, но...

Доступность, конечно, великое благо. Если не брать в расчёт, что настоящая книга теперь почти недоступна по цене, а доступной — грош цена... Однако не это стало для меня неожиданностью — я не раз побывал в «рыночных» странах. Поразило меня другое.

Я живу на Малой Грузинской возле «писательского» дома, где писателей почти не осталось. Между домами — три мусорных контейнера, в которые я попутно всегда заглядываю. Туда новые жильцы сбрасывают всякий хлам и... книги. Не только макулатуру, а и настоящий прежний «дефицит». Сборники Евтушенко, Вознесенского, Самойлова, Слуцкого, однотомник Бабеля, разрозненные тома Чехова, Герцена. И (к слову — из другой оперы) полное (коричневое) собрание сочинений Ленина.

Вот тут, у мусорного контейнера я «весомо, грубо, зримо» почувствовал, что прежний мир перевернулся. Вот этого я, выуживая книги из мешанины бутылок, коробок, тряпок, — книги, за которыми прежде гонялись и выстаивали очереди, этого и в дурном сне представить себе не мог.

Наклоняюсь в мусорный контейнер, чтобы в буквальном смысле — *достать* книгу...

ЗАСТОЛЬНИКИ

В ялтинском «Доме творчества» (в ту пору, когда он ещё был наш!) за одним столом оказались я, Лапин, Бабеньшева и некий крупногубый шахтёр. Каждый чем-то отличился. Лапин тем, что никогда не заказывал заранее, как мы все, из меню на следующие дни. Я спросил почему. Он ответил чистосердечно:

— Понимаете, если я закажу, а потом увижу, что вам принесли, мне вдруг захочется того же, и буду завидовать. Так лучше я сначала увижу, что вам принесут и выберу...

А Бабеньшеву я спросил, когда она уезжает. Она чуть ли не обиделась.

— Я не хочу этого знать!

— Как так? У вас же путёвка на срок...

— Никаких сроков. Захочу — уеду раньше. Или позже. Я не выношу ничего заранее установленного...

— Но вам же приходится заранее заказывать билет!

— Нет, я просто вышла в Перedelкинe на дорогу, проголосовала, машина довезла меня до аэропорта, там я купила билет...

А шахтёр однажды заискивающе обратился ко мне:

— Вы писатель?

— В некотором роде...

— Так помогите мне. Я хочу подруге послать звуковое письмо к Восьмому марта. Составьте мне, пожалуйста, красивый текст...

Я как можно вежливей отказался:

— Поймите, я же напишу по-своему, а вы должны сами, по-вашему...

Он слегка надулся и отошёл. На другой день после обеда пригласил меня в холл, где была радиола:

— Идёмте. Я уже записал, послушайте, что у меня получилось.

Он достал сиреневую виниловую пластинку, установил её, запустил. Зазвучал его баритон:

«Дорогая Маша! Горячо поздравляю тебя с международным женским днём Восьмого марта. Желаю тебе успеха в труде и в жизни. Послушай мою любимую песню... Твой Марат».

Дальше шла песня «Самое синее в мире Чёрное море моё!»



– Ну как? – спросил Марат, с надеждой заглядывая мне в глаза:

– Замечательно, – сказал я. – А вы сомневались...

– Но это ещё не всё! – засуетился он, прибодрённый и поставил на диск ещё одну пластинку:

«Дорогая Вика! Горячо поздравляю тебя с международным днём Восьмого марта! Желаю тебе успеха в труде и в жизни. Послушай мою любимую песню. Твой Марат».

И опять – «Самое синее в мире...»

... Всего оказалось шесть звуковых писем. Только имена разные. Мне пришлось их все прослушать.

– Смотрите, не перепутайте при рассылке! – попытался я пошутить.

– Что вы! Я никогда ничего не путаю! – ответил он серьёзно.

Он гордился собой и причмокивал губами...

ДОГАДАЙСЯ САМ

Как-то в ЦДЛ я присутствовал при сеансе одновременной игры Лилиенталья. Вдоль столов сидели любители шахмат, человек тридцать-сорок. Я выбрал одного, встал за его спиной. Он попал в сложное положение, сделал ход, с моей точки зрения наилучший. А Лилиенталь подошёл, прихрамывая, глянул на доску и последовал дальше, не сделав ответного хода. Мы были поражены, но не посмели его окликнуть. Решили подождать. Лилиенталь прошёл весь круг, наконец, приблизился к моему шахматисту, глянул и опять, не сделав хода, обратился к следующему партнеру.

Что такое? Мы уставились в доску, стали анализировать позицию – нет ли какой ошибки? – и через несколько минут вдруг поняли: форсированный мат в четыре хода! Шея моего шахматиста побагровела от обиды.

Лилиенталь поступил жестоко – мог бы сказать словечко...

С тех пор я неоднократно сталкивался с таким поведением. И при советской власти и при рыночной многие деятели обещают тебе нечто и... замолкают, если передумали или не получается. Словно ничего и не было. Изведёшься, пока догадаешься и поймёшь, что нечего больше надеяться. И становишься обидно вдвойне.

Так со мною поступали не раз. Да, но грешен, я и себя ловил на том же. Бывало, предпочитал тянуть, помалкивать, если автор меня не спрашивал (неприятно ведь отказывать человеку!), – как бы обманывал себя – вдруг с течением времени автор остынет к своему опусу или забудет... Конечно, это слабость характера, а не презрительное высокомерие, как в случае с Лилиенталем! Но «потерпевшему» от этого отнюдь не легче.

КТО АВТОР?

Когда я поступил в Литинститут, ходили легенды об Эмке Манделе, который уже был в ссылке. Говорили, что он, как Глазков, не ходил в баню (Глазков якобы говорил «и не мойся, потеряешь индивидуальность!»), якобы он писал поэму о Троцком и когда, наконец, пришёл к признанию Советской власти, его арестовали... Наряду со стихами о Сенатской площади кто-то мне процитировал:

*Корабль трещит, команда ропщет,
Ей не хватает сухарей,
Ей надо что-нибудь попроще,
Ей надо что-нибудь скорей!*

Через много лет, познакомившись с ним (он был уже Наум Коржавин, – к слову – умыкнувший мою кишинёвскую знакомую, жену Миши Хазина – Любовь Верную(!), – я похвастался, что с 1949 года помню его строки. Он удивился:

– Это не мои стихи!

Так и не знаю до сих пор – чьи они...

ШАЛЬНОЙ ФАКТ...

Глупо, как факт – говаривал Бальзак. Потрясающе, как факт – добавлю я.

Не раз возвращаюсь к мысли, что в жизни мы часто сталкиваемся со случайными сцеплениями событий. В науке доминируют причинно-следственные связи (железные законы физики, химии). Но нет термина для обозначения одноразовых, однократных, не обусловленных, совершенно непредсказуемых и неповторяемых следствий, которые происходят в жизни от общих или частных причин. Всякое событие имеет прямые (ожидаемые, познаваемые) последствия и одновременно – целый веер непредусмотренных, непознаваемых. Философские логические системы принципиально не учитывают того, что известно простому человеку: не было бы счастья, да несчастье помогло; нет худа без добра (а добра без худа?)... Так физика не учитывает мыслящую личность, предпочитая иметь дело с телами («тело, получившее ускорение...»).



Станислав Лем рассказывает в «Известиях», что во время войны он переехал из Львова в Краков: «Здесь я познакомился с будущей женой, которая тоже оказалась в Кракове из-за войны. У нас родился сын, теперь есть внучка. И можно сказать: да, война была ужасна, она уничтожила миллионы людей, но если бы не она, не было бы нашего брака, сына, внучки».

Благодаря Гитлеру, что ли?! Похоже на кошунство. Но...

Румынский писатель Иордан Кимет рассказал мне, что он должен был погибнуть 4 марта 1977 года. Он вечером того рокового дня отправился к своим давним друзьям – к поэтессе Веронике Порумбаку. Поднялся на седьмой этаж, позвонил. Вероника, чем-то смущённая, впустила его в прихожую, но не пригласила в столовую. Иордан слышал голоса, приглушённую музыку. Простояв в коридоре и обменявшись незначительными фразами, он, оскорблённый до глубины души, выкатился вон. Старые друзья, и вдруг такое! На улице его буквально трясло от гнева.

И тут затряслась и земля! Страшное бедствие обрушилось на Бухарест. Дом, где жила Вероника Порумбаку, рухнул. Землетрясение. И она, и её семья, и гости – все погибли. Иордан Кимет долго не мог прийти в себя от ужаса и... от мистической благодарности Веронике за спасение. Логика тут бессильна.

До случившегося – нечто непредсказуемое, после – необратимый факт.

Такие ситуации вне моральных оценок. Нельзя сказать, что Порумбаку поступила дурно, хотя обидела друга. Нельзя сказать, что спасла Кимета, хотя спасла. Тут не годятся ни да, ни нет. Приходится выбирать третий – многозначный одесский уклончивый ответ: «или» (в смысле: и да, и нет). Ответ левый и правый (по полушариям мозга). Слева – уверенный голос: у Порумбаку нет никакой заслуги в деле твоего спасения. Справа – столь же категорично: буду всю жизнь благодарно молиться за упокой её души.

Могла ли какая-нибудь гадалка сказать Лему: «Будет страшное несчастье, которое принесет вам счастье»? Каждый нострадамус специализируется на общих катаклизмах. Зато святые – на отдельных чудесах.

Крайности соприкасаются. Бессилие воли, ума и чувств перед судьбоносной случайностью рождает фаталиста, того, кто полагается на судьбу («от своей судьбы не уйдёшь»), не признавая никаких случайностей...

А что я думаю? И да, и нет...

ЗАГАДКИ ПАМЯТИ

Появилась в Литинституте пухленькая миловидная круглолицая девушка (то ли при библиотеке, то ли при какой-то кафедре), она мне сразу понравилась и я старался попадаться ей на глаза. Лицо белое, ясное, ангельское. Чистота и обещание нежности.

Потом в памяти пробел. Она возникает опять где-то возле Трубной площади, ждёт меня, мы идём переулками к ней домой, она меня знакомит с мамой. В маленькой тесной, но уютной комнате меня кормят обедом, особенно запомнилась крупная молодая картошка со сметаной и в масле. Вежливое доброе общение, потом – уже не пробел, а провал в памяти!

Больше ничего не помню, даже её имени. Как познакомился, почему раззнакомился? Прошло полстолетия, – ни с того, ни с сего её лицо возникло в памяти, воскресло и умильное чувство симпатии и... вкус молодой картошки. И всё.

МАЛЕНЬКИЕ МАЯКОВСКИЕ

Много писалось в послевоенные годы об обязательной традиции Маяковского (помню яростную книгу Семёна Трегуба на сей счет), маститыми продолжателями числились Асеев и Кирсанов, потом появился Георгий Горностаев с двумя поэмами, потом Николай Соколов с поэмой «Именем жизни» – оба искусно копировали интонацию Маяковского, о них спорили, о Н. Соколове восторженно писал В. Огнев. До сих пор помню строчки Горностаева из поэмы «Тула»: «Таращится из люка,/ как баран,/ старая злока/ Гудериан»... По иронии судьбы Горностаев был почти карлик, а Соколов – инвалид... Теперь они забыты. Настоящая востребованность ораторской интонации Маяковского возникла позже, когда «взошли иные имена» – Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, но и она, эта интонация, исчерпалась к началу «перестройки»...

Однажды в конце шестидесятых годов мне в Румынии дали сопровождающего. Марин был добрый, занудный, сентиментальный. К тому же поэт-неудачник. С ним я был на приёме у секретаря по иностранным делам Союза писателей Румынии – это была молодая стройная женщина в короткой юбке – назовем её Виолетта, специалист по западным литературам. Мы прекрасно побеседовали, пили кофе с коньяком. Марин, не участвуя, скромно помалкивал. Когда мы вышли, он вздохнул и вымолвил: – Это моя бывшая жена...

Я, конечно, удивился, уж больно они не соответствовали друг другу. Марин поведал мне свою печальную историю. Он был студентом университета в первые послевоенные годы. Румыния ещё была королевством. Марин писал стихи в духе Маяковского, воображал себя трибуном революции, собирал толпу на университетской площади и декламировал. Это были его звёздные часы. Первокурсница



Виолетта, заслушиваясь, влюбилась в него. Но коммунисты с нашей помощью быстро пришли к власти и в «революционности» не нуждались. Да и Виолетта бросила отставного поэта... С годами она обогнала его, сделала блестящую карьеру, а несостоявшийся румынский Маяковский, хоть и продолжал писать стихи, но больше про природу и рыбалку (он упивался рассказами о горной форели), женился на доброй тихой цыганской женщине с ребёнком. Про бывшую жену сказал, кривя улыбку:

– Умеет себя подать, всем нравится. Но я-то знаю – у неё внутри всё вырезано...

ВЫЗЫВАНИЕ ДУХОВ

Как-то Фрейд отметил: «Достоверной можно назвать лишь ту способность духов приспособляться к тому кругу людей, который их вызывает».

Независимо от Фрейда я пришёл к тому же выводу. Играли в «блюдце» (уговорила нас увлекающаяся и легковверная Гита Левинсон). Всё получалось и весьма убедительно. Блюдце бегало по кругу и осмысленно отвечало на вопросы.

Я решил устроить своеобразную проверку. Я встал из-за стола и предложил участникам без меня вызвать дух Тудора Аргези (расчёт был на то, что присутствующие не знают этого румынского классика и не могут подсознательно лепить его образ). И действительно – на вопрос, кто он, «Аргези» ответил «негр» и затем порол всякую чушь. Второй опыт: я предложил всем, задав вопрос известному им духу, честно закрыть глаза, я же со стороны буду наблюдать за действиями блюдца. Как и ожидалось, блюдце подёргалось и застыло. Вести блюдце, обманывать, конечно, не стоит труда, но я говорю о честной игре. В ней на самом деле подсознательно суммируются импульсы участников, желающих получить осмысленный ответ. И они его получают. При том талантливо вживаются в тот или иной образ. Я наблюдал за игрой сына и его одноклассников, они вызвали дух какого-то конквистадора (которого недавно проходили по истории в школе) и «он» стал разглагольствовать в духе воображаемой средневековой стилизации. Удивительно это коллективное сочинительство, непринуждённое соединение творческих способностей.

Фрейд удивительно примитивно понимает правду: «Я вспоминаю одного своего ребёнка, уже в раннем возрасте проявлявшего подчёркнутую деловитость. Когда дети рассказывали сказку, он подходил и спрашивал: «А это правда?» Услышав отрицательный ответ, он удалялся с презрительной миной. Следует ожидать, что люди в скором времени будут относиться подобным образом к религиозным сказкам».

Утверждают, что Ванга видела умерших. То ли байки, то ли свидетельство посмертного существования... Но есть и третий ответ: а, может быть, Ванга обладала способностью подключаться к пациенту, видеть то, что продолжало жить в его памяти? Так при верчении блюдца появляется и вещает тот Наполеон, образ которого «сидит» в участниках действия...

ДНЕВНИК ВЕНЦЕНОСЦА

Дневник Николая Второго – психологическая загадка. Или мыслей нет, или царь не считает нужным записывать свои размышления. Тогда к чему записи, если самое значительное, а порой судьбоносное – за кадром?

1905 год, 9 января. Царь пишет: «Тяжёлый день! В Петербурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!»

Заметим: «войска должны были стрелять» в рабочих, желавших дойти до Зимнего дворца, то есть до него, до Царя-батюшки! Значит, согласен с кровопролитием, хотя это ему больно и тяжело. Больно, да не слишком, ибо следом бесстрастно фиксирует: «Мама приехала к нам из города прямо к обеду. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. Мама осталась у нас на ночь». Опять же заметим, что «мама» приехала из Питера, где всё и произошло. Мама – всё-таки женщина. Неужели от неё никакой реакции?

Убийство Распутина никак не отражено в дневнике. Записывает всякую чепуху: «17 декабря вернулись с прогулки в архиерейский лес в полятого (какая скрупулёзная точность!), а 18-ого – в полчетвёртого поехали вдвоём в поезд... день был солнечный при 17° мороза, в вагоне всё время читал...»

Что читал? И всё время? А как же Распутин? Только 21-ого царь записывает: «присутствовали при грустной картине: гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17-е дек. извергами в доме Ф. Юсупова, кот. стоял уже опущенным в могилу».

До и после этой фразы – опять почасовые подробности.

Наконец, 2 марта 1917 года. Отречение. «...вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот. я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена, трусость и обман!»

Опять ему тяжело. И только. Неужели не понимает, что нельзя было передавать корону Михаилу, не спросив последнего? Ведь если тот откажется, то судьба России становится непредсказуемой! Скорей всего не понимает, не задумывается, потому что за этим следует удивительная запись: «3 марта, пятница. Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный».



Фантастика. На вопрос – что делал Николай Романов после отречения – я никогда бы не додумался ответить: «спал долго и крепко».

Днём узнаёт – «Оказывается, Миша отрётся». Оказывается! То есть такого не предполагал? Однако и тут Николай Александрович не понимает, что произошло, не понимает, что во время войны рухнула империя, конец монархии. Он спешит себя успокоить: «В Петрограде беспорядки прекратились – лишь бы так продолжалось дальше».

Человек – это стиль. Неужели убогость этих записей соответствует масштабу данной личности, стоявшей во главе такой страны двадцать три года?

И в заключение октябрьский переворот, взятие власти большевиками, по сути – революция. Вот как эти дни отразились в дневнике недавнего царя:

«25-ого октября. Среда. Тоже отличный день с ясным морозом. Утром показывали Кострицкому все наши комнаты. Днём пилил.

26-ое октября. Четверг. От 10 до 11 час. утра сидел у Кострицкого. Вечером простился с ним. Он уезжает в Крым. День простоял чудный, на солнце 11 С°. Долго пилил.

27-ого октября. Пятница. Великолепный солнечный день...»

И т.п.

Комментарии излишни.

НАШИ ПОЭТЫ О НАШЕМ ВЕКЕ

Написанные в начале столетия стихи Блока о девятнадцатом веке («Железный, воистину жестокий»), довольно быстро побледнели. Он и сам тут же присовокупил, что двадцатый будет похлеще... И действительно о новом веке – о небывалом, обрушившемся особенно на Россию, в 1922 году Мандельштам воскликнул «Век мой, зверь мой...», а лет через семь Багрицкий пытался осмыслить век, который «поджидает на мостовой,/ Сосредоточен, как часовой». Век, который приказывает и солгать и убить.

Вскоре в ужасе Мандельштам физически почувствует, что ему на плечи «кидается век-волкодав», и – полагает он – по трагическому недоразумению, потому что поэт – не волк. Но ошибка-то страшней: сам так называемый революционный век – не волкодав, а именно «зверь», как догадался в свою пору сам Мандельштам. И совсем не по ошибке век (советский), как волк, кидался на человека!

Особый разговор – о «Середине века» Луговского. Здесь отмечу только поразительные строки из «Алайского рынка» (Ташкент, 1942-43 гг.), при жизни не опубликованные:

*Так ненавидеть, как пришлось поэту,
Я не советую читателям прискорбным.
Что мне сказать? Я только холод века.
А ложь – моё седое остриё.*

(В «Разговоре с дьяволом...» Луговской сначала вкладывал похожие слова в его уста: «Я – только холод будущего века»). В более поздних фрагментах из поэмы «Москва» поэт уже в отчаянии сокрушался: «Что делать мне, плохому сыну века?»

Опять же – с точностью до наоборот. Не сын был плох, а век.

ПОКЛОННИК ЕСЕНИНА

Год, наверное, пятидесятый. Едем мы с Федей Суховым на электричке в Москву. Федя выглядит неважно, весь помятый, небритый, не выспавшийся после вчерашнего возлияния. Напротив сидит упитанный мужчина с кожаным портфелем на коленях. Ему скучно, он затевает с нами беседу о том, о сём. Федя, подслеповато щурясь, вяло поддакивает. По окнам вагона хлещет косой осенний дождь.

«Плюйся, ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган!» – вдруг произносит наш сосед. «Это кто написал?» – оживляется Федя. «Есенин написал. Серёжа». «Интересно. Из теперешних?» – подначивает его Федя, настоящий есенинец, знающий поэта от корки до корки. Я тоже по этой части не льком шит, но помалкиваю, предвкушая забавный розыгрыш. Сосед, откладывает портфель, всплескивает руками, чрезвычайно довольный, что напал на олухов, которых можно просветить:

– Есенин? Куда теперешним! Талантище! Но горький пьяница, молодым повесился ещё до войны, его не печатают. Вот это был поэт, ребята! – и он начинает припоминать стихи, пугается, Федя, притворно восхищаясь, раз-другой тихо поправляет его, тип с портфелем поначалу не замечает, заливаясь, как тетерев на току. Но когда в очередной раз, запнувшись, он получил подсказку, то замолчал, выгаращив глаза. Федя не удержался, хихикнул. Сосед обиженно схватил свой портфель и торопливо потопал в другой вагон...

О ЛЕОНИДЕ ГУБАНОВЕ

Каким-то образом он прошёл мимо меня, хотя мой знакомый Славка Стерин побывал смогистом. Но, вернувшись в Москву после кишинёвской «пятилетки», Славку я потерял из виду, потому доходили до меня только слухи – есть такой Губанов, забулдыга, талантливый поэт, кумир московской богемы. Настоящую силу набирали тогда Евтушенко, Вознесенский. Губанов был из следующего поколения, уже не находящего себе места... Да и потом, после гибели Губанова, я остался с впечатлением, что Губанов – ярко одарённый, но по-настоящему не реализовавшийся поэт. Дело не в том, что его всю жизнь не печатали. Не печатали многих. Например, Веньямина Блаженного. А он состоялся в полную меру своих сил (другое отношение к себе и к своему призванию!).

Сегодня прочитал большую статью Владимира Бондаренко о Губанове, об увесистой наконец-то вышедшей книге поэта. В целом хорошая статья. Действительно – горячий был талант, порой обжигающий, но зря критик пробует его противопоставить Окуджаве или Бродскому. Дескать, «Воинствующая просьба» Губанова «первичнее и оригинальнее» популярной песни Окуджавы «Дай же ты всем понемногу...» Увы, далеко не так, достаточно прочитать начало:

*Дай монаху день мохнатый,
Удочку, земли богатой,
Ласточку и апокалипсис,
Думку вербы – и пока я с ним...*

Ну а что до Бродского, то главное в нём – открытие новой интонации, собственного стиля. В отличие от Губанова, который откровенно и пронзительно эклектичен (он маяковчато-есенинский)... Возвращение поэзии Бродского мощно (плодотворно и губительно!) повлияло на развитие русской поэзии, возвращение Губанова (глубоко справедливое, достойное) вряд ли на кого повлияет...

О ГУРДЖИЕВЕ

Читаю книгу Гурджиева, неизвестно кем и как составленную. Удивительная смесь смекалистого и талантливого самородка с пустозвоном. То плетёт «многозначительные» банальности, то выдает интереснейшие наблюдения и догадки. Простодушно признаётся, как дурачил людей в своей авантюрной молодости и как нажил состояние и тут же делает вид, что обладает тайным знанием. Недаром он пересказывает слова одного «учёного», который выпустил, говоря по-нынешнему, эзотерический бестселлер: «Я удивлен абсурдностью происходящего. Я, автор, не имею ясного представления о природе предмета, которому я учу. Все же эти идиоты нашли не только своё понимание этой белиберды, но даже чему-то из неё научились, а сейчас какой-то суперидиот научился даже летать. Все это, конечно, чепуха. Пусть идёт к черту... Скоро на него наденут смирительную рубашку».

Не так это смешно, как может показаться. Всё это происходит между двумя полюсами: верой и «энергией заблуждения».

По одним сведениям Гурджиев, умирая, обратился к окружающим со следующими словами: «Ну и вяпались же вы!», по другим: «Я оставляю вас в хорошеньком хаосе!» Фокусы перевода?

Книга Игоря Минутко о Гурджиеве явно беллетризована. Но действительно – встречался ли Гурджиев с Джугашвили? Мария Арбатова пишет: «...судьбу Сталина определил его однокурсник по семинарии Гурджиев. Он составил его практический гороскоп – поменял дату рождения на год и предложил псевдоним». Непонятно – при чём тут гороскоп, однако и в самом деле установлено, что Иосиф Джугашвили родился 19 декабря 1878 года, а не 21 декабря 1979-го. Зачем ему понадобился этот сдвиг?

РОМАН КОЖУХАРОВ

КАМНИ

Глава из романа «Господь In Президент»

Candidatus (лат.) – одетый в белое.

*Носи меня, Молдавия, на счастье. Гуляй всласть, гайдуцкая власть!
Господарь Подкова*

I.

И сейчас, когда история перетоптана в точиле событий и перелита в бочкотару единого целого, не проходит и минуты, чтобы я не подумал о начале её и конце. О Днестровском монстре, долгие годы множившем жертвы, и о том, кто его сокрушил. Ведь множитель сам стал жертвой, и в этом кроется тайна, столь же неизъяснимая, как мглисто-зелёные струи потока седого речного сознания. Эта связь – переплетение чуда-юда и юдовержца – вбирает суло моей истории в тиски, сдавливая её с двух сторон крышками чугунного переплёта, намертво пригвозждая к корешку вечности.

И поскольку время-то вышло, я с трепетом думаю: вдруг эти ежеминутные размышления – мой мельничный жёрнов, надетый на шею? Ведь минут-то никаких уже нет, и, значит, мне суждено будет вечно барахтаться в мглисто-зелёном омуте и влечься всё глубже в пучину чернеющей тайны. Но тут я себя успокаиваю: да, может быть, это мой камень, но тот, который просится в гору. Ведь и кресты бывают из камня. А восьмиконечному скатиться в долину не так и легко. Может быть, он и останется на вершине, как таинственный крест Старого Орхя, что возник на голой скале ещё до первой страстной седмицы и рос потом сталактитом всю эру рыб, в год – по еле заметной каменной капле. А, может быть, сталагмитом. . . Верх и низ – всё время я путаю. . . Впрочем, здесь и неважно. Теперь, когда рыбы ушли, и водолей разлил свою влагу безвременья, это уже не имеет значения.

Да, может быть, это мой каменный крест. Может быть, великое *быть может*. . . Сомнения – это корм, которым питаются пираньи страха. Но ведь рыбы ушли. Ихтиология от истока неразрывными узлами сочелась с эсхатологией. Любимый ученик и творец конца света непременно б сие подтвердил. Знал ли он, что, начиная историю, именно он должен будет её и закончить? А ведь и его недвусмысленно вынудили, приказали: «Напиши!». И неизвестно ещё, о каких мерах принуждения умолчали. Возьмут меч и грудную клетку тебе вскроют. Отверзнут, будто консервную банку. Тут все средства хороши, лишь бы заговорил. А потом поди разбери в протокольных каракулях, геройски пророчилось тут или трусливо стучалось. Грань тонкая, и не различить, особенно из бездонного омота веков. Так что лейтенант по сравнению с ними – сущий ангел. Ха-ха! Насмешил сам себя. А *они-то* кто такие? Они-то и есть. . . Тянут ляжку. Небесное воинство, со всеми вытекающими. С бригадным генералом-архистратигом, строжайшей иерархией и чисто армейской субординацией. Интересно, как по-арамейски «Никак нет!»? Или «Не могу знать!»? Неужто и у них дедовщина, второй устав, построения после отбоя? Серафимы напрягают *власти*, или, там, *силы*, заставляют стирать виссоновые портянки, до блеска натирать золотые бляхи. Ха-ха! Выходит, и в самоволку ходят. Точнее, летают. *Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы. . .* Отсюда и рабское подчинение. Дисциплина – это душа армии. Принял присягу и, значит, себе не принадлежишь, самоотверженно переносишь тяготы и лишения армейской жизни, исполняя приказы командиров, не жалея живота и папороток, вершишь горную волю во имя высшей цели – защиты родных рубежей. И, однако же, – с такой фамилией! Даже переспросил. Думал – издевается. Лейтенант Евангилиди.

«Напиши. . .» – говорил-уговаривал. «Всё, как было. Ничего, – срывался на крик, – не утаивай! Ибо всё тайное становится явным».

А в начале всё спрашивал: «И стоило огород городить?». И всё как бы с намёком и, даже, с участием, якобы, как посвящённый – посвящённому. А сам всё по ребрам, по почкам носком своего форменного



ботинка. Гнусный ботинок. Как ни уворачивайся, всё равно допытывает на прочность и сердце, и внутренности.

Огород городить... Час прошёл, а ответа он так и не услышал. Червоное золото его лейтенантских звёзд и вставных зубов растворилось в пунцовых соплях и поваренной соли кровавого пота. «Напиши!» – трубил. «Напиши! – вопил, возводя к нестерпимому визгу. – Ничего не угаивай! Яви своим потаённым мыслям явку с повинной!». «В молчанку играем и пускаем розовые пузыри?! Вынуть трепетные зубы?! Пжалста! Теперь самое время пророчествовать! Чего ржёшь, скотина? Ещё не время?! Ну?! Явки, пароли, маршруты следования?!»

Рёбра и почки чутко ловили малейшие перемены в методологии гнусных ботинок. С носка, «щёчкой», пыром, опять с носка... Солнечное сплетение – как сетка ворот аутсайдера. С игры и со «стандартов». Растёкшийся юшкой мяч поставлен на точку. Костяная нога примеривается и мерно отходит, потом разбегается!..

II.

Ого. Как у Гоголя. Как у Леннона. Два блюда и посередине – Л-эпентетикум. Оле-оле, оло-оло, Ормо. Как на сайте cube-arte. Леннон и Че: один в своих очках, второй в своём берегу. И оба – в кислотных тонах. Imagine. Дословно – «воОбрази». Опять о-о-о! Имидж – ничто. Человек – это будущее человека. Че – Че. Энтелехия человека. Энтот летёха! Che ti dice la Patria!¹ Хотя де ла Серна очков не носил. Берет дон Кихота с пиратскими саблями. От беспечного мотоциклиста – к боливийской голгофе Ла-Игуэрры. «Беденький Че, помоги отыскать мне корову...» Омо, оро... Ормо. Сукин сын. А ведь мотоцикл – те же очки. Два колеса, V-образный двигатель – Л-эпентетикум. У Гоголя, правда, на носу, а у майора это пустое место. Рим – мёртвая бабушка. Амор. Дристан и Изольда. «Днестровские зори». Неужто замыслил эту хвостатую чудо-юду поиметь? Ай да!.. Вот образина! Рыболожец!.. Из пучин – на водное ложе. Оло, оло! Кажется, в «Дневнике мотоциклиста» описано, как индейцы вступали с сомом в половую связь. Тогда сыны касика узрели дочерей сома, что они красивые. И пошёл род водяных и русалок. Поплыл... Горное озеро. Мглисто-зелёные воды. «Беденький Ормо...» Нечего огород городить! Огород – дорого! На Днестре не стреляют. Днесь – стрелы. Мглисто-зелёные воды. Л-эпентетикум. АПЛ «Курск». Спасите наши души!.. Тук-тук... «Спасайся, кто может!». Тот монах говорил, когда мы с Таисьей в Старом Орхее... Или, может, молчал? Безмолвствовал. Крест растёт, и на нём цветёт солнце. Реут – дряхлый уж. Греется на камнях. А Днестр – балаур, питон, анаконда – шелестит своей глянцевою кожей от каменной Грушки до Незавертайловки. А потом – край света, низвержение в Милуешты. Проглотит и не подавится. Ам!.. Троглодит. Тук-тук... Бу ам... Во чреве атомного левиафана. Общаемся с семьями моряков. *Верным курсом идём, товарищи.* Погодите три дня... Направление – очень важно. Восходить. Вверх по реке. Против течения. Полна чаша – слободзёйская житница, Днестровск – город энергетиков. Город-спутник. Энергия – осуществление. Незавертайловка – капля на обложке чаши. Чужие здесь не ходят.

Чтобы взойти, в начале надо спуститься. Восмиконечному не так-то легко. Три ступеньки – пролёт, три ступеньки – пролёт. Под сенью хохотушек-резвухек. От Каменки – вниз, через Рыб, мимо дуба Бульбы – ого Гоголя, люлька моя... – к Дубоссарской стене, плачет Л-эпентетикум – армянский дудук, опрокинутый Арарат в потёмках светлейшего князя Григория, молохом мелет, прямо по курсу идёт пароход. Хлоп-хлоп, грёб-грёб. Тея, Спея, Токмазея, Красногорка и Бычок... Колесо фортуны солнечной плациндой катится по сточному жёлобу мглисто-зелёного змея. Катится, пока не прикатится под прохладный покров омофора. И тогда уже всё в новом свете: New Нямец, и путаются исихазм с хилиазмом. Ведро упитъся вина из ведра, душ для души. Мы их душили-душили... Верным курсом. Апэ, апэ²... Чашу воды. Время вышло. Истекло... Чашу за час. Модный зачёс. Товарищ лейтенант. Лейте, лейте еще, энтотлетёха. Осуществимся по руслу, от истока до устья. Страшная месть, что-то в ней есть. Л-эпентетикум на конце. Только гречески. Огород городить, огород – дорого, город дорог, ноль – л'он. Средиземноморский лён с примесью египетского шёлка, с вкраплениями билирубина и флавоноидов. Хилиазм, весь в льняных полотенцах, тканых в ёлочку, является в тишине исихазма. День тишины, да-да, день тишины перед выбором. В лоб тебе, лопни твоя душа. Полис, страхование от увечий. Терзайся полегче, террорист хренов. Плечист, гонорист, истово в тире стреляй. На дне полежи. Для пользы дела. Скормим рыбе тело. А потом приходи гулять по мглисто-зелёной, вдвоём. Через весь водоём – и что из того? Энтот летёха – тшедушный малёха. Вотще рвалась душа моя. Тук-тук... Каменный мешок. «... Верным курсом». Отче, Отче... Если только можно, принесите мне чашу. Поднимите мне тело. Ого, лестницу давай, лестницу-чудесницу! «Чудесница» – чудное кафе, а в засаде – пивная «Арго». Аргонавты по фене ботают, как доктор по латыни, на рыбьем базаре чирикают. Чудище проглотило Орфея. Иону сбросили в пасть. Троглодит. Оно его ядит, а он на него глядит. Тело съело, а голова – как из олова. Оло, оло, поплыло. В воде не тонет. Вниз, по сточному жёлобу мглисто-зелёного. Лаур-балаур, питоном вьётся – не даётся, а Орфей-неофит плывёт и – говорит. Менады – не надо. Флавоноиды. Сначала надо спуститься. Мне бы во ад. Куда тебе надо, гад? Да ты у

¹ Что ты сделаешь для Родины? (*итал.*)

² Апэ (*молд.*) – вода.



меня будешь ползать в своём же говне, ходить под себя... по сточному желобу. По лбу, по лбу... Энтотлетёха... Отвечай, где затаили золотое руно? В рунете ищите, ору. Я его там нашёл. Всё дело в руно. Затаили. А Тая при чём? Вот гад ползучий ход морских. Ищите в иле. Или-или. Если только можно, Авва, не кричи. Хоть шерсти клок, Ионаш — агнцем скок, чобэнаш, да не ваш, за мной — Карагаш. Окороти пыл, я в Коротное приплыл, не меси — не глина, в Глином смерть длинная, на шею обруч, ричи бедный, чёрно-белые Чобручи. Чингачгук — большой змей. Лаур-балаур. Рыболов — оло-оло — на мглисто-зелёное ложе. Поймай Иляну-косынзяну за косу и волокни в пойму. А нет косы, не сцы, как жар-птицу — за хвост. Хвост — тот же «Норд-ост». Верным курском идём, товарищи... Террорист неказист. Полный Екклезиаст! Отгадай разгадку: балаур повстречал змеёньша? Ага, энтотлетёха! Старуха Изенгард! Страховой полис. Ого, образина! Страхолюдина. Каменный мешок, по полу — ледок. Коврик бы, на маленьком плоту. Газетку постелил. Днестр и Турунчук! Энтотлетёха... Людей есть, всех окрест. Слободзея, слобода, зреет запорожская беда. Пчёлы жалили — сжальтесь над Франей. Ты казала у субботу: у дуба Бульбы, Эх, гульба! А бусурманы отвезли Бульбу в Стамбул и сбросили с башни на крюк. У самого Чёрного моря. Насадил оселедец, как живца. Ловись, сом, большой и маленький! Он сом, она самка. Карош, наташка! А Тая при чём? Смуглянка-молдованка, илянка-гаитянка. Столбовая дворянка пуще прежнего борзее: «Хочу быть владычицей морскою!» И закинул старик спиннинг...

III.

Газета лежала на столе лейтенанта, как раз к нему заголовками и передовицами. Как бы небрежно брошена. Но видно, что специально выложил и развернул. Это, значит, на живца ловит. Ну, и поймал. Тащи, тащи свою леску, вываживай. Сам нырну в подсак, без малейшего сопротивления. Только бы разрешил...

— Что, интересуетесь... местной периодикой? — с ухмылочкой говорит и сигаретку закуривает.

Дразнится, гад, подчёркнуто вежливо. На утреннем ещё допросе «тыкал» всю — и местоимением, и ботинками с кулачищами. А тут вдруг нате вам. Это значит, плохой и хороший следователь в одном флаконе. Вот как жирная типографская краска на газетной бумаге. Янь и Инь, добро и зло, Ормо и чудо-юдо...

Газетка известная. Рупор столичной жизни. Чёрным — по белому: «Днестровская правда». Ниже — заголовок, мощным, лоснящимся типографской краской, кеглем выдавливающий «правду» из периметра полосы:

СРОЧНО В НОМЕР: ДНЕСТРОВСКИЙ МОНСТР МНОЖИТ ЖЕРТВЫ

Кровавое злодеяние омрачило светлый праздник выпускных балов. Ужасная трагедия произошла сегодня на заре в водах седого Днестра возле столичной набережной. Несколько ребят из числа выпускников, взволнованные и, потому, разгорячённые праздником, решили немного освежиться и, раздевшись, вошли в реку неподалёку от берега, возле городского пешеходного моста. Внезапно, в месте купания подростков разверзлась огромная воронка, которая в считанные мгновения поглотила несчастных. Прохладные днестровские воды в ту же секунду обагрились, но не свет восходящего солнца явился тому причиной.

Свидетели утверждают, что видели в пучине ужасающую, окровавленную пасть громадного чудовища. Именно в ней безвозвратно канули несчастные, только-только ступившие на порог взрослой жизни. Такая же участь постигла и нескольких смельчаков-добровольцев, бросившихся на помощь тонущим. Очевидцами происшествия стали многочисленные нарядно одетые родители и выпускники, которые в момент трагедии находились на набережной, чтобы по доброй традиции всем вместе встретить восход светила.

Район набережной до сих пор оцеплен правоохранительными органами, однако, нашему корреспонденту удалось побеседовать с некоторыми из участников этих ужасных событий. Они находятся в состоянии шока. С ними работают психологи и следователи. Представители правоохранительных органов пока не дают комментарии случившемуся, однако, нашему корреспонденту удалось выяснить ряд важных подробностей. В частности, до сих пор официально не объявлено количество жертв, однако, как выяснил наш корреспондент, в воде в момент трагедии находились от трёх до пяти выпускников. Кроме того, наш корреспондент располагает полученными из первых уст данными о том, что среди жертв монстра находились и медальисты! Так же, несмотря на препятствия, чинимые блюстителями правопорядка, нашему корреспонденту удалось выяснить, что информация о седых детях оказалась досужим вымыслом. Почвой для столь сомнительных выдумок стал тот факт, что один из выпускников является от рождения альбиносом. По этическим соображениям наш корреспондент не сообщает фамилию выпускника и номер школы, которую тот закончил. «Днестровская правда» спрашивает: кому выгодно раздувать слухи о случившемся и сеять панику накануне важнейшего события в жизни государства — выборов Президента нашей непризнанной, но непокорённой республики?

Пользуясь случаем, хочется напомнить, что специальным распоряжением главы госадминистрации, выпущенным накануне и опубликованным на страницах «Днестровской правды», участникам вы-

пускных балов было категорически рекомендовано воздержаться от встречи восхода солнца на набережной, вследствие сильного паводка и подтопления всей приречной городской черты, а также в свете инсинуаций вокруг пресловутого Днестровского Монстра. С горечью остаётся констатировать, что худшие опасения подтвердились.

А ведь беды можно было избежать, прислушайся учителя, родители и дети к голосу столичных властей – к голосу здравого ума и истины, рупором которого является наша газета. Правоохранительные органы не исключают возможности того, что данное происшествие является тщательно спланированной провокацией одного или даже группы глубоко законспирированных террористов, которые стремятся во что бы то ни стало посеять панику и страх в сердца и души приднестровцев, и сделать всё, чтобы сорвать приближающийся праздник торжества народного волеизъявления.

IV.

Жизнь моя – сплошная метафизика. Появился на свет в Парадизовске, в 1992 году, в непризнанном государстве. На мой глупый вопрос: «В какой стране я родился?», мама сухо отвечала: «Когда Союза уже не стало». Так, с малых лет, зафиксировалось у меня ощущение отсутствия как данности, зияния на том самом месте, где должно быть сияние. Или в то самое время. Эта странная нестыковка моего «где» и мамино «когда» до сих пор меня мучает. В каком смысле? В онтологическом.

На девятом месяце беременности мною мать, схватив моего старшего брата за руку, бежала через Бендерский мост, под обстрелом пулеметов опоновских БЭТЭЭРов. Они били в четыре ствола с набережной, там, где к мосту устремлялась улица Ленина... Да-да, именно там, где горит сейчас Вечный огонь. Наш бендерский дом на улице Ленина сгорел в тот самый день, когда я во весь голос заявил о себе в Парадизовском роддоме. Потом, годы спустя, брат показал мне это место. Теперь там мини-маркет.

В Парадизовске я закончил школу, в прошлом году – физмат в нашем универе. И мой аттестат, и диплом о высшем образовании отпечатаны на бумаге с водяными знаками и заверены мокрыми печатями, но они не признаются ни одним государством – членом ООН. То же касается и моего паспорта. А не мне вам объяснять, чем это чревато, в контексте международного права. ООН, понимаете ли... Это всё равно, что ты звонишь, кому угодно, а у них – у кого угодно – телефон с АОНом. И этот гадский АОН ни за что не хочет тебя определять, и, как следствие, ни одна падла – кто угодно – не желает с тобой разговаривать. Прямо как *полковнику никто не пишет*; только на новом витке информационных технологий.

О, вы в звании подполковника!? Надеюсь, слуду я не накаркал ничего личного? Сто лет до приказа... Это, знаете ли, делает честь... Лучший способ сказать – это сделать. Любимая цитата председателя нашего товарищества. Так, знаете ли, народнее выходит. Мысль народная – крайне важна. Надеюсь, картина иррационального моего бытия обрисована достаточно внятно? О каком рацио может идти речь, если моя жизнь *иль ты приснилась мне*, во чреве ещё, в зародыше была метафизикой?

V.

Де-Факто и де-Юре... Два самовластных аристократишки, неведомо как возымевшие деспотическую сласть над всеми иными-прочими. Узкая полоса приднестровского чернозёма оказалась предметом остервенелой тяжбы этих принцев крови, эдаких «Де» – французиков из Бордо, спорным пограничем их феодальных доменов, фонящих продувными геополитическими и магнитными полями. Это к вопросу о роли в истории аристократов крови и духа и прочих кабальеро. Вот, к примеру, де ла Серна, он же – де Че. *Де Че?*¹ Che ti diche la Patria? Попробуй, ответь на вопросец, когда он ребром, да, к тому же – адамовым. Отсюда весь этот гравитационный хаос, аномалии и чудеса в решетке, перехлёсты рафинированнейшего личного спасения и пещерного анимализма. Да-да, каким странным это вам не покажется, но истоки произошедшего я усматриваю именно в этом перекрестье.

Некая прореха в реальности, люк без крышки на неосвящённой проезжей части, разлом, окно, дверь, прорубь, колодец, лаз, скважина, пробоина в бытии, соединяющая звёздное вещество и темную материю, сей мир и трансцендентальный, если хотите, – потусторонний. Почему же нельзя допустить, что в эту щель, сифонящую из небытия сквозняками, надуло к нам и какое-нибудь хтоническое безобразие, навроде Днестровского Монстра?

Вы вот смеётесь, а уверенности-то в голосе нет! И потому я настаиваю: оба слова с заглавной буквы. Да, и в протокол прошу внести именно так. Нет, нет, не нагнетаю. Элементарный респект. Уважение. Такова установка председателя нашего товарищества. Он формулировал это коротко: ос. Вы абсолютно правы, именно в духе восточных единоборств. Впрочем, стороны света не имеют здесь никакого значения. И рыба не только не исключение, а наоборот. Помните, старик и море? Прежде чем убить рыбу, надо испытать к ней уважение и даже её полюбить... Нет, вы не так поняли, никаких извращений, никакого иктиологства. Сугубо в платоническом смысле, в свете выше изложенного тезиса о метафизике. О, спасибо за комплимент, гражданин начальник. Что-что, это не комплимент, а правда?

Где-то я эту фразу слышал. По-моему, в старом советском фильме про фашистов и партизан-

¹ Де че? (молд.) – зачем?



подпольщиков. «Днестровская правда»? Нет, нисколечко я не юлю. Просто пытаюсь рассказывать, действительно, *с самого начала*. Всю последнюю неделю только этим и занимаюсь. В смысле? Отыскиваю его. Вот лейтенант Евангелиди на мои искренние попытки дойти до истока реагировал крайне нервно. Ах, вы в курсе, ознакомились с протоколом допроса и даже внимательно его изучили... Что? Поток сознания, достойный автора «Улисса»? О, вы мне льстите, гражданин начальник. Приобщённость к Улиссу делает вам честь, гражданин начальник.

О нет, поверьте, никакой приобщённости к прилатнённой казёнщине в этом обращении нет и в помине. Ведь вы тоже гражданин нашего государства – маленького, но не покорённого, не определённого в границах миров материального и метафизического. Даже приятно, знаете ли... Сопричастность общей метафизике. Как будто мы с вами набраны в команду одного корабля – скорлупки-судёнышка, которое – всем ураганам в лицо – прокладывает себе курс в штормовом океане юридически признанного мирового сообщества. Что вы говорите?... Управление по ограждению конституции? Я же не знал... это знаете ли... Есть в этом *ограждении* нечто гражданственное... Наполняет некоей значимостью, налагает ответственность. Ведь это всё равно, что... перед лицом... ну, не капитана, но, как минимум, штурмана, или боцмана... не вполне силён в судоходной иерархии.

Нет, нет, что вы, упаси меня Бог, нисколечко я не лукавлю. Мы-то сплавлялись на утлых плотах. Иерархия «Огорода»? Ну, нет, это уж совсем глупость. В товариществе садоводов и виноградарей «Огород» всякая иерархия отсутствовала. Наличествовал председатель, согласно устава. Да, да, Ормо. Нет, фамилии не знаю. А может, это фамилия и была. Почему «была»? Не знаю, оговорка, формула речи. Есть, конечно, есть. Как «нет»? Никакой он не *Ормо*? Так-то вот: вроде знаешь человека, общаешься с ним, а потом вдруг – бац! Выясняется, что и нет его в помине. Позвольте, это всё равно, что у скорлупки-судёнышка обнаружить бездонный трюм. Подпольная кличка? Что вы говорите? *Метафизика*? Ха-ха, вот уж, действительно, куда без неё.

Милуешты?... Нет, гражданин начальник, не знаю ничего. А что, есть такое село? На самом бушпри-те нашего приднестровского парусника? Смотря, что считать кормой. И вы не лишены словесного изыщества. Bravo, bravo, цену. Да не лукавлю я вовсе, прости меня Господи. Я же сказал: юрфак. А в географии сызмальства был не силён. Как *неправда*? Не «Днестровская»? «Пятёрка» и в школе, и в вузе? А откуда вам?... Bravo, bravo, невооружённым взглядом видно могущество возглавляемого вами ограждающего управления. Защита конституции непризнанного государства – это всё же не шутки. Так сказать, трансценденция в кубе. У нас вот была в Парадизовске площадь Конституции, так теперь не стало. Исчезла, как разматериализованное тело. Нет, я же сказал: филфак. Никакого истфака и в помине. Впрочем, какая разница, если эти мокрые печати не признаются ни в одном, ни в тридевятом?... Правовая риторика? Рецидивы вирусов, коих я набрался, подвизаясь в предвыборном штабе Пересветова. Ни о каком предательстве не может быть и речи. В штабе я исполнял функции системотехника, что ни коим образом не подразумевало мою душевную преданность данной персоне. Ни голосом, ни словом – это я вам голословно заявляю. То есть, словом и голосом. Впрочем, возможно, подразумевало. Признаю. Но ведь и Савл обратился в Павла. А тут, в метафизическом плане, сами понимаете, и не такие метаморфозы возможны. Простите, вот, как примеру, ваша подвешенность? Нет, нет, в прямом. В воздухе, в позе лотоса. Ах, левитация! Помогает циркуляции мысли? Понимаю, вернее, силось осмыслить всеми фибрами своей ограниченной, приземлённой природы. Знающие рекомендуют с данным цветком быть осторожнее, а то ненароком откусишь лепесток и начнутся преобразования. Вроде даже как из патриота в манкурта можно оборотиться. Там уже не то что статьи конституции, а маму родную забудешь...

Основной же закон подразумевает основу фундаментальную, так сказать, базис, а поскольку в нашем иррациональном хронотопе всё перевернуто с ног на голову, сей фундамент, соответственно, и оказывается наверху, что впрочем, нисколечко не принижает его главенствующей роли. Наоборот, возвышает и подчёркивает, сообразно материальнейшим границам твёрдого тела. Так что данная левитация в позе лотоса весьма вам к лицу и по должности. Образ, можно сказать, красноречиво давлееет.

Да, да, именно образ... Ах, вы по поводу *нашего* Кандидата!.. Тут, как раз, наоборот, – никакой метафизикой и не пахло. На фоне нашего Кандидата реальнейший, на первый взгляд, Пересветов выглядит, простите, как тень отца Гамлета. Пояснить? Извольте: в силу своей тварной, сиюминутно-преходящей сути в противовес неизбывно-нетленному образу нашего кандидата. Да видит меня Кандидат, никого оскорбить и в мыслях не было. Тварный в смысле... ну, хотя бы собора всей твари... Да не СОБРа, а собора... И, опять же, в полном соответствии с нормами международного права. А что может быть рациональнее, физически осязатее сих норм, хочу вас спросить?

На каком основании? Да на основании того незбылемого постулата главы первой – Бытийной – основного закона, согласно которому, «сотворил *наш Кандидат* человека по образу Своему, по образу *Кандидатскому* сотворил его» (заглавные буквы прошу занести в протокол). Избирательному кодексу? Не противоречит, ни коим образом, особенно в части пассивного избирательного права. Более того, по итогам разбирательства, инициированного конкурентами нашего Кандидата, было вынесено судебное решение.

В свете поступательной гармонизации нашего законодательства с юридическим полем Российской Федерации, полноправно глобализированном в домен Де-Юре, а также, что не менее значимо, в

соответствии с избирательным кодексом Приречья, наш Кандидат имеет неоспоримое право баллотироваться в президенты. Сей непоругаемый факт был блестяще доказан в переполненном зале городского суда Парадизовска, адвокатом нашего Кандидата, знаменитым московским защитником Генрихом... Ах, вы в курсе? Пардон, мог ли я предположить обратное...

Доказательная база на процессе мастерски строилась на множестве неоспоримых артефактов, с привлечением фото, видеодокументов, тщательно фиксирующих многообразие иконописных и ликов нашего Кандидата, начиная от византийских мозаик, изображений в фресковых катакомбах св. Калликста и древнерусской иконописи и заканчивая графическими новациями молодых церквей Азии и Океании, являющих его чернокожим, с узким разрезом глаз, или даже сидящим – вот точно как вы, господин подполковник, – в позе лотоса. Нет, нашему лотофагия не страшна. *Всё позволено, но не всё полезно*, знаете ли. Ведь и наш Кандидат, уже после воцарения в должности, вкушал рыб жареных...

Так же высокочтимому суду были предъявлены результаты многочисленных лабораторно-химических исследований, в том числе, исследований Туринской плащаницы, произведённых Оксфордской лабораторией и более свежего анализа данного предмета, выполненного судмедэкспертами федеральной службы безопасности Российской Федерации. Вниманию парадизовских судей, сотен зрителей и десятков журналистов, присутствовавших в судьбоносный момент блестящей адвокатской речи, были представлены авторитетнейшие выводы докторов-«фээсбэшников» из института криминалистики, которые с присущей им скрупулёзностью воссоздали настолько точный физиологический портрет нашего Кандидата, что он не только снял все вопросы относительно существования его как личности, но и избавил его впоследствии от прохождения медицинского освидетельствования и получения медицинской справки, необходимой среди прочих документов, подаваемых вместе с подлинными листами для регистрации в избирком.

Что вы говорите?.. Нет, нет, подчёркиваю: ничего сверхъестественного. Наоборот, выводы сделаны со свойственной судебной медицине натуралистической, или, я бы даже сказал, патологоанатомической сухостью стиля, которой бы позавидовал и Чехов. В моей памяти отчеканилось каждое слово, в гробовой тишине зала, с размеренностью метронома, озвученное хорошо поставленным адвокатским голосом:

Беспорядочно распластавшиеся, волнистые волосы обрамляют сравнительно узкое лицо, с короткой раздвоенной бородой и усами. Правый глаз закрыт, левый слабо приоткрыт. Над левой бровью капля крови. Тонкая носовая кость перебита от удара с левой стороны. С левой стороны лицо над скулой разбито, есть следы отёка. Справа от рта пятно от крови. На голове видны следы колючего венка, сплетённого не обручем, а в виде шапки. На руках – в запястьях, и на ногах сквозные раны. Правый бок пронзён, тело исполосовано ударами, судя по характеру увечий, нанесёнными римским бичом со свинцовыми шипами. Несмотря на то, что лицо несёт следы ударов и кровоподтёков, оно проникнуто величием и покоем.

Нельзя не признать, что оглашение данного описания вызвало в зале судебного заседания настоящий ажиотаж, повергнув в состояние обморока секретаря суда, нескольких слушательниц и одну тележурналистку. Последовавшие затем детали лишь усилили впечатление. В частности, обнаруженные в выцветших бурых пятнах на полотне гемоглобин, билирубин и альбумин подтвердили, что данные кляксы не что иное, как запёкшаяся кровь. Кстати, зафиксированное экспертами повышенное содержание билирубина свидетельствовало о том, что наш Кандидат подвергался изуверским пыткам. Сей факт позволил адвокату потребовать занесения в протокол тезиса о том, что в прошлый раз, во время выдвижения нашего Кандидата на трон, против него и его команды применили недопустимые методы не только контрагитации, но физическое давление. Инци-инци... Набор хромосом в лейкоцитах безоговорочно констатировал мужской пол нашего Кандидата. Также была идентифицирована группа крови – IV (AB).

Конечно, римский бич – это убедительно, но никто не отменял и римское право. Для усугубления итогового слова адвокат привлёк огромный корпус извлечений из канонических текстов и сопутствующего круга апокрифов, уложений Вселенских соборов, трудов отцов церкви, искусно перемежаемых с перлами отцов юриспруденции. Подобно одновременно выстроившимся в затылок высочайшим пикам Анд и Гималаев, Альп и Карпат, Кавказа и Алтая, Памира и Тяньшаня, шеренгой богатырей духа прошла перед лицами слушателей многомудрая гряда свидетельств, в коей чеканили шаг непрекаемые Евангелисты, Дионисий Ареопагит и блаженный Августин, досточтимые Лампридий и Евсевий, преподобные Исаак Сирий и Иоанн Дамаскин, Андрей Цареградский и Иоанн Лествичник, Фома Аквинский и Николай Кузанский, Сергей Радонежский и Паисий Нямецкий, мятежный Аввакум и Иоахим Флорский, беднячок из Ассизи и блаженная Матронушка.

С одобрения судьи к итоговому протоколу заседания было приобщено также письмо, отправленное в адрес нашего Кандидата руководителем государства Едесского Абгаром V, а также ответ, написанный данному президенту собственноручно нашим Кандидатом. Обозначение должности главы государства здесь видится принципиальным, особенно в свете диахронии и синхронии, унификации и глобализации, прав и свобод, и, в русле выше названного, означенного Флорским (за что Иоахим и отрёб по полной), поступательного движения теократии по пути демократизации. Кстати, впоследствии эпистола президенту Едессы была использована при составлении письменного заявления наше-



го Кандидата в избирком, требуемого в обязательном порядке наряду с мед. справкой и другими бумагами. Нет, совпадения с *жемчужиной у моря* как раз неслучайны. Вернее, они вовсе отсутствуют. Так и понимайте. Да-да, вы правы, опять история географией. Как раз в рукописном отделе Одесского областного архива. При раскопках в Корсуни, среди вещей, якобы принадлежавших Андрею Первозванному. Смею заметить, что именно из Едессы берёт начало одиссея плащаницы, длившаяся всю эру рыб и ныне приведшая её в Турин. В Итаку ли?

Все эти факты, озвученные в суде не без адвокатского апломба, но с впечатляющей силой, воздействовали на присутствовавших в суде необоримо, особенно на женские органы зрения, коими, как известно, являются сердца представительниц слабого пола, столь чуткие, возможно, вследствие того, что они перекачивают кровь, содержащую иное, в отличие от мужчин, количество лейкоцитов. Точно каменные глыбы, обрушились на судей и взволнованную толпу вопиющие свидетельства и факты. Экзальтация достигла своей кульминации, вызвав разброд и шатания, принудив представителей властных органов – не столь чутких – к некоторым мерам усмирения, однако, не в пример более мягким по сравнению с римским бичом. Люди взалкали истины, а следует отметить, что председательствовала в суде женщина.

Совокупность упомянутых и прочих обстоятельств (в том числе, никем не предполагаемая глубина обморока секретаря суда) в некоторой степени задержала оглашение итогового решения, но, однако, не повлияла на безоговорочность окончательного предписания. Оно и стало основанием для регистрации нашего Кандидата в избиркоме. Так вы в курсе? Ознакомлены со стенограммой? Местами даже зачитывались?.. Право, это делает честь вашей усидчивости...

Теперь, сами понимаете, остался только один шаг, он трудный самый. Воробьиный скок. Отдать голос. Конечно, не всем. Но каждому. И в первом туре, в дружном хоре-соборе всей твари, воспоётся осанна победителю. Убедительная и безоговорочная, радостная глассолалия Аллилуйи. Нет, у меня на этот счёт ни крохи корма для пираний страха. Как *чему радоваться?* Конечно же, ему. Помните, как вопрошал шукшинский Прокудин: «А есть ли он, вообще, в жизни? – Кто? – Праздник?» Всё равно, что, борясь с блевотворной нудотой, до корки почти догрызть сорок тысяч клинописных табличек эпопеи «В поисках утраченного праздника» и – бац! – вдруг обнаружить: вот он, Апрель, на пороге, явился, пусть запылится, но лёгок, *лёгок-то* на помине!

Первые *основные законы* писались-то на камнях, высекая тем самым незыблемость основного закона, неподъёмность детоводных скрижалей. Вот и страдал дряхлый гимнописец, нарядившись в майорский макинтош Дяди Стёпы: «У-у-у!.. убудет с вас праздник непослушания!». Укрылся от света в прохладной тени собственных бейсболок-бровей и науськивал, чертил на песке своей костью-тростью прислужник десяти безбожных каганов: «В нашем детском саду без римского бича – никак!». Во саду ли, в огороде... Не ведал он, ветхий, покоривший и добро, и зло, что сроки пришли и все вышли. *И закон отиде, благодать же и истина всю землю исполни.* Да никакие это не сказки. Вы, судя по всему, где-нибудь в шестидесятых родились? Да оттуда: глубоко сижу, высоко гляжу, хе-хе... Время было такое: Хрущёв-взрывотехник, де ла Серна-марксист, Леннон – *no religions too*. Словом, по-хлебниковски: вместо веры – мера. Изнищал-то весь дух – тот, что исполни – выветрился в прободение, устроенное Юрием Алексеичем. Но неисповедимы и нищие духом... И марксист-герильеро осуществился в «бедненького Че», наименьшим богатством своим, обрётённым в Ла-Игуэрре, едва ли не превзойдя беднячка из Ассизи. Свой, знаете ли, «Форбс» наизнанку. *Скупые нищие.* Ведь Кузанец не даром высчитывал, что абсолютный минимум равен абсолютному максимуму. Так что никакой, гражданин подполковник, сказочной подоплёки тут нет и в помине. Всё вы про второе дно да подполье трюмите. Нет, усердие я понимаю, и даже ценю... Был у нас в армии один, подполком его называли, как раз по причине двух звёзд, только они, не в пример вашим, были наималейшими – абсолютный минимум. Ах да, Милуешты... Умолкая, молю, на лифте стыда низвергаясь ниц. Под подол средиземноморского льна. Вот вам и подпол... Сказка с несчастливым концом, а никакой не идеализм! Приплетите ещё хилиазм с исихазмом. Но зачем же плети! Римский бич. Эх вы, Милуешты! Виноват, искупаю. Тяжек молох о восьми зубцах. Купаться! Бултых и – день тишины, ибо без языка. Молчание – золото. Не чета дубликату ценного мглисто-зелёного груза «In God we trust». Вот, мол: молва, Милуешты, молчание. Чайние умной молитвы – удачной ловитвы. Ловцу человек или рыбы? Приплетены друг к дружке прессом чугунных крышек. Ибо не ведает старче, что в неводе – чудище. Ну и мудищев! Неуд!..

VI.

А знаете ли вы, что молдаване называют поминки праздником? Причём, именно в левобережных сёлах. Нет, конечно, ваше владение вторым государственным языком делает вам честь, но, пардоньте... Никакое не сэбзтоаре. По-русски, именно: *праздник*.

Затея с походом принадлежала Ормо. На подручных тягловых микроавтобусах подняться до самой северной маковки Приднестровья – каменной Грушки, и оттуда на маленьких плотках, вниз по реке, *сквозь бури, дождь и грозы*. По пути останавливаться в прибрежных сёлах, углубляться внутрь суши, заходить в города, но при крайней необходимости.



Днестровская гладь лениво лоснится в лучах солнца. Днестр остр, он сочится, как тук с жирных кусков, взятых от самой шеи земли, нанизанных на шампур русла и поставленных на мангал полднего марева. И ты скользишь по зелёному телу воды, над разинутой пастью пучины, настолько глубокой, что видны красноватые блики адова пламени на блестящих стенках ненасытной чудовищной глотки... Согласитесь, заманчивая картина, рождающая, особенно натошак, слюноток и волнительную пустоту в районе пупка. Ведь и прах, напоённый живительной влагой мысли, обретает силу гомункула. Так и идея Ормо с водным походом дыхла в наши скукоженные полуденным зноем лица прохладным муссоном Атлантики.

Окна и Каменка вливаются в Днестр, мглисто-зелёный балаур ползёт в черноморово логово, потом: сероводородный мордор, Дарданеллы, Патмос, лазурь и Геркулесовы столбы, увитые виссоном муссонов. А дальше... Окна течёт в океан.

Великие цели сплывают и рождают равновеликие намерения. По словам Ормо, по всему ходу следования мы должны были творить предвыборную агитацию, да плюс к тому ещё совместить с «повсеместным забором проб виноматериалов автохтонных сортов, проведением органолептического анализа и исследования физико-химических свойств».

Кузя, одержимый духом противоречия, тут же заартачился, заявив, что мешать политехнологии и энологию в одну кучу нецелесообразно, и что нельзя объять необъятное. В товариществе он вёл бухгалтерию.

Кузин скепсис тут же не разделил Агафон, одержимый духом противоречия Кузе. В «Огород» он числился секретарём и вёл протоколы собраний. Белые одежды дозволялись в товариществе лишь этим двоим, ибо оба были кандидатами: Кузя – математических, а Агафон – филологических наук. Ибо оба были служители: один – Слова, другой – Числа, словно реинкарнации двух воюющих войск, такие один на один – богатырь-схимонах Александр Пересвет и непобедимый мастер школы «бонч-бо» Мурза Челубей. Сойдясь, вмиг начинали спорить, по поводу и без, не говоря о собраниях товарищества, где гвоздём повестки дня всегда значилась дуэль между двумя непримиримейшими.

Вот и на Кузин коммент Агафон с жаром возразил, что ни один учебник алгебры не запрещает объединять предвыборный марафон и исследовательскую экспедицию. Наоборот, всё богатейшее собрание исторических и литературных примеров походов – ахейцев за Еленой и аргонатов – за руном, скитания одиссеевы и Энея, второго – в переложении Вергилия и Котляревского, а потом – первого и Алигьери, в переложении второго, экспедиции Искандера и крестоносцев, русские хождения за три моря и по мукам, наконец, новейшие психоделические трипы Хантера Томпсона и Венечки Ерофеева – в подавляющем большинстве своём руководствуются идеей верховной власти, не избегая при этом насущной, самой разнообразной исследовательской деятельности.

– Да да Винчи еще говорил: «Нельзя хотеть невозможного!» – гулко страшал счетовод великой тенью титана Возрождения.

– А вот Хлебников говорил с точностью до наоборот: «Хоти невозможного!», – с места в карьер, с пафосом парировал секретарь.

Кузя в ответ заявил, что слоганы дебилов ему не указ, Агафон в накладе не остался и заявил, что ему, соответственно, не указ слоганы итальянских педерастов. Кузя, не согласившись с доводом оппонента, захватил Агафону в ухо, тот тут же двинул счетоводу по сопатке. И понеслось: сцепившись в рукопашной, кандидаты принялись нещадно тузить друг дружку и валять в пыли, превращая крахмальную белизну своих рубашек в бурые лоскуты... Ормо их разнял... Как щенят, растащил, хотя оба были немаленькие дяденьки: счетовод сухопарый, но жилистый, маслятый, а секретарь до похода, вообще, склонен был к полноте.

За загривки их держит, точно отряхивает, и терпеливо так урезонивает, что первый, мол, не был дебиллом, а второй – педерастом. И произносит это так, словно виделся с обоими час назад. Его голосу, вообще, была свойственна непререкаемая убедительность. Что-то неуловимое в тембре. Говорил он не то чтобы мало, а скупое... Озвучивал факты. Или «да-да, нет-нет». В любом случае, спорить с Ормо желания ни у кого не возникало. Вот и тогда слова Ормо были восприняты, как свершившееся.

– Они были творцы... – говорит. – И слова их – об одном и том же. Ещё до революции, в устье Волги купец продавал чёрную икру и покупал картины. Вы слышали об «Астраханской мадонне»?

Он сделал паузу, дожидаясь ответа. Голос Ормо подействовал на бузотёров, как смирительная рубашка. Неистовые ревнителы уже стояли на ногах и, как нашкодившие третьеклассники перед директором школы, отряхивали безнадежно испачканную одежду.

Об астраханской мадонне слышал секретарь.

– А от кого ты слышал? – терпеливо спросил его Ормо.

– Ну как... – запнулся тот, перестав хлопать по своим брюкам. – Ну я, читал... От кого... Получается – от Хлебникова...

– И кто автор картины? – продолжал Ормо.

– Ну, кто... – ступешался секретарь. – Он и есть...

– Кто он?

– Ну, Леонардо... да Винчи...

Ормо произнёс:



– Астрахань – в устье самой длинной реки в Европе. «Нельзя хотеть невозможного» и «Хоти невозможного» – это одно и то же...

Возможность равна невозможности?.. Собрание и так донельзя взбудоражилось выяснением отношений между кандидатами, а тут, от тождественного столкновения молота и наковальни, головы наполнило гулом и звоном и повело по кругу. Слов председателя никто не понял. Начали спрашивать, требовать разъяснений. Но Ормо оставался нем, как рыба, и чем дольше он упорствовал, тем сильнее становился галдёж, перерастая в непролазную глассолалию.

Голоса... Как тогда, в Окнице, на *празднике*, в лучах солнца, сползающего по грани Моисеева кургана. Каменные скаты окрестных сопок образуют треугольники с черепичными крышами времянки и дома. Они, становясь всё червоннее, пересекаются под прямым углом, превращаются в катеты, гипотенузы которых затеряны где-то в заполненной закатным золотом синеве.

Столы, накрытые прямо во дворе, составлены буквой «П». Буква – заглавная, прописная настолько, чтобы вместить всех собравшихся на *праздник*. Сорокадневные поминки справляют по матери хозяйки дома. Старушка едва не дожидая до своего девятистолетия. Проводить в последний путь душу Домны Васильевны собралось чуть ли не всё село, тесно переплетённое узами кровного и духовного родства – «нямурь», как они себя называют. Двоюродные, троюродные и прочеюродные, фины и нанашулы, разбавленные седьмой водой на киселе не только по окрестностям, но и по ближним и дальним сёлам и городам. Приехали и не поспевшие к похоронам бабы Домки правнуки и правнучки из тридевятих мест: Триест, Лиссабон, Нижневартовск, Москва.

Перекладина буквы образует президиум, за которым, возле батюшки и хозяина, посажены Ормо и Вара. Виночерпши движутся посолонь, вдоль «п-образной» подковы, дочерчивая окружность. На разлив поставлена молодежь. Я в их числе, большой фарфоровой чашкой черпаю из ведра тёмно-красную, венозную кровь и наполняю стаканы гостей и хозяев. Стакан по-молдавски – *пахар*, а чашку у меня в руках хозяйка и хозяин называют *кана*. Я стремительно осваиваю молдавский: то и дело прикладываясь к кане, и с каждым глотком мой язык развязывается всё более в унисон с *лимба ноастрэ*¹. Хозяйка, тётя Вера, такая же безутешная и бодрая, как и её муж, суетливо хлопочет между летней кухней и поминальным столом. «Ту ешьт бэят бун...», – обращаясь ко мне, успевает похвалить она. Я всё понимаю и отвечаю: «Мулцумеск... доамна Вера». «Се фачем *праздник*...», – вздыхая, говорит хозяйка. Она добавляет, что я похож на её младшего сына. Ионел единственный из четверых её детей не смог приехать ни на похороны, ни на поминки бабушки Домки. Он сидит в итальянской тюрьме. «Ши, де фапт, еа ера непот фаворит буника Домка²», – говорит тётя Вера. Смахнув слезу и вздохнув, она торопливо уходит в кухню. А я всё понимаю и тут же вспоминаю Агафона. Во время пешего перехода Кузьмин – Хрустовая, карабкаясь вверх по склону, тот принялся разлагольствовать о горе Геликон и о волшебном источнике Иппокрене, описанных в «Метаморфозах» Овидия. Каждый испивший его тёмно-фиалковой влаги обретал поэтический дар. А вдруг *плечистая краска* разбудила во мне дух Эминеску?

Агафона теперь не узнать. Ещё час назад он изображал израненного партизана, водружённого со своими, истёртыми в кровь конечностями, на каруцу дяди Миши. А тут налицо форменное перерождение: слова сыплются из него, как из рога изобилия, и этот брандспойт красноречия однонаправлен. Напротив секретаря посажена черноглазая Антонелла – правнучка усопшей, приехавшая из солнечной Италии. Средиземноморский шоколад золотит нежную кожу её красивого лица и обнажённых по плечи рук. Траурная гиппоровая ленточка изящно обуздывает ниспадающее струение чёрных волос. Она застенчиво молчит и вслушивается с любопытством иностранки, внимательно глядясь в Агафона бездонно распахнутыми из чёрных ресниц-опахал, томными глазами. Я наполняю агафонов стакан, потом наливаю Антонелле. Чёрный огонь высверкивает из опухал, и я шепчу секретарю, что слушательница вряд ли его понимает. Глаза секретаря застит бордовый туман, они стекленеют, как у загипнотизированного кролика. Он отмахивается от меня, как от мухи. Он заморожен смешливой игрой золотисто-смоляного сияния.

Агафон пропал. Он зовёт её «Тоамноокая». Его заплетающийся язык бормочет о волшебных дифтонгах, обладающих властью гипноза, подобно линзам из очков Леннона. Потом секретарь начинает нести несусветную чушь о крито-микенской зыбке, в которой, на волнах Средиземного моря, качивалось человечество, и об укрытом на острове Буяне запутанном лабиринте, где легко заблудиться не только красавице, но и чудовищу, и о том, что в итоге прекраснейшей всё равно суждено спасение, и она выйдет из пены на поверженный ниц лазурный берег. «Ты право, пьяное чудовище!.. Это всё она – *тоамноокая*... оковала мне сердце, что твою дубовую бочку – стальными обручами...» – обращаясь почему-то в мою сторону, сокрушённо икает секретарь.

С каждым погружением чашки в чернила уровень падает, оставляя по эмалированной стенке ведра очередной ободок бордово-сиреневой, в разводах ватерлинии, или точнее, вайнлинии. Нарезной лесенкой чернильные кольца сходятся книзу, как на спиле ствола вековой сосны. Их бурые штрихи с вечнозелёными кронами сплошь покрывают окрестные склоны. Где-то там, на южном склоне горы, в сосновой чаще, сокрыта пещера с тайными письменами – *Монастырише*. Именно это место и

¹ Наш язык (*молд.*).

² А ведь он был любимым внуком бабушки Домки (*молд.*).

древний скит, вырубленный в известняковом склоне при царе горохе является главной целью нашего визита в Окницу. Об этом ещё в Хрустовой, как бы по секрету, сообщает Агафон. На то он и секретарь, чтобы не хранить секреты. Об этом он якобы узнал от Вары, а та — непосредственно от Ормо.

Теперь я стараюсь при каждой возможности исподволь наблюдать за нашим председателем. Вот он поднимает наполненный венозной кровью стакан, внимательно слушая поминальные слова батюшки об усопшей. Вот произносится «*вешникэ поменире*»¹. Ормо в несколько глотков до дна осушает стограммовый гранёный стаканчик, исполненный венозно-красных отсветов, и возобновляет прерванную с батюшкой беседу. Я черпаю из ведра, наполняя пустые стаканы, краем уха улавливая их диалог. Говорит батюшка, по-молдавски, а Ормо кивает, то и дело вставляя одно или два предложения. Разобрать на слух сложно, но вроде речь идёт о Дмитрии Солунском. В честь святого в селе построена церковь и справляется храмовый праздник села. Это *сэрбэгоаре* слышу несколько раз. Выясняется, что «Огород» окажет финансовую поддержку в проведении храма села.

В моём затуманенном мозгу возникает ощущение, что главной, не афишируемой целью нашего похода является устройство и участие во всевозможных праздниках. И неважно поминки это, храм села или концерт в поддержку нашего Кандидата. И вся эта затея с блужданием по сопкам и петля в Окницу через Хрустовую — никакая не случайность, а заранее выношенная нашим председателем затея. И какую добычу намеревается захлестнуть этим лассо ковбой Ормо? Неужели можно поверить рассказам про тайные письма, начертанные на скалах кресты и предвыборную агитацию? И почему молодчики Пересветова подстерегают нас на подходах к Каменке, с намерениями самыми серьёзными. Что ещё за герилья вперемешку с занимательным краеведением и политтехнологиями? Прав был счетовод, не ожидая от похода ничего доброго.

Решение идти пешком из Кузьмина в Окницу принял Ормо. Причиной тому послужил ряд событий, внешне между собой не связанных. Во-первых, вода. Воду мы хотели набрать ещё в Грушке, после того как собрали и спустили в Днестр оба наших плота и провели торжественный сход с участием местных. Посвятили его началу сплава и открытию грушкинского отделения товарищества садоводов и виноградарей (сокращенно ТСВ) «Огород». Грушкинцы внимали с интересом, задавали вопросы, переспрашивали. Особенно оживились, узнав, что в «Огороде», в отличие от остальных обществ и товариществ, членские взносы не собираются, а раздаются. По итогам схода к принесённой из школы парте выстроилась длинная очередь желающих. За ней сидели Агафон вместе с Верой, составляли списки неофитов товарищества, а Кузя выдавал им подъёмные взносы. Тут же, среди бумаг, стоял запотевший графин, наполненный тягучей, янтарно-рубиновой Ноа, или *Норой*, как назвал своё вино радушно-рачительный Яков.

— Пейте, пейте, пока холодненькое, пока из погреба, — приговаривал руководитель грушкинского отделения садоводов и виноградарей, только что утверждённый на альтернативной основе. Плюс к графину, под парту, он и его земляки выставили ещё батарею из шести полторалитровых пластмассовых бутылок с различными виноматериалами собственноручного изготовления. Запасы воды посоветовали сделать в Кузьмине, разъяснили, что в Грушке вода для питья слишком тяжёлая — много солей и, если кипятить, образуется толстый слой известкового осадка. И для полива не годится: чернотём со временем выдавливает из себя ту же самую известку, делается белым, словно солью покрытым. «Это из-за известняка. Карбонат кальция разлагается на углекислый газ и основания...», — будто бы размышляя, произносит Ормо. Он прямо здесь, возле парты, в присутствии Якова и других грушкинцев, даёт Вере поручение изучить вопрос приобретения товариществом для села Грушка гидронасосов, с попутной установкой на них специальных фильтров, облегчающих воду. Тонкие пальцы Веры со стенографической быстротою мелькают по клавише ноутбука, тут же, на глазах изумлённых селян, преобразуя распоряжение председателя в вордовский файл. В мою, распаренную янтарной Ноа душу закрадываются сомнения.

С водой решено по совету Якова и Ко. Спускаемся на плотах до Кузьмина. Там ситуация повторяется. Сход ещё более многочисленный и дискуссионный. Желающих записаться в ряды «Огорода» ещё больше, а тут ещё Ормо берёт слово и озвучивает нечто, похожее больше на предвыборный лозунг. Он говорит: «Время собирать камни ещё придёт. Сейчас время — камни разбрасывать!». Брошенный им клич получает неожиданно горячий отклик. Пожилой кузьминец, сплюнув в каменистый грунт, провозглашает: «Бульжник — оружие пролетариата... А у крестьян орудий этих — навалом. На то мы и каменские! На то мы и Родина Иона Солтыса!». Дед Артемий и односельчане также принесли образцы виноматериалов, среди которых сортовые образцы и купажи, производные от уже известной Ноги, а также Муската и прочих местных, белых и красных сортов, среди которых Ормо сразу выделяет один — с рассветно-малиновым тоном и пронзительной лёгкостью. Жители Кузьмина зовут это вино *краскэ ку умрэ*², поясняя, что грозди у винограда, из которого оно произведено, широкоплечи, как треугольники с расширяющимся кверху основанием.

В самый разгар винно-геометрических построений выясняется, что дед Артемий является двоюродным племянником Иона Солтыса по линии отца героя — Сидора Артемьевича. Воинственный наследник Победы стар, но не дряхл. Он увлечённо и с гордостью повествует о своём героическом родиче. Ормо внимательно слушает. «Он повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой амб-

¹ Вечная память (молл.).

² Краска с плечами (приднестр.).



разуру где-то в Германии, за пару месяцев до 9 мая...». — «За три месяца... — уточняет Ормо, едва отрываясь от стакана с рассветным пламенем. — В городе Луизенталь. Это в Верхней Силезии». Дед Артемий живо и с благодарностью соглашается, часто-часто кивает, сообщая, что именно там дядя Ион и похоронен. В конце он сообщает, что Сидор Артемьевич до самой смерти сокрушался, что не смог побывать на могиле сына, и что так его героический дядя и лежит в далёкой, неприютной неметчине. В ответ, допив, Ормо говорит, что товарищество готово содействовать поездке деда Артемия или кого-то из родственников на могилу Иона Солтыса, помогут и с получением визы. В виду изумленных кузьминцев он подзывает к себе Вару и счетовода и просит их индивидуально и не откладывая заняться вопросом деда Артемия. Они терпеливо ждут, пока стремглав убежавший дед обернётся с данными паспорта, а Ормо предлагает присвоить вновь создаваемому кузьминскому отделению «Огорода» имя героя Иона Солтыса. Слова его тонут в шквале аплодисментов селян, разгорячённых полученными взносами и принесёнными флягами, а тем временем дед возвращается, и не только с паспортными данными, но и с участковым милиционером. Лейтенант Епур оказывается внучатым племянником деда Артемия. Согласно поступившей к нему информации, в сторону Кузьмина со стороны Каменки движется колонна в составе микроавтобуса и нескольких джипов с разгорячёнными сторонниками кандидата в президенты Цеша, а, как известно, с подручными этого ненасытного олигарха, сырьевого магната и политического воротилы в одном баллоне шутки плохи, вне зависимости от того, разгорячены они или холодны, как лёд. Но дед Артемий, вдохновлённый незамедлительным решением вопроса о поездке его в Верхнюю Силезию, заявляет, что этот Цеш — похлеще упыря Цепеша: тот совел от крови своих подданных, а этот присосался упырём к телу отчизны и сосёт нефть и газ — кровь и душу родины, — а потом гонит их по трубам, накачивая фашистов, басурманов и прочих, недобитых весной сорок пятого. Под воздействием речей патриарха кузьминцы ощущают, как плечи их расправляются в ширь, пока не достигают меры, достаточной, чтобы отметелить заезжих молодчиков так, что мама не узнает. Пламя воинственных настроений гасит Ормо. Неожиданно, и для местных, и для рвущихся в схватку Зарубы и Южного Юя, он заявляет, что столкновения лучше избежать.

Вот тогда-то мы и двинули пешим ходом на Хрустовую. Вернее, двинули мы напрямик в Окницу, а в Хрустовую завела кривая. Вот и лассо, вот и петля. Схоронились в Хрустовой и тем самым разминулись с костоломами Цеша. Стратегический маневр, который сберёг до поры наши несмышлёные черепушки от арматурин и бейсбольных бит. Тогда всё выглядело, как стопроцентный авось. Сбились и заплутали.

Ормо всю вину валил на Ноа, или, по бессарабски, — Фрага Албэ, или, по каменчански — Ногу. В правду, кто же, как не она — Бело Отело, отяжелело-духмяным дурманом бившая в мозг и в голени — вдохнула в нас поначалу иллюзию неисчерпаемой энергии и тяги к свершениям, толкнула на пешее восхождение? Таков, неисповедим и запутан, оказался наш путь: шли в Окницу, а очутились в Хрустовой, сделав крюк почти в пятнадцать кмэ. И это при том, что напрямую, партизанскими тропами от Кузьмина до Окницы, — всего два километра!

Агафон честил Нogu на чём свет стоит. Ормо соглашался, но больше для профформы. Во время пешего перехода он стал разговорчивее и веселее, даже местами шутил. Но меня было не провести. Пытливое, непоказное бление подмечало малейшую рябь на глади его настроения. С каждым шагом прибывало в мозгу подозрений, донельзя нагружавшихся раздражением и досадой. Плескались они и кипели во мне, выстраивая в цепочки и звенья услышанное краем уха, увиденное краем глаза. И хотя досадовал я на себя, подсознательно вскипание это переводило стрелки на Ормо. На кого же ещё? Его же затеи. Герильеро, будь он неладен.

Всё дело в Тае. Исключительно из-за неё ввязался я в этот поход, а прежде того вступил в «Огород». Откуда я знал, что туда нельзя войти дважды? Почему? Потому что в лабиринте тебя поджидает чудовище, а выход не предусмотрен...

Узнав о приближении цешевских боевиков, мы решили разделиться. Совершенно спонтанно и добровольно. Всего нас насчитывалось двенадцать. Это если считать Нору. А не считать ньюфаундленда Нору было невозможно. Собака Ормо, черносмольная, без единого пятнышка, неотступная его спутница, Нора понимала хозяина без слов, с одного взгляда своих кофейно-внимательных глаз. Телепатически. По части дрессуры и прочих командных натаскиваний Ормо не заморачивался, обращался с огромным ньюфом, как с человеком. Да это животное и так соображало получше другого каждого. Сядет, бывало, у хозяина за спиной, пока тот в сети чатится, и смотрит из-за плеча, с таким любопытством... Даю голову на отсечение, что зрачки её вперёд-назад двигались! Неужели читала, что он там, с быстротой паучьей пряди, на клавиатуре выстукивает? Рядом с хозяином Нора воплощала спокойствие и кротость. Так и на собраниях, бывало, сидит, будто на стуле, ещё только лапы осталось скрестить и высказаться по повестке дня. В «Огороде» со всеми установила Нора сдержанно-деловую дистанцию.

Со всеми, за исключением Вары и меня. Вару, единственную, кроме Ормо, она допускала к поглаживаниям и почувхиваниям. А я... я был избран в друзья и наперсники. До сих пор не пойму, почему, но именно передо мной этот деликатно-огромный ньюфаундленд распаивал бездны своего добродушно-дурашливого норова, с нескрываемым удовольствием и всегдашней готовностью включаясь в водные и сухопутные догонялки, борьбу, *принеси палку, отбери палку* и прочие игры. Что ж, признаюсь:



тёплую перепончатую лапу Норы я пожимал, как руку самого доброго друга в нашем товариществе. Даже подозревал затаённые мысли и глухую ревность по этому поводу со стороны хозяина собаки. Уже много позже Ормо признал, что первоначально у меня не было никаких шансов попасть в участницы похода. Единственным «за», перевесившим в итоге все «против» моей персоны, стало отношение ко мне его собаки. Так что можно ответственно и смело заявить: бесшабашное озорство с ньюфаундлендом Норой, действительно, оказалось для меня судьбоносным, пронизанным, так сказать, детерминизмом и синергизмом, повлиявшим на весь ход событий, помимо моей воли и моих подозрений. New-found-land. Вновь-обретённая-земля.

Там, в Кузьмине, в самом начале пути, мы решили: прекрасной толпке агитбригады, в составе Норы, Белки и Вары, нужно отправиться к плотам. Причем ньюф получил специальное поручение: охранять плоты и тех, кто на них находится. Караульная задача – всегда боевая, и она значительно усложнялась по той причине, что у Норы напрочь отсутствовали охранные инстинкты и малейшая агрессия не только к человекам, но и к другим биологическим видам, будь то даже суки иных собачьих пород и кошки. Белке и Варе предписывалось предупредить Паромыча о приближающейся опасности, снявшись с якоря, оперативно спуститься к Янтарному, и уже там, сокрывшись в кущах виноградарского совхоза, дожидаться основной части отряда и другой малой толпки женской части товарищества, которая должна была приехать из Парадизовска. Эти другие две – Надя и Тая – не смогли, по разным причинам, начать вместе со всеми поход из Грушки. С ними условились соединиться по пути, в Янтарном – в точке сборки всех позвонков нашего отряда-хребта, на время распавшегося под воздействием центробежной силы обстоятельств и промежуточных целей.

Цель похода равна сумме шкурных целей каждого из его участников. Она равна добыче. И тут не суть важно, рейд это по тылам противника в поисках «языка» или завоевательное шествие с попутным этнографическим сбором скальпов и энтомолого-ботаническим сбором бабочек и цветочков для гербария. Важно то, ради чего люди готовы нести тяготы и лишения скитаний за тридевять земель от отчего дома. Ради чего-то очень-очень важного. Того, без чего человеку покоя нет. Иначе Берингу с Беллинсгаузеном, Колумбом и Магелланом, или Пантагрюэлю с Панургом не взбрело бы, очертя голову, бороздить просторы морей и океанов, подвергаясь сонму опасностей. Тут уж каждому своё. Кто на что учился. Кому руно и перо жар-птицы, кому – Елена Прекрасная и Варвара-краса, только без косы, или вот – сабинянки, кому – проливы, полюса и материка. Суть не меняется. Руно – для аргонавтов, князь Игорь – для Ярославны в Путивле на забрале, Иерусалим – для тамплиеров, царевна – для Стеньки Разина, пролив – для Беринга. Пролив – та же царевна. Открыл, считай – добыл.

В походе цель общая и, в то же время, у каждого своя. Вот у ахейцев из всего списка царей-кораблей-журавлей лишь у Менелая личное полностью совпадало с общественным. Елена Прекрасная. Показательно, что её домогался добыть и Фауст, находясь совершенно в другом походе. Две бесконечные линии пересекаются в одной точке.

Страсть движет походами. Одни хотят обрести неведомое, а другие – то, что потеряли. И кто из них более страстен? «Хоти невозможного» или «нельзя хотеть невозможного»? Загадка Ормо, как сырная плесень, изъела мой плавленый мозг по пути в Хрустовую. Ведь и утерянное обретается заново. И Менелай жаждал вернуть Елену ещё и потому, что Прекрасной обладал другой. В одну Елену нельзя войти дважды.

Конечно, для серьёзного дела отбирают лучших из лучших. Мы провидцы задним числом. Зная только теперь, а вернее, догадываясь о замысле Ормо, понимаю его старания. Ведь если не понимаю, считай – меня как бы и нет, и говорить не о чем. Но всё же, и в Грушке, и по направлению к Окнице, наше сборище на пушечный выстрел отстояло от отряда космонавтов. Теперь можно авторитетно заявить: у каждого участника похода за рыбой был свой интерес. Ну и что? Что в том зазорного? Был ли зазор в целях, кои преследовали капитан Ахав и моряк Измаил, в составе одной команды одного корабля преследуя одного белого кита? Был и, притом, преогромный. Ведь и наш Кандидат набирал в свою бытность команду из рыбаков. Правда, горшки он не обжигал. Отсюда, глиняным горнилом, и встаёт вопрос вопросов: зачем? Зачем весь этот сыр-бор, плавленый сырок, изъеденный плесенью загадок? Неужто сам бы не справился? Ведь Сам – это вам не сом. Он оппозиционен, но не равновелик. И эта *полундра, спасайся, кто может?* Что Спасителю в спасаемых? Только то, что логика космоса и миропорядка от нашего Кандидата исходит из всеобъемлющего *чувства*. Одиночество это. Страх остаться в предвечной тёмной материи, с центробежной силой разгоняемой безраздельной тёмной энергией. Флёр одиночества, его горностаевая мантия – скука. Скука и одиночество – божественные состояния. Кто их достиг – приблизился к благодати. И каждый из семи дней творения и все они в совокупность утверждают в мысли о том, что сотворён мир не из необходимости, а из пренебрежения презренной пользой и для увеселения. Отсюда туманность весёлости, что окутывает седмицу оную, отсюда «Хорошо» в финале. Отсюда празднично-безалаберная суть всякого творчества, ибо всякое творчество есть реликтовое излучение большого взрыва седмицы оной. Вот древний сказал, что человек не может вне общества, а могут лишь боги или животные. В жизни не видел, и по «Animal planet», одинокого животного. Не



бывает. А что касается первого. Ведь создан по образу и подобию. Значит, не может и он. Отсюда и весь сыр-бор.

Теперь только я понимаю, что именно об этом пункт №1 устава товарищества садоводов и виноградарей «Огород» в разделе «Цели и задачи»:

1. Уравновесить созерцательную жизнь и братский диалог.

Это всё Ормины штучки. Вольно распоряжаться чужими идеями. И чужими девушками. Что можно о нём сказать? Себе он не принадлежал. Рука его постоянно прижимала к уху мобильник. Потом обзавёлся блютузом. Плюс всю дорогу ноутбук, по нему – аськи, скайпы, соцсети, почтовые ящики, и т.д. и т.п. Он плёл эти сети, как заправский рыбак. Или паук? Одно слово – ловец. И всё это молча. И по скайпу больше внимает, в ответ только своё обычное: да-да, нет-нет. Нет, это нельзя назвать одержимостью. Я знаю, что это такое. Среди нас был одержимый, одни его звали Заруба, другие Радист, третьи – и так и этак; его падучая была следствием, а причиной – две тяжёлых контузии, посттравматический синдром мешал ему увязать в узелки причины и следствия. А Ормо... В походе он изменился. У него не было свободного времени. До похода. Знаете, как говорят: «У меня нет времени», только абсолютно буквально. А после того, как мы в Грушке ступили на палубы наших плотов, его стало так много, что мы перестали его замечать.

Между *не было* и *не стало* есть зазор, и преогромный. Счетовод часто повторял, что в будни и в праздники время следует считать по-разному. Красный день отличен от чёрного, как трефы от бубей. Так бы сказал Паромыч. Он заядлый был игроман – нардист, бильярдист, доминошник и картёжник, в частности. То же во время игры. Вот опять это *время*, как чёртик, само сигануло в отвёрстую пасть. А преферанс его – ам! – и давай пережёвывать, рядами своих заострённых мастей. Расписывай потом пульку, сколько влезет – хоть сутками напролёт – расписными своими, в перстнях и мастях, пальцами. Течёт по-другому, вернее, в будни течёт, а в праздники... Нет, не стоит. Плещет. Не озеро, а море. Окна впадает в океан.

Душа моя рвалась вниз по Днестру, напрямик в Янтарное. Таисия – таков был мой интерес, моё нещечко во всей этой катавасии. Посему там, в Кузьмине, я сильнейшим образом восхотел вкупе с Белкой и Леночкой отправиться к плотам. Но – вотще, ибо ноги мои, влекомые Ногой и браваурными речами Зарубы, повлекли меня в прямо противоположную сторону. И никто ведь силком не тянул. Сам пошёл. Хотя потом, уже по пути, пораскинув одуревшими от жажды мозгами, я тщательно всё проанализировал и вывел их ловкие трюки на чистую воду.

Это всё штучки Ормо и подручных его, той же Вары. Рассказывали, что до «Огорода» её звали буднично-просто: Варя, а метаморфоза случилась в товариществе. Что послужило причиной? Что могло выпарить едкое окисление мягкости, превратив его в полногласно распаханную «а»? Намекали на зной безответной любви. Так или иначе, была Варя, а стала Вара. Мне-то без разницы, только я расценил эти методы варварскими и сильно тогда на неё взъелся.

Идти из Кузьмина в Окницу главный наш огородник никого, действительно, не заставлял, но как-то вдруг к месту вспомнил, что Ковпака, героического партизана Великой Отечественной, звали точно также, как отца героя Иона Солтыса – Сидор Артемиевич. «От Путивля, – говорит, – до самых Карпат прошёл героический герильеро со своей партизанской армией». Вот тут, как-то сама собой, этаким Афродитой, явилась из пенистой Ноа идея: «Если уж деды и прадеды наши от Путивля до Карпат проходили, от Кузьмина до Луизенталя, то что нам стоит пройти до Окницы!» И все, по глупости своей, усиленной сокрушительным сочетанием в Ноа объёмов процентных и сахаристости, затею эту горячо поддержали. Вернее, затея-то озвучена была чуть не хором, коллективно-бессознательно, а потому пенять, как выяснилось позже, было не на кого. Тут Ормо и предложил разделить, чтобы предупредить Паромыча и увести плоты в Янтарное. И Заруба, хренов гусар, предложил, что пусть к плотам идут девушки, а парни пойдут в горы. Меня это не смутило. Я был твёрд в своём намерении скорее увидеть Таю. Но тут вдруг Вара заартачилась и заявила, что тоже хочет в Окницу. Никто возражать не стал, ибо пункт восьмой нашего товарищества гласил: «Делай, что хочешь». Но тут я засомневался, в тот же миг скормив свой корм пираньям страха. Испугался, что буду выглядеть сачком и трусом: вот, мол, девушка идёт в переход, навстречу трудностям, а этот слинял к плотам. Такого следовало ожидать от Агафона, но секретарь неожиданно выказал жгучее желание идти в Окницу. И я пошёл вместе со всеми, хотя мне надо было напрямик в Янтарное.

Впопыхах, так и не сделав запасов воды, мы покинули село, свернув за околицей с асфальтовой дороги на первую же тропинку, уводящую в сосновую посадку. Обильно накачавшись в Кузьмине, снабжённые флягами «на дорожку», мы двигались в хвойной тени, в клубящемся облаке говорильни и трёпа, перерастающих в непролазную глассолялию. Шли налегке без поклажи и рюкзаков, только с винными баклажками. Ормо нёс с собой сумку с неотъемлемым ноутбуком, плюс к тому он в начале пути забрал у Вары объёмный ранец. В нём хранился пластмассовый чемоданчик с химическими реактивами – целая переносная лаборатория, с помощью которой Ормо и Вара проводили анализ добываемых нами виноматериалов.

Поначалу мы ощущали себя, как восьмеро бессмертных в возлиянии. Так именовал нас Южный Юй. Прозвище своё он получил после того, как на одном из собраний прочёл отрывок из древнего текста. «В Южном Юе... – начал он, есть один город... Его народ юродиво-прост и первобытно-неотёсан... Дико-безумный, он действует шало, а идёт великим путём». И хотя Ормо абзац понаравился, обсуждался он, не в пример другим прочим, довольно вяло: Агафон отметил буйную оригинальность сложных эпитетов, а Кузе не понравилось слово «шало», от которого ему пахнуло женской поэзией. «*Это всё шалая моя, пошалевали...* – ни к чему хорошему эти *великие пути* не приводят», – раздражённо пробурчал он, а Агафон даже поленился с ним спорить. И, однако же, Южный Юй намертво прицепилось к нашему шаолиньцу и каратеке, последователю восточных духовных практик и мастеру единоборств.

Ормо такие читки практиковал частенько, называя одноабзачными. Порою они имели куда более выразительные последствия. В тематике авторитетные тексты никакими рамками не ограничивались, что нередко провоцировало эскапады со стороны чтецов. Так, в частности, произошло в случае с Радистом, озвучившим извлечение из «Кама-сутры», что вызвало у женской половины сборища хихиканье, брезгливое фырканье Чистюли и издевательские намёки развязной Белочки относительно уровня растяжки наших садоводов и виноградарей. Не вытерпев колкости насмешниц, Южный Юй тут же принялся демонстрировать один из сложнейших комплексов ушу-саньда, сопровождавшийся умопомрачительными выворачиваниями конечностей в области ключиц и тазобедренных суставов. Более продолжительным эхом смакования Радистом презабавных позитур стало включение, по настоянию Агафона, «холодной» растяжки в комплекс занятий по ОФП. Их, в черед с марш-бросками, систематически проводили в «Огороде» Ормо и Радист. Дополнительно Южный Юй обучал огородников ката «сан-чин», приобщая желающих к основам исконного окинавского стиля го-дзю-рю.

Итак, мы шествовали, как воспарившие у ручья в бамбуковой роще, но это был никакой не ручей, а речка Окна. Вода ведёт, вода водит. Вместо того, чтобы следовать нити Ариадны, мы перерезали её поперёк, играючи перешли Рубикон и, потягивая розово-янтарное Бело Отело из баклажек, двинулись прочь, будто море нам по колено. А Ормо не преминул добавить, что до Октябрьской революции эти земли входили в состав Подольской губернии, со столицей в Виннице. «Как бы мы ни дрейфовали на юг, а *Винница* – столица наша – остаётся недосыгаемо высоко». Естественно, никто ничего не понял, о какой Виннице идёт речь.

Встрял Агафон, заявив, что, если говорить о столицах, то начинать надо с витгенштейновской Каменки – того самого хтонического крокодила, который проглотил солнце. Ведь именно тут, во глубине просторных каменных погребов, вызревало солнце русской поэзии. Потягивая мозельские, бургундские и бордосские вина из бочек защитника града Петрова, князя Петра Христиановича, резвясь взапуски и приударяя за всем, что движется, именно здесь, в стойбище и лежбище своей Южной ссылки, А.С. Пушкин замыслил своих «Цыган», «Братьев-разбойников» и прочие гайдуцкие кирджали. А Вара, ещё полная сил и грусти, глядя на Ормо, не замедлила заметить, что все эти рассказы про добывание «всего, что движется» и дон-жуанские списки на поверку, наверняка, оказываются пустым звоном, на что Агафон не преминул ответить, что ни творческий путь самого классика, с наследием и наследниками, ни воспоминания его современников ни на минуту не заставляют усомниться в том, что в части неисчерпаемости поэтической и любовной энергии А.С. Пушкин – это АЭС «Пушкин».

Ловкий выпад секретаря и ответное смущение Вары немало всех позабавили. Осенённое магией места и термоядерным духом гения, вдохновение наше вышло из берегов, но лесочек закончился, и тропинка стала забирать вверх. Чем выше мы карабкались, тем круче становились склоны, но нам, охваченным эйфорией коварного *краскэ ку умэрь*, любые горы казались по широкое плечо.

А потом время остановилось. Оно съёжилось в точку *здесь и сейчас*, и выгнулось в бесконечную линию. И ещё солнце, совсем неожиданно для середины апреля, оказалось злым, накинулось на нас вдруг, как заливиная дворняга – из подворотни, взялось припекать и покусывать, ни в какую не унимаясь. Это длилось часов пять, не меньше. Спустя бесконечность, едва живые, мы выбрались, наконец, на «грунтовку».

Агафон пал первым – рухнул прямо на дорогу, как куль с песком. Откинувшись навзничь, он несколько секунд лежал с закрытыми глазами. Грудь секретаря тяжело вздымалась и опадала, как старые меха, а затем он выставил на обозрение возникший на пятке мозоль.

– Он у тебя скоро несётся, – по-доброму проговорил счетовод.

Мозоль секретаря, действительно, был огромен, величиной с куриное яйцо. Кузин, взопревший, но весёлый, проветренный, выглядел не в пример свежее.

– Я пить хочу... – жалобно, совсем по-мальчишески, проговорил секретарь.

– Терпи... – милосердно изрёк счетовод.

Он проявил себя выносливым, подобно Ормо, радисту Зарубе и Южному Юю. Секретарь и Вара, наоборот, оказались слабыми звеньями. Впрочем, как и я. Напекло голову, и вконец замучила жажда. Поначалу я всё налегал на янтарно-думяную Ноа, и в итоге она с бейсбольной оттяжкой перебила мне голени. Стало совсем невмоготу: развился сушняк, перед глазами плавал алый туман и лиловые бублики, по способу образования похожие на никотиновые колечки. Когда мы остановились, я, едва переводя дыхание, почувствовал, как из розовых пучин вздымается тошнота.

В этот миг на наши отрядные выжимки и набрёл дядя Миша, вернее, его Орлик – послушно



ступающий конь, серый, в чёрных яблоках, со спутанной смоляной гривой. Во истину, дядя Миша явился на своей каруце¹, как пророк Илия.

«Пить! Пить! Пить!» — истошно воззвали жаждавшие грома и ливня. «Ах, вы бедняжки...» — сострадательно отозвался селянин, тут же усадил на телегу особенно страждущих и без промедления направил телегу по пути спасения.

Двинули в Окницу, а очутились в Хрустовой. Она лежала на каменных склонах, не оставляя своим жителям иного выбора, кроме как восходить или скатываться по наклонной. Вот мы туда и скатились, на скрипящей и громыхающей каруце дяди Миши. С рубиновых вершин Кузьмина низверглись в катакомбы окницких погребов.

Крестьянские дворы обнесены невысокими, по грудь человека, кладками из понтийского известняка. Из него же построены времянки, дома, сараи. Тоже самое — в Кузьмине и Грушке, тоже самое — потом в Окнице и далее — в Подоймице, Подойме, в Рашкове и Янтарном.

Ограды выложены из камней, добытых из земли при рытье погребов. Рытьё трудное, а погреба глубокие. В земле теперь, вместо камней, дубовые бочки. Бока заскорузлой туши изрыты крестьянскими схронами. В глубь ведут убитые ступени и электрические провода, а там, под спудом пушистых сороковатных курчачков, зреет в дубовых сердцах кровь левиафана. Скрючившись в три погибели, спускаемся по убитым ступенькам, и по пути хозяин, дядя Миша, объясняет, что чем глубже в земле хоронился камень, тем вольнее ведёт он себя в ограде. Затаённые молчуны-черноризцы, извлеки их на свет Божий, начинают капризничать, норовят выпасть из кладки.

Только здесь до меня доходит смысл разглагольствований Южного Юя по поводу названия нашего товарищества, учинённых им в изначальной точке нашего сплава — в северной ледовитой Грушке. Южный Юй, знаток духовных практик в радиусе всей розы ветров, уже в Грушке как-то сразу и вдруг набрался — видимо, из-за близости к приднестровскому магнитному полюсу — и пустился рассуждать о том, что означает оное *о* — во лбу *Огорода*: не столько само место возделывания, но то, что его ограждает. «Меловая черта, очерченная Хомой Брутом!» — поддакнул Агафон, а Южный Юй продолжал: у поморов магический лабиринт, выложенный из камней, и ведущий из мира сего в потусторонний, называется огородом, иначе же — вавилонами. А грушкинский Яков, смеясь, возгласил, что *Вавилоны* он и сам горазд выкладывать. Точнее, он их выписывает, когда, выбравшись из соседского погреба, на нетвёрдых ногах домой возвращается. А мастер Юй, кунгфуист и астральщик, гнул своё: про скоморошью перегуду и про русский боевой стиль «Любки», про марш-броски кержаков по Сибири, а беспоповцев — по Восточной Европе. А Ормо сказал, что заяцкие вавилоны — это окаменевшие змеи, которые греются на скудном соловейском солнце. Такой змей может проглотить тебя на зимний солнцеворот, а изрыгнёт на летний. А если не будешь идти посолонь, переварит без остатка. «Не оглядывайся, Эвридика, а то превратишься в соляные столпы Стоухенджа!» — икая, продекламировал секретарь. А Ормо сказал, что есть кладка, а есть сруб и раскол. И последним способом возведена была Выгская республика. А Яков заявил, что класть можно вприсык и вприжим. А Ормо сказал, что архангелы основали свой город, выстроив гнёзда-дома из собственных перьев.

Известняк — мёртвые души, спрессованные толщей тысячелетий жители древнего Сарматского моря. Тела их — цветные мелки в руках школьников, душа их расплескалась и высохла.

Попасть в лабиринты проще простого. Только как потом выбраться? Но мы и не пытались. Наши организмы — обезвоженные, изнурённые неожиданным в апреле зноем — жадно впитывали сумрачную прохладу, заключённую в сырой полусвод. Гулом гудящие, натёртые ноги вожделили забвения и покоя, и его дарил холодный, в запотевшем стакане, *Краскэ ку умэрь*, посредством этанола и энантового эфира напрочь вымывая из мышечной памяти последствия пятнадцатикилометрового марша.

Первый стакан, как в оный день, хозяин нацеживает себе. Стекло огранивается рубином, затягивается росной дымкой, а потом начинается движение: по часовой стрелке, то и дело возвращаясь к набухшей полсотней вёдер, молчаливой бочке. С каждым новым возлиянием творим агитацию, и откуда-то берутся микроскопические винные мошки и творят над стаканом «бочки», и «штопоры», и прочие фигуры высшего пилотажа. Хозяин степенно вторит речам про нашего Кандидата, однако, не забывает, из уважения, справляться у Китихи Дубовны. Молчунья безоговорочно соглашается, кивая всей своей тёмной громадой.

На дядю Мишу производит неизгладимое впечатление то, как Ормо строго научно, прямо у него на глазах, творит органолептический анализ содержимого стакана, раскладывая на составляющие букет содержимого его дубовой молчуньи. Он обнаруживает в генотипе виноматериала, упорно именуемого дядей Мишей всё тем же, знакомым уже *краскэ ку умэрь*, явное преобладание французского следа, а именно благородного Пино Нуар и даже реликтовые оттолоски Гуэ Блан — материнского сорта галльских винных плантаций. Какой маршрут привёл эту лозу на каменные склоны? Не зря немецкие виноградари прозвали её Шплатбургундер. Ормо предполагает извилистый путь чёрной шишки² с бургундских холмов, через долины Рейна, в телегах мозельских колонистов, выписанных сюда хлебосольно владетельным князем Виттенштейном.

¹ Каруца (*мол.*) — телега.

² Pinot noir (*фр.*) — дословно, чёрная шишка.

Отдыхая от кровавых сражений и армейской субординации, тульчинский фельдмаршал устроил в своей каменной вотчине настоящую вакханалию, где, при полном попустительстве сиятельного, наряду с Рислингом, Траминером и Чаушом, взрастали Гавриилиада, Онегин, Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и прочие декабристские кирджали.

Изъясняется дядя Миша на приднестровском украинском, но тут они с Ормо ненадолго переходят на молдавский, и уже спустя минуту, когда выныривают из полногласного журчания романской речи, видно, что дядя Миша уже напитан неподдельным благоговением к председателю нашего товарищества. Он сообщает, что как раз собирается в Окницу, на поминки по своей двоюродной тётке. «Се фачем *праздник*»¹.

Все дороги ведут в Окницу. Никто не собирается за деньги показывать свою мёртвую бабушку. «Вода мы маемо отродясь не пылы. Почуял спрагу² – спустился до пидвалу, опрокинул стаканчик. А уж в обид, за ужином – сам Кандидат розповивив. В предвыборной, кхе-кхе, программе». А потом, во многом с подачи Пино Нуар, пошли разговоры о политике, про выборы и чёрный пиар. Хозяин, жадный до жареных столичных сплетен про верхи и элиты, не обошёл стороной и горячие новости, которые дядимишина лошадь на хвосте привезла – о свежих нападениях монстра. Мы об этом ничего не ведали, так как с утра Варин интернет не работал, а все наши мобильники находились вне зоны покрытия. Ормо крайне этими вестями заинтересовался, даже переспросил дядю Мишу. Выяснилось, что монстр дважды со вчерашнего дня совершал нападения, причём, оба раза в Рыбницком районе – возле Попенок и под Строенцами.

– То есть, выше плотины... – тревожно проговорил председатель «Огорода», как бы вслух рассуждая.

– Ага, – с готовностью подтвердил дядя Миша, незаметно переходя на русский. – Именно что выше... У меня крестник в погранцах срочную проходит. Так кумэтра³ говорит, по тревоге подняли их, в ружьё. Есть подозрения, что это происки с правого берега. Контрабандист, на самой зорьке, пытался виллавы перебраться. Траву дурманную хотели переправить. Ванька, крестник, рассказывал, что такого страху и крику на реке в жизни не слышал. Наркошу – дружка этого несчастного, взяли, уже на нашем берегу. Так он в шоке, трясёт всего и заикается. Похоже, будто с катушек съехал.

– А шухер серьёзный... – веско продолжил дядя Миша, донельзя довольный тем, что такие убойные вести мы впервые узнаём от него. – Милиция в Каменке тоже на ушах. У меня, вишь, у кумэтры брательник в ПэПэСе служит. Так их тоже погнали по району... А в обед уже в Попенках произошло. Там уже туристы. Лодка кубырнулаась. Байдарка, чи шо... Тоже двое насмерть, и один – невменяемый.

Ормо услышанное от дяди Миши заметно встревожило. Он ещё раз, озабоченно, уточнил про очерёдность, места нападений, вслух обронив: «Значит, пошёл вниз...» Это не скрываемое его беспокойство передало остальным. Дядя Миша даже расстроился.

– Да вы шо!.. Сдаётся мне, шо це всё – враки... – принялся успокаивать прозорливый в житейских вопросах хростовчанин. – Накурятса дурманом своим, потом и мерещитса чёрт знае шо. Шо радисть: дьхають цей дым и хихикать потом, як тот з Костюжен? То ли дело – пахар де вин. От це дило... От покойная баба Домка, так вона воду зовсим не пила. Уси дни трудилась без роздыху, с малых годков – у колхозе. До войны звалса «Будённого», опосля – «Чапаева», а потом уже сгуртовали окницких с Грушкой – в совхоз имени Фрунзе. И полвека – и в Чапаева, и в Будённого, и Михайло Васильича Фрунзе, – во всякий день баба Домка на поле: кукуруза, пидсоняшникови, виноградники. Спыны не разгыбала. В обид тот нацедит себе, ей полкувшинчика, выпьют, закусят брынзой и кусочком мамалыги. Та тоди, увечери, колы воны повернуться до хаты, усталые, и полный уже кувшинчик. От це дило!.. Дид Гаврил бахчу охранял, всё нас, малых, попотчует арбузом... Выберет с грядки найбильш, хрясть его о каменюку, и самую серёдку вынет. *Душа* её заклыкал. От то чистый мёд! Девять дюжины рокив прожив, поховали третьего року. А баба Домка – е бильш мали, но туда же – под девяносто...

Выбрались на воздух, где Вара заявила, что надо срочно предупредить огородников, оставленных на плотах. Ормо был не против, только сказал, что ему обязательно надо побывать в Монастырище. Радист резонно заметил, что часть отряда во главе с Паромычем и, возможно, присоединившимся девчонками, уже, наверняка, в курсе происходящего и знают больше нашего. Но идею послать гонца Радист поддержал и тут же выставил свою кандидатуру. Ормо в принципе не возражал, только предложил, чтобы кто-то ещё составил Радисту компанию. Тут же вызвался я. Никто не был против, но Вара напомнила о том, что гонцы должны идти как можно быстрее, а лучше – бегом, и потому, поскольку Ормо не может, в Янтарное следует отправиться Радисту и Южному Юю. Против этих базальтовых доводов у меня аргументов не было, и потому я тут же возненавидел Вару и сопутствующую гоп-компанию.

Как только решение приняли, и наши гонцы, не мешкая, умчались в путь, вождь огородников тут же успокоился, и следом, понемногу улеглись и тревоги остального товарищества. Опершись на каменную кладку забора, Ормо вдруг вспомнил историю возникновения одесских катакомб: жемчужи-

¹ Делаем поминки (*приднестр.*).

² Жажда (*укр.*).

³ Кума (*молд.*).



на у моря, основанная всего на два года позже Парадизовска, под сенью налоговых льгот порто-франко стала стремительно разрастаться. Ракушечник для строительства зданий добывали там же, можно сказать, под ногами. Мускулистый младенец жадно вгрызлся в каменный творог, кости твердели и крепили. А в подземелье вырос запутанный лабиринт, размерами равный лежащему на поверхности городу.

После марша и погребя дяди Миши язык молчуна-председателя развязался. Он поведал о героической подземной герилье партизан против немецко-румынских захватчиков, о наличии благородной ярости и об отсутствии воздуха и воды в катакомбах Нерубайского, Усатова и Куяльника, об отрядах Калошина и Солдатенко, дравшихся насмерть в подземельях Молдаванки, о Пынте, фашистском наместнике приморской столицы Транснистрии, спасшем от гибели сестру маршала Тимошенко и тем самым сохранившим себе жизнь, а также о тех, кто жизни свои не сберёт: о павших смертью храбрых – Владимире Молодцове, Якове Гордиенко, об Авдееве-Черноморском, который пустил себе пулю в висок, чтоб не даться живым в руки врагов. Ему выбило глаз, и он остался жив, но потом раскроил себе череп о стену фашистского госпиталя. Стена была выложена из понтийского известняка – карбоната кальция, способного в воде разлагаться на углекислый газ и основания. А ещё, в результате метаморфизма, известняк превращается в мрамор.

Речь Ормо становится всё более метафоричной, его сообщения обретают черты со-общения. Припоры и плахи одесских катакомб подмывает кровь героических партизан, косяки не выдерживают и рушатся, погребая винные пятна и отпечатки каблучков курчавого гения на полу подвалов светлейшего князя Витгенштейна. Цитадель Кицканского монастыря, подобно граду Китежу, погружается в пучины Пино Нуар. В багряном и флуоресцирующем сумраке вопаряется директива молчания Людвиг Витгенштейна, и реет, привольно и скучно, над беспредельно немолтвующей гладью исихазма, дух одиночества.

Одиноким молчавшим я видел Ормо только в истоках пути. Первый раз – в Хрустовой, после возлияний в глубоченном погребе дяди Миши, после путающих багровыми отсветами новостей про Днестровского монстра и рассказов про подземные битвы обречённых, но нестигаемых герильерос.

Наступил тихий час – время, пока дядя Миша занимался курицами и свиньями, кормил, и поил, и расчёсывал смоляную гриву своему серому, в чёрных пятнах, Орлику перед поездкой на Окницю.

Огородники, сморённые маршем и вином на голодные желудки, недвижимо дремали, где попало, по двору – этаким сад беспробудно-мертвецких камней, обнесённый оградой из понтийского известняка. Мысль о Таисье томилась, мучила и жгла, и от этого мне не спалось и не сиделось. Я вышел за каменный круг и увидел Ормо. Упёршись локтями в колени, он сидел в отдалении, возле большого валуна, в виду тёмно-серой полосы безлистого пролеска.

Приблизившись, я вдруг разглядел, что глаза его закрыты. Выражение его лица было настолько безмятежно, что я, поразившись, уже развернулся, чтобы ретироваться. Но он сам меня окликнул.

– Нагрелся за день на солнце, как сковородка... – услышал я его голос и остановился, так и не решив, стоит ли подойти к Ормо. Помешаю.

– Надо будет попытаться отговорить Южного Юя... – вдруг тихо произнес он.

– От чего? – не вытерпев, спросил я.

– Он бьёт деревья и камни... – сказал Ормо.

Голос его долетал прозрачным, начисто лишённым каких-либо интонационных оттенков, обертонов и прочих-иных модуляций.

– Набивает руки и ноги... Использует в качестве «груши» стволы деревьев и камни, – проговорил Ормо и вздохнул. – Это, конечно, позволено, но вряд ли полезно. Во-первых, ему ещё рано. За набивку следует братья дана с третьего. А, во-вторых...

Он умолк и сказал спустя паузу:

– Франциск говорил с животными и растениями, а учился у камней...

– И чему же он... учился? – глупо усмехаясь, тут же угодил я в ловушку, расставленную незаметно и походя.

– Молчанию, – ответил Ормо. – Лезть с разговорами к очевидцу второго дня творения недалеко-видно. На это способны только досужие репортёры. А беднячок из Ассизи был не из таких. Он понимал: монолог монолита жаждет внимания. Базальт или – вот, известняк... может услышать лишь умное сердце. О чём мыслит тот, чей вдох измеряем археем, а выдох – протерозоем? Он может поведать, к примеру, о встрече Гондваны с Лавразией, о безбрежном Тетисе... Или помыслить о дне грядущем... о единой семье Попеи Ультимы...

Это что же за бред: в томлении зноя и жажды искать море, скитаясь по дну его?

Второй раз, созерцающим, я застал его в Окнице. Нельзя сказать: праздник близился к концу, ибо это предполагает границу, а её как раз и не наблюдалось. Хотя где-то она таилась: в диффузных разводах-ватерлиниях, итоговых и множасьихся, бесконечных бордово-чернильных сфумато, когда я, не соображая и не помня, шкрябал фарфоровой чашкой по эмалированному дну, пытаясь зачерпнуть



ещё, а потом, бросив щетку и кану, принялся пить, припадая к краю, прямо из ведра, как первобытно-неотёсаный скиф.

В древности дозорные разжигали на Моисеевом кургане костёр, оповещая жителей села о приближении турок или ногайцев. Зубец алого марева оплывал, стекая по кургану, словно по стенке чаши. Каменные сопки со всех сторон окружают Болганскую долину, на дне которой сокрыта Окница.

Маковейная синева цедилась в кану, всё гуще замешиваясь с багряно-чернильным потоком, лившим в меня из ведра, и в ней растворялись бордовые мошки, заодно со своими неужёмно-воздушными пируэтами. Я пил из ведра и черпал гостям, которые разбрелись кто куда по сиреневым сумеркам, и растворились, оставив миру Болганской долины свои голоса. А Агафон напился в дымину и что-то бубнил Антонелле на ухо и силился декламировать стихи:

*Кровь преврати в вино и в тёплом чане
Подай к вечеру, ушками звеня.*

А она не стеснялась смеяться в голос, потому что являла лишь угольный блеск своих жгучих зрачков, укрытая гущей, лоснившейся шерстью ньюфаундленда. А Ормо попросил дядю Мишу показать ему дорогу к Монастырищу, и Антонелла вдруг вызвалась быть проводницей. И дёрнула же нелёгкая Ормо тащиться на гору на ночь глядя. А Агафон вдруг зарычал, замотал головой, будто раненый Минотавр и начал, икая, скандировать, беспробудно и зло:

*Упрямую да одолею шею,
Да придавлю её к земле ногой!..*

В чернильной мгле раздаётся бульканье. Голос дяди Миши бормочет, что бабушка Домка, наверное, радуется: *праздник* сделан, как полагается. Все, кто жаждал, напились. Дядя Миша подходит с фонариком. Свет выхватывает Ормо. Опершись локтями в колени, он сидит, прислонённый спиной к огромному, лежащему поодаль камню. Непонятно, он спит или терпеливо, с бестрепетным выражением на лице, ожидает вожатого. Агафона, ступающего неуверенно, уводит прочь Антонелла. Она поддерживает его, словно медсестра – раненого бойца. Они исчезают в темноте. Оттуда доносится:

*И кану в Кану, кану в Галилею,
Непреткновенный, шумный и нагой!*

Я, пошатываясь, пытаюсь опереться о стол. Отыскав точку опоры, медленно и сосредоточенно припадаю к самому краю. От ведра становится ведро. «Душ для души» – слышу в уме собственную речь. Она эхом спускается вниз по реке, отзываясь биением сердца. Окна течёт в океан. Мглисто-зелёный поток речного сознания впадает в Галилейское море.

ДЖЕЙМС ЭЛРОЙ ФЛЕКЕР

перевод с английского Анны Стреминской

ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В САМАРКАНД

ПРОЛОГ

Мы наполняем песнями долгое время похода
и клянёмся: жива Красота, хоть лилии умирают.
Мы – Поэты гордого древнего рода
поём, пленяя сердца, для чего – не знаем.

Что мы поведаем? – Сказки, что чудесами богаты
о звёздах, и островах, где люди добры, и запахах
никогда не вянущей алой розы заката,
где дуют ветры и тени смотрят на запад:

Там величайшие в мире седые спят короли
в землях туманных и сны их шёпотов полны.
И стебли плюща так близко возле сердец пролегли –
сами свой путь пресекая, медленный, красный, тёмный.

2.

Чем развлечём вас? Смерть не знает покоя
темнее и горячее, чем песка восточного ад,
что сокрыл красоту тех, кто сердце имел золотое,
кто совершил Золотое Путешествие в Самарканд.

И сейчас они ждут, белее самой чистоты,
те победители и поэты, что были подобны царям.
Они знают: время приходит – не только лишь я и ты,
но весь мир забелеет вскоре и здесь и там.

Когда протяжные караваны, что переходят равнины
шагом неустрашимым под колокольчиков звуки,
больше сил не потратят для славы или рубинов,
больше не будут оазисов ждать, как спасенья от муки.

Когда большие базары зальёт водою морской,
вдруг все утихнут в Воскресный день, что будет длиться в молчаньи.
Когда все любовники наконец обретут покой,
и Земля будет только звездой, какой и была первоначально.

ЭПИЛОГ

(возле ворот Солнца, Багдад, в давние времена)

Торговцы *(все вместе)*.

Вперёд, мы готовы в путь неустанный!
Наши верблюды вдыхают вечер, они довольны и рады.
Веди нас, о Предводитель каравана,
веди нас, торговых царей Багдада!



Главный торговец тканями

Разве мы не имеем индийских ковров, что темней вина,
 турбанов, лент, покрывал, не говоря уж о поясах,
 и вышивок, где вязь узора видна,
 и драгоценных тканей в больших тюках?

Главный бакалейщик

У нас есть розовые сласти, масла имеем пахучие,
 мастику и дерево терпентинное, у нас и пряностей много.
 И в маленьких кувшинах варенья самые лучшие,
 что вкушает в своём раю Пророк Господа Бога.

Глава евреев

Есть у нас манускрипты в цветистом стиле
 Али Дамасского, и вы знайте –
 мечи чеканные, на которых аисты и крокодилы,
 и искусно кованные ожерелья для знати.

Предводитель каравана

Но кто там путь преградил? Грязнее
 я ничего не видел – этих бород и платья.

Паломники

Мы – паломники, господин, пойдём мы за вами,
 всегда в отдалении, и там, быть может,
 за той голубой горой, что одета снегами,
 за бурным морем иль за мерцающим то же,

седой, на троне, или в пещере со стражей,
 сидит пророк, у которого есть талант
 понимать почему появились люди: и, конечно же, мы отважны,
 те, кто совершает Золотое Путешествие в Самарканд.

Главный торговец

Нас мучает гвоздь нетерпенья. О, Предводитель, веди!

Одна из женщин

Вот дети твои стоят, сюда обрати свой взгляд.
 И разве Багдад не прекрасен? Не уходи!

Торговцы *(хором)*

Мы идём Золотой Дорогой в Самарканд.

Старик

Разве ваши дома не украшены жёнами и цветами,
 разве в слугах ваших сирийских есть какой-то изъян?
 Бог не любит бродяг – так не довольно ль исканий?

Торговцы *(хором)*

Мы совершаем Золотое Путешествие в Самарканд.



Паломник с красивым голосом

Сладко идти вперёд вечером от источников,
когда тени движутся рядом и каждая словно гигант.
И мягко сквозь тишину раздаётся звон колокольчиков
вдоль всей Золотой Дороги на Самарканд.

Торговец

Мы путешествуем не только ради наживы.
Горячие ветры странствий настроили нас на свой лад:
жаждой познать, что познать не дано, мы живы.
Мы совершаем Золотое Путешествие в Самарканд.

Предводитель каравана

Открой ворота, о страж тишины!

Ночной сторож

Да, странники, открываю. Ради каких дальних стран
вы оставляете наш город туманной луны?

Торговцы (*громко*)

Мы совершаем Золотое Путешествие в Самарканд.

Караван проходит через ворота.

Сторож (*утешая женщин*)

Чего вы хотите, женщины? Так было всегда, как сейчас.
Мужчины так безрассудны, они не знают преград.

Женщина

Они любят свои мечты и не думают вовсе о нас.

Голоса из каравана (*издалека, поющие*)

Мы совершаем Золотое Путешествие в Самарканд.

ПОЭЗИЯ КРЫМСКИХ ХАНОВ
в переводах с крымско-татарского Сергея Дружинина
(г. Симферополь, ум. 2003)

**ГАЗИ ГЕРАЙ ХАН II БОРА
ГАЗАЙИ**

(1554-1607)

ГАЗЕЛЬ

Моя любовь, моя судьба, спаси от мук, храни от ран.
Мой милый друг, моя душа, лишает сна твой нежный стан.

Ты, как цветок, и так нежна, как ветерок, и так верна.
Собой княжна, лицом – луна, стан – кипарис, дом – Гулистан¹.

Лицом – Лейла, устами – мёд, во взоре – лёд, огонь в речах,
Ресницы, брови как клинок, кинжал – глаза, коралл – уста.

Розарий – лик, прядь – базилик, глаза – гроза, уста – нектар;
Несметный клад, бесценный дар, тебя мне сын Аллах послал.

Душа болит, глаза горят, течёт слеза – разлуки яд.
Прости меня, мой падишах, не зная сна, тоскует хан.

Когда тебя несёт твой конь, мужчины стелятся травой;
Когда по ним скользит твой взор, они как пыль, что льнёт к ногам.

Глаза – в слезах, душа – в крови, бальзам её не исцелит.
О, Газайи, найди Сезам, верни любовь, прости обман.

¹ Гулистан – сад роз.

**МЕХМЕД ГЕРАЙ ХАН IV СОФУ
КЯМИЛЬ**

(ум. 1674?)

КОШМА

Суть мира постиг и меру познал.
Хвала, я Тебя в себе понимаю.
В портале познания тайну узнал.
Дадут – не возьму владений Османов¹.



Всевышний вращает колёса судьбы.
Их тайные ходы глазам не видны,
И тайные смыслы умам не даны,
Создавшего мир из частичек тумана.

Беспечный, очнись из небытия,
От вечных мучений избавишь себя.
Творец из земли, воды и огня
Создал твою душу и плоть без изъяна.

Не будь же беспечен, всё сущее – дар,
В руках Азраила² смертельный отвар,
Он душу любого продаст за товар.
Судьба человека собьёт и обманет.

Приди же, Кямилъ, покрывало сними.
От раны ослаб, но её не кляни.
Создатель воздаст, ты печаль оттони.
Пусть имя одно, но щедрот – океаны.

¹ Османы – правящая династия в Турецкой империи.

² Азраил – ангел смерти.

АБДУЛЬАЗИЗ АФИФЕДДИН АБДУЛА ИЗЗИ

(1611-1694/95)

ГАЗЕЛЬ

Сам в себе я мир печали и мученья отыскал,
И, в аскете обманувшись, лишь сомненья отыскал.

Но Господь меня наставил, и я сам пришёл к себе.
Сам себя сравнив с землёю, я прозренье отыскал.

Но себя сравнив с землёю, лишь умножил мир страстей,
Множества ж соединивши, просветленье отыскал.

Как диковинная птица в сеть Аллаха возжелав,
Так с силках в Любимым слиться я стремленье отыскал.

Отказав влеченьям тела, я уверенность обрёл.
Мир страстей преодолевши, назначенье отыскал...

Если нужен сам себе ты, сам себя ищи в себе.
«Кто познал...»¹, аскет, завета я значенье отыскал.

Иззийя, себя нашедши, ты в себе узнал себя.
Сам в себе своим мученьям ты лечение отыскал.

¹ «Кто познал...» – начальные слова хадиса Пророка Мухаммеда: «Кто познал себя, тот познал и Господа своего».

АШИК ОМЕР

(1621?-1707)

СЕМАИ

Шека-бутон, речь соловья,
 Душа тебе не скажет «нет»;
 Я нищий раб в твоих дверях,
 Душа тебе не скажет «нет».

Глаза в слезах, но медлит друг,
 Лекарства нет от горьких мук,
 До смерти, что наступит вдруг,
 Душа тебе не скажет «нет».

Любовь мою храню в себе,
 А душу скорбную – в тебе.
 Пока хожу я по земле,
 Душа тебе не скажет «нет».

Пока душа и плоть – одно,
 Пока не пуст мой ветхий дом,
 И жив Омер в жилище том,
 Душа тебе не скажет «нет».

ХАЛИМ ГЕРАЙ СУЛТАН**ХАЛИМ**

(1772-1823)

Светило дня в краю любви – это мы,
 И падишах в краю любви – это мы.

И для очей Вселенной мы – как сурьма,
 Мы – эликсир, и пыль любви – это мы.

Ты посмотри на эту плоть с сотней ран,
 Сад нескончаемой любви – это мы.

Мы – утешение и слава любви,
 Источник гордости любви – это мы.

С возлюбленными мы играем подчас,
 Повесы пылкие любви – это мы.

Как пузырьёк в стекле воды родника,
 И в нём весь океан любви – это мы.

Как пери локоны свои разбросав,
 Так дервиши в краю любви – это мы.

Из мира, что незрим для нас, как Халим,
 Вселенной этой дар любви – это мы.

ИРИНА ДЕЖЕВА

СОНЕТ В ЗЕРКАЛО

эссе

Будешь сидеть на берегу, рассматривать коней в волнах... Началась новая эра – Черноречье. Мне нравится твой уголок рта. Так растекается часообразное, человеческое, нутро. Или ты в косынке, праздное, необязательное. Кому?.. Я в дырке лампы, стремительном мусоропроводе и пластиковых объёмах. Прости, не могу приобнять и смахнуть ресницу. Тебе вздёрнуться, мне подождать. Странный случай: жить статуями, не заходить два часа, воркотня, варение, и ничего – пусто. Как?.. Пыль и заразный век. Мои овраги.

Что в любви, что без – грохот, промасленная тарелка небытия. Только не печалься, песня – маленькая правда, в горошке шнура обнаруживается... Сколота боль. А где ты? В обносках вечного. А как ляжет тот рубашечный перегой, забудется галстук? Ещё нравится твой профиль, громкий, узкий, я люблю его вечером, поздние бабы, салют. Зачем пялюсь в заученные файлы? Кого я видя смотрю? Плачь, сонненький, устану позже. А вообще ты красивая, волосы вьются, и глаза... глаза особенные... без выпечки. пишется. зимнее.

Сыграй мне, девочка
Овсяночку в саду
Отставший пуск
Остывшего состава
Забитую улику провансала
Дырою отпустивших
Хруст подержанного
Всхлип надпивших похвалу
Спусти мне, деточка
Прижавших правоту
Оставивших судьбу на повороте
В затылок греющих, в губу малька
Лоток и новостройки, быт
Сокрытое, пропудренное, жду
Кило луча, ведро воды
В Николином сердечном гроте
В маленьком театре
Питерский горчичник
Жми кровицу
В перчатках пушенную в тьму
Так мы слонялись
Пустотой монеток
Пушей загорелых плюшей
Возместив возмездье
Не разговев счастье как люблю
Тот тыльный замок взяв
И смольный жест
О, лаковые ходки кроткого и иже крохких
Свирь нутра
Моя вода уходит в гарь вокзала
Кашей бра на лакомом ходу
Мольбой сверчащей:
Куда же ты
Планет серпом
Родимая
Пропала?



Я мало помню, без плодов, уже взрослая, нарративно (е.его.в...) понимаю твою пасмурную амурность, но верю как в обещанное — никому, никогда. Зачем-то (станционнно) разговариваю. Дух тереблю. И два стакана, и где трубка? Ох, надёжный взгляд в окно, цвет зрачка, описанный ангелу. Конечно, я догадываюсь, где ты, но психейный разговор настолько бесконечен, что порой стыдно. Целуемся.

Изначальное одиночество на севере вообще непереносимо. Голодные все. Псы невыраженные, керамические совы. Научили, но необразованные. Потому в глухих военных постелях, наговаривают, заставляют веселье, не живут. Как все, щёлкают. Надеются. Представить твои линии равно сходить в магазин и постепенно с ума. Напоследок ты обнимал крашенку, танцевал в чёрном, никогда до. Наверное, мы пересеклись в любимом. На верное, мы чудесно влюблены. И скоро, и нет. Девочки, вычеркнутое, кожаная почтовая ёлка. Ещё стрянут в памяти пальцы, камышовые прямоугольнички. Ты в шляпе, белокурый наклон, по-украински сподиваешься. Тихо спит звук, но мы этого не умели... Здесь бесцветные стены. Никто не рисует. Всё одинаковое: обычность дел, необычность мыслей. Мне подобен срез.

Перед лицом арки
 Съедающей судом насквозь
 Я спроповедую потерю
 Прасезонной капли
 Промокая сыром ореховую слойку
 Пятаками адреналина
 Разрешая соски
 Языком из глазниц
 Мальтийского наста
 Перебирая слухи
 Остывших пилястр
 Масличной дамой да в морозильную койку
 Марочному вдохновению
 Отверзая виски

Стоило вслух позвать тебя ласково, прыгать на островке, как все внедряли в упадке споры. Завязь — гладь заразы, когда тучно солнце и заводится овца. Упрёк княгинь либо прихоть черни. Се требует буйный рост? Пользовать второй категории бумагу не есть польза, лишь утерянное должество. И стержень селится нынче по кристоллампам. И потерянним неведомо убожество, лишь увеличено волшебство. Так терпите, перепугавшие Мазоха с Христом; Защёлкните щель в мои покои. О!кружно. Примачиваюсь к детскому, краду духи. Как в том доме калейдоскоп под пыльным диваном — мельчайший в моей коллекции. Что толкнуло туда заглянуть, не знаю до сих, зрелая.

Мама, я на грани твоего непонимания
 Мама, кругом безысходные люди
 Мама, сделай мне подарок
 В виде каймы на синхронном блюде
 Мама, в мою нишу опять пробирается ветер
 И глаза всё глубже стрянут в пятилинейном асфальте
 Мама, я знаю, как ты хочешь
 Чтобы я попала в новое тысячелетие
 Но у меня странные вены
 И перепугались слайды
 Мама, сегодня все проходимцы на меня смотрели
 И я шла под дождём — мимо градуса света
 Мама, я всегда буду знать, с кем я
 Но тупик приходит как осень...
 И я умру, когда масло кончится
 Где-то

Ещё люблю шею. Бесцветную и мягкую, как шафран, породистую изнутри. Прятаться в стволе — значит узреть своё дерево. Цветущая, отзовись. Будешь заходить в мой дом, разговаривать с кактусом Петей, возвращать сердцу пенью. Как после выстрела — всё сужается и неумолимо течёт. Ничего нового. Я в кирпиче уже, трубах и заливе. Матрац вместо тахты, графика вместо живописи, компьютер вместо тетради, хотя черновик, черновик всюду, счерна набело шествуешь, так всегда. Соседи окупают сущность волосами, сравнением, предметным, предлагают рвать что-то без вранья. Очень тяжело мне это, бегу тягостно из простого мир(г)а тьмы. А ведь это и твоя стая. Все ли там вожаки, милый? Не за столом, где придётся, можно и в голове, там всё можно, но устаёшь, хочется прикоснуться, например, к тебе. А утром. Утром. Незыблемый женский ранжир: приглашение к овсянке. Или я варю чай, вообще, когда-то было, забвеньё ускользает в поворот ключа. Мы умеем.



В небе твоём сплывая стая
 Фреска я в нём — дыши
 Белым бидоном чиркни поэм
 О ножны сплошной души
 В жреческом тамбуре для некурящих
 Выплывь чечёток большие носки
 На Безымянном я буду стараться
 Мокрой тряпицей о все кирпичи
 Жадная, жалкая стая
 В сон заправлять воротник
 Злотых бледнеть под заим
 Вече и -ы— забыть
 Кто в твоём небе
 Мне только узнать бы
 Глянуть на ветки
 Заварку потрянуть
 Течь из зелёного зимнего платья
 Риском и воском в топлёную грудь
 В воле твоей — шёпот и дружки
 Гончих орлов самцы
 Набожный чай, перемёрзшие кружки
 Бой и конверт весны
 Сладкий морозец
 Дрогнули лапы
 Вальсы? стена? овраг?
 Игр и простуд напоследок унять бы
 Запах — фасоль, табак
 Бедная, терпкая стая
 Скорость менять на лик
 Долго медово взлетая
 Сном опрокинуть вскрик

Кольхнуло зычный пех цивилизации. Всплывают и тонут связи. Маятник переспел — к реке! Нечто вяжущее людей боли, поздно или рано. И бани, и обряды, всё преходящее по месту. Люблю взгляд. Умеренность, красота, надежда сесть на кол собственных иллюзий. Секундочки влаги, и снова капюшон, длень. Так пестуют житейские обрывки, типа тётя, Д-жуан, недомашние коттики... Странная эра. Готовится ворвать и оттолкнуть, объютить и натереть перцем. Голод завидует, любимая, как пукнувшая свирель. Да, мы похожи на загнанных пере-я-славцев, даже на расстоянии неудобных карт не послабляющих дугу. Вредно на подтаявшем льду, легавым и сумняше. Люди кожей в одиночество пристальны к деталям — где яблоко? как ухо? Но всё теряемо на берегу, преходяще без пыли.

Рай белёсый
 Возле речки
 Там, где крутится звезда
 Где усиле без уздечки, без самца
 Подымает пламя зюйды
 В хлев охотится заря
 Пощади меня, мать Юга
 Краснокожего пера
 Петь отпетым, звать соблазны
 Рвать, где лаской наплела
 Золотую, в два куплета
 В дни слепленья, крюк тепла
 Просмотрел цыганский голос
 Партизанской кожей
 Как улов по коридорам
 Разряжает водопой
 Угль луны ползёт в обратку
 Зуд секвойи с локотка
 Заруби, душа, в кроватку
 Спит на камешках пока...
 Рай белёсый
 Возле речки!



Антитезы порочны. У матери нет желаний. В четырнадцатую воду зайти что канал оборка твоим холопкам вырвать гвоздь. Отец Валентин изучал фото, говорил – тройное проклятие, и много лет, перебирая лица, поочередно прощать ученье, где выругали, где затылком плеснули, снятся потом в дружках, во сне прощены, а в плоскости – мелкотня, колотит. Идешь к источнику – там стадо. И всё это, любье, в символическом шатре, гроны Вселенной мучась, прощаешь... Протопоп! Погреемся на полке. Пожнём матушку в костяшках бытия. Мне нравится твоя растерянная дрожь и невидимое отрешенье, разлитая вода и бабушка. Правда неумёхи – отбегать, но я так сладко тебя прощаю, так... Так хвоя блестит – будешь фотографировать.

С общего к участковому
Из грота в устрицу
Анст, смотри!
Серафимские повести
В ожиданье весны
Сына набожного, как калина
Сына, выбравшегося в леса
Без гонца присылая силу
Без свидания, письмеца
С перьями холостыми
В ручей молочный
Железой в пустые адреса
Ты летишь
Тихонечко пророчишь
Про свои повитые дела
сил
Сына, набожного, как калина
Сына, выбравшего небеса
Клюйте, обские серафимы
Как сосками первая сосна

И вот праздник. Душа камня пустила гладь. Мы не знаем, куда деть катушку. Прodelи философов в непередаваемое Шато. Норки побелили, боимся вонять не помняше. И я в памяти уже восковых стрекоз, сердечных переулков акварели совершенной зрячести, столбов ома. Кручу твой танец в набожных кедях. Дарю собой, и отвечаешь, или оптической прописью, горким родом или принадлежностью чуду. храним. волос сонета смекает грудь. успокоишься принося разуменье вместо. всего краше. театральных сопок отступая брешь. овец выращивая только радуясь, любимый. белому. прославному в Уллортунек!

Держишь себя холодком, потомком
В стане матери
Не за что ухватиться
Руки – швы на побегах
Кого ещё младше быть
Верфи табличек на слог иконка
Зреешь пострелом
В любви объясниться
Взгляд – скользкий каркас
Километров тайги
Видишь, как просто, жарко, пусто
В суме прищельца
Менее корюшки, чем судьбы
Маленький мой, проездной Заратуштра
Кляп – это Солнце
Лязг одиночества, пляска в груди
Веришь за так
Аноним, безъязыко
Грешь на камне Зевесовый прут
Матушка, дай, иль возьми, и прости-ка
Я притягаю
Мне только уснуть
Под руку – прочное, всеу, ославься
Нет или да, нет или да
Как не художнице
Кольца промаслив
Яблоком только
Тобою когда?

ФЕЛИКС ПОДГАЕЦ

НОСТАЛЬГИЯ

очерк

Многие представители старшего поколения откровенно скорбят по советским временам. Да и я, правду сказать, с особой теплотой и нежностью вспоминаю конец восьмидесятых – начало девяностых годов.

Я тогда работал в одном НИИ, которое доживало последние деньки. Возня со всякого рода мегапроектами вроде улучшенной модели шагающего экскаватора теряла всякий смысл.

Все сотрудники нашего отдела с нетерпением ждали перерыва на обед. Оставив в качестве прикрытия безгласную чертёжницу Таню, мы, не стовариваясь, дружной ватагой выступили в поход за углеводами, белками и жирами.

Если речь зашла об углеводах, в которых предполагается наличие энного количества витаминов, то выбор у нас был не особенно велик. На продовольственные рынки нам, итээровской братии, с её более чем скромными окладами, путь был строжайше заказан. Оставались магазины типа «Фрукты-овощи». А что они, собственно могли предложить, кроме проросшего картофеля да буряков с морковью, достигших последней стадии увядания?

Впрочем, нас, молодых, в первую очередь интересовали белки. И не просто белки, а незаменимые протеины – то бишь мясо.

Уже на подступах к гастроному нас встретил длиннющий, наподобие анаконды, хвост очереди. Разумеется, ни о каком нормальном завершении рабочего дня не могло быть и речи. Выбор был таков: либо, придя домой, лечь спать, аккуратно положив зубы на полку, либо стоять насмерть в ожидании своей доли «мясопродукта». Разумеется, мы выбрали второе.

На улице надежда в наших душах едва теплилась. Ведь в любой момент из недр торгового чрева могло прозвучать роковое: «Мясо кончилось!» Но стоило нам втиснуться в помещение, как надежда снова обрела плоть и кровь. А всё потому, что сквозь всевозможные запахи струдившихся в ограниченном пространстве человеческих тел до нас донёсся едва уловимый аромат мяса.

Как обычно, у прилавка выстраивались две неравные числом очереди: справа – томившаяся в неровном ожидании основная масса алчущих и слева – куцая цепочка инвалидов. Но когда к последней присоединился новый кандидат на получение пайки, из груди очередников справа вырвался глубокий прерывистый вздох. Ведь это означало, что каким-то пяти страждущим из основной очереди мяса может не хватить.

Особенно запал в память один случай. Мы, итээровцы, уже вплотную приблизились к заветным весам, и доставали кошельки, когда в дверях торгового заведения появилась некая худосочная личность. Ноги у молодого человека заплетались, руки беспрепятственно жестикулировали.

По мере приближения к прилавку тело этого «гуманоида» всё более изгибалось, пока не приобрело форму буквы «S»; движения рук и ног становились всё более хаотичными и размашистыми, лицо исказила гримаса безумия, а глаза должны были вот-вот закатиться.

Естественно, мы были вынуждены отступить. С проворством, которого никто не ожидал, этот «пришелец» захватил важный плацдарм. Затем неуловимым движением руки достал откуда-то и вручил продавцу довольно крупную купюру. Тот, не приходя в сознание, взвесил ему двойную пайку...

Все присутствующие, как «левые» так и «правые», были настолько ошеломлены наглостью ловкого пройдохи, что никак не помешали ему покинуть торговую арену и смешаться с толпой на улице...

Да разве такое забудешь?! А вы, нынешние, недоумеете, откуда у нас, стариков, ностальгия по тем безвозвратно канувшим в Лету временам.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

АДАМОВО ЯБЛОКО

повесть

Часть II

1

Я вошла внутрь с ощущением неловкости. Словно только что бывшая мной я, вдруг оставила меня, не пошла дальше порога этого дома, и тоже я, но уже другая, тихо, почти неслышно скользнула в дверь. Власта осталась в машине возле дома ждать моего звонка, чтобы, если надо, прийти на помощь.

Здесь было всё так же. Это снова был миг жизни без вчера и завтра, миг как застопорившаяся патефонная пластинка из музыкального музея.

Навстречу кинулся Сиенна и, водрузив мне на плечи тяжёлые лапы, радостно забил хвостом. Он, вероятно, решил, что теперь всё будет хорошо, и я не буду уходить так надолго. А может, пёс пытался донести мне свою собачью истину, что дома всегда лучше. Чтобы убедить меня, он взялся играть с собственным хвостом, пытаясь ухватить рыжую метёлку зубами.

«Собаки как люди, тоже играют в игры», – подумала я, уже оттородившись от недавнего тяжёлым бархатным занавесом. Даже казалось странным, что так легко и быстро сменились декорации. Из полуоткрытой двери Джимовой спальни слышалась гитара. Похоже, что Джим не очень-то и переживал из-за нашей стычки. Всё-таки, может и правда, виновата во всём я сама?

Нужно, наконец, поговорить.

С выражением наигранной беззаботности я заглянула в Джимову спальню. Там было не убрано, сумеречно и пусто. Джима не было. Только внутри стереосистемы возле кровати кто-то опять громко ударил по гитарным струнам и забренчал аргентинскую милонгу. И я опомнилась. Время – почти полночь! Джима нет дома. А где он? И почему? Тут же всплыла моя собственная обида.

Ведь это он, а не я устроил из дома крепость. Ведь это он, а не я, оплатил тысячный счет за диадему какому-то «прототипу». Он, а не я ездит на спортивном «Понтиаке».. И он, а не я останется в выигрыше, если мы разведёмся. Потому что по контракту этот дом его, а не мой. И живу я здесь только, пока живу. Я вспомнила, что Власта всё ещё ждёт моего сигнала в машине.

– Власта, подожди. Я – сейчас!

А завораживающие ритмы сзади меня уже вертели мамбу, и звучала она как фейерверк. Фейерверк в честь моего решения.

Я люблю американские ночи. Они здесь польхают таким каскадом огней, что кажется, это не город по бокам фривеев, а гигантские диадемы, украшающие его бетонную голову. И люблю эти наркотические запахи призрачно польхающих магнолий по склонам. И скорость тоже люблю, когда машина несётся с почти предельным показателем на спидометре, и кажется, что ты не в салоне автомобиля, а в Боинге.

Но Джимов офис располагался совсем рядом, и не было необходимости жечь бензин.

Мы припарковались за углом, скрытые цветущей азалией. И я, подбежав к небольшому полусвещенному входу, осторожно толкнула не запиравшуюся обычно до полуночи дверь. Кроме всё тех же компьютерных коллажей на стенах, в холле было пусто. Лишь откуда-то из его глубины доносились замысловатые звуки, принятые мной сначала за свист электрического чайника. У нас на родине в студенческой общаге я слышала нечто подобное не раз. Потому что обязательно кто-либо из недостаточно сознательных забывал о собственном первоначальном намерении, переключаясь на что-либо покрепче да позаковыристей в ущерб коллективной собственности. И тогда чайник выходил из себя, плюясь и взвизгивая до тех самых пор, пока свисток не выхаркивался.

Человек хочет счастья. Любое своё действие он проворачивает с мыслью – хочу! Хочу счастья. А счастье может представляться как в образе человека или животного, так и конкретного предмета. Или даже абстрактного понятия, вообще пока не принявшего какую-либо форму.

Ни один из нас не собирается ввести себя в круговорот проблем, которые принесли бы их ещё больше. А в итоге, если посмотреть глазами постороннего – всё наоборот. Никакого счастья человек



не добивается – он себя осознанно гробит. Он проигрывается в карты, он курит, он пьёт, он рискует самым насущным ради какого-нибудь журавля в небе, в то время как синица в его руке, устав ждать, улетает куда-нибудь за моря-океаны в тридцатое царство. И тогда человек начинает биться как в паучей: Пач-чему, ну, пач-ч-чему и синица от меня улетела. А ведь я так к ней привык. . .

Ну, не то, что я уж очень бы нахомутала, потеряв синицу в образе хазбенда, но сам факт последующего действия потом долго не давал мне покоя. Потому что было это самое настоящее преступление, караемое кодексом. Не знаю, как американским уголовным – всё-таки я была совершенно официальной женой и имела право абсолютного доступа к его кошельку. Но по этическим, именно этическим нормам это было, безусловно, недопустимо. И если Бог существует, он наверняка вклеил бы мне единицу за то испытание. Мотивация была всё та же – хочу! Хочу машину!

Оглядываясь и поминутно пугаясь, я тихонько, почти на цыпочках, всё же отважилась пробраться к дальнему кабинету, откуда слышался загадочный свист.

Нет, свистел не чайник. Чайника там вообще не было. Зато в мокрой луже на рабочем столе, являя собой собирательный образ всех пьяниц, теперь и у хазбенда, как недавно у меня, возлежала бутылка. Но уже джина. А в удобном кресле, раскинувшись, совсем как у себя дома, громко храпел сам Джим. Его лицо было запрокинуто, рот раскрыт, всегда аккуратно зачёсанные волосы торчали в разные стороны, а неряшливо ослабленный на шее галстук-селёдка являл зрелище самое непрезентабельное, потому что открывал постороннему взору распаханную, неподобающе-шерстистую грудь.

В свете, проникавшем сквозь несомкнутые жалюзи, я пробежала глазами по его залитому чем-то фраку, по брюкам, грязным ботинкам, и увидела, что возле одного из ботинок приткнулся увесистый, жёлтой кожи бумажник. Джим купил его себе в день нашей регистрации, как память о новом этапе собственной жизни. Мне же в тот знаменательный день он не купил даже цветов. Чуть позже, когда я пробовала заикнуться об этом, он коротко отвечал: «В Америке не женихи, а невесты сами платят за свадьбу и сами покупают себе цветы». Ещё позже он стал отвечать ещё короче: «Цветы стоят денег». . .

Я схватила бумажник и, осторожно раскрыв его, обнаружила внутри сто долларов наличными, три кредитки и две дебит-карты. Но самое захватывающее в этой ситуации было то, что я знала Джимов пинкод. Он был одинаков на всех его карточках: 1228 – дата развода с его первой женой. В прошлом году именно в тот день – 28 декабря – он чинно отпраздновал свой развод и новообретённую свободу, в честь которой повёл меня в очередной невкусный «буфет».

Недолго думая, я быстро выхватила карточки, кинула бумажник с соткой на прежнее место и выскочила из офиса. Сердце моё грохотало в грудной клетке и, казалось, вот-вот пробьёт её.

– Жми! – громким шёпотом скомандовала я Власте, и она, ни о чём не спрашивая, тут же нажала на газ.

2

Странный народ – американцы. Они так рано ложатся спать, что можно позавидовать. И удивиться, кто же тогда оккупирует дискотеки и ночные клубы. Ведь сказать, что там пусто, судя по той же «Изумрудной королеве», я не могу. Даже наоборот, желающих порезвиться – навалом! И прибывают они как раз в это время – на часах сейчас 23:40.

А вокруг – ни души. И в домах огни пригашены. И машины редки.

– Так куда ехать? – снижая скорость, наконец, подала голос Власта. – Мы катаемся или как?

Я не сразу ответила, занятая своими размышлениями.

До полуночи я вполне успела бы снять деньги хотя бы с нескольких его карточек: если лимит – пятьсот долларов в день, то хотя бы полторы тысячи. После полуночи – с началом нового дня – ещё столько же. . . А если успею снять со всех пяти. . .

– Где здесь банкомат?

– Как скажете, шеф, – подмигнула мне Власта и через минуту затормозила. Банкомат смотрел прямо на меня.

«Хорошо, что мы успели отъехать подальше», – подумала я, почему-то нисколько не конфузясь содеянного. Накинув на голову капюшон, я вышла из машины. Власта смотрела на меня во все глаза. Наверное, она не ожидала от меня подобной прыти. Да я и сама дивилась себе. Хотя, впрочем, это меня нисколько не останавливало. И с восторгом подсчитав выданное первым банкоматом, мы с Властой начали последовательно объезжать остальные. Они также добросовестно шелестели банкнотами. К половине первого ночи у меня уже было не три-четыре, как я надеялась, а почти тринадцать тысяч – на моё счастье, некоторые банки не успевали зарегистрировать снятие денег и потому отдавали их ещё раз. А на одной из кредиток вообще не было лимита. Власта предупредила, что банк мог зафиксировать номера банкнот, потому завтра же она обменяет эти купюры на другие – она знает, где и у кого, а эти деньги уедут в Африку. Я с тайным облегчением сунула ей всю пачку в бардачок.

– А ты ничего, – удивленно проговорила она, когда мы подъехали снова к нашему с Джимом дому. И с гордостью заключила: – Моя школа!

Джима по-прежнему не было дома – ступени и дверь терялись во тьме. Теперь мы с ним были квиты. Ему – диадема и «прототип», мне – машина.

– Новую машину будешь держать у меня, чтоб вурдалак ничего не заподозрил, – сообщила Власта,



и я только подивилась её трезвому уму. Мне бы и в голову такое не пришло.

Я бухнулась в постель и, как это ни странно, тут же уснула. Под полудетский перестук палочек мариамбы из Джимовой стереосистемы. Надо бы выключить, подумала я сквозь сон и – тут же забыла.

Мне снился даунтаун в огнях. Банкоматы, как пацаны сигаретками, плюющиеся банкнотами. И аспидного цвета туча, которую рвал на куски сырой ветер. Из неё сыпались розовые, покрытые воском яблоки. Есть их не стоило...

Джим в этом доме был как Алеф. Как точка в пространстве, из которой исходит всё. По крайней мере, именно это я почувствовала, когда утром, не успев разлепить глаза, услышала раздражённый стук кастрюль на кухне. Хазбенд там брякал чем-то явно в сердцах и вполголоса проклинал всех и вся. Одновременно он названивал куда-то и о чём-то договаривался. Между этими звонками он резко и отрывисто отвечал на параллельные звонки, причём касались они меня. О чём именно шла речь, я не разобрала, но внутренне сжалась, потому что знала причину. Хоть и тешила себя надеждой, что ошибаюсь. В стереосистеме тем временем занудно пилили скрипку.

3

– Что-то произошло? – спросила я хазбенда утром, остановившись в проёме двери, разделявшей кухню с гостиной. Наши спальни и кабинет вливались в систему коридоров так, что миновать эту помпезную, с камином, канделябрами и большим овальным столом комнату для приёма гостей было невозможно. Мои намерения были самыми миролюбивыми: узнать причину Джимова буйства и предупредить его дальнейшие действия. Где-то в глубине меня теплилась надежда, что всё как-то обойдётся. Ведь нас с Властой никто не видел, а карточки из незапертого офисного помещения мог стащить кто угодно. Если, конечно, Джим уже обнаружил пропажу. Но я надеялась, что ещё нет.

– Произошло, – не двигаясь в своём массивном кресле, хмуро произнес Джим. – Ты сама знаешь, – добавил он, и в его голосе проявилось всё то, что прежде так тщательно маскировалось.

Я проигнорировала выпад и как можно слаще проворковала:

– Поделись же со мной, дорогой, расскажи мне.

Он посмотрел на меня холодно и отчуждённо, отчеканив:

– Сейчас здесь будет полиция, и ты сама всё расскажешь.

– Я не в курсе твоих проблем, Джим, поэтому твою полиция ко мне отношения не имеет. А вот ты, дорогой, потрудись объяснить, где ты был всю ночь после того, как укатил из «Люфта» со своим «прототипом» и бриллиантовой диадемой? За какие такие шиши ты делаешь своим любовникам дорожные подарки? У тебя же «таксы-таксы». И моргидж, – язвительно свернула я, наблюдая, как лицо хазбенда сначала краснеет, потом бледнеет и в итоге принимает то беспомощное выражение, какое бывает у застигнутых возле родительского сейфа детей.

Джим ошалело смотрел на меня.

– Ты в своём уме? – спросил он. В голосе его прозвучала растерянная и невнятная детская угроза. Почувствовав себя на верном пути, я понеслась дальше.

– Ты сам хотел всё это услышать. Сам! Я не намеревалась озвучивать твои выкрутасы. Я о них знаю давно. И если теперь у тебя возникли проблемы, я рада. Может, это тебя чему-нибудь научит. Тоже мне, гений! Да не гений ты, а гей!

Пожалуй, последнее не стоило бы произносить, но «Остапа несло».

– Твои картины – бред сумасшедшего! Ты сам – полная бездарь! Тебя в клинику для умалишённых надо сдать! – услышала я свой голос как бы уже со стороны, потому что, пока я ещё это говорила, Джим молча обхватил мою шею ладонями.

Так душат киношные маньяки – молча и неумолимо. Я подавилась и в последних проблесках обделённого кислородом сознания замахала руками. И не зря: они нащупали спасение. Накануне как раз я гладила на столике брюки, и вот теперь, наткнувшись пальцами на так и оставшийся на столике уголок, я схватила его и изо всех сил врезала доморощенному маньяку по ноге. Джим тут же отпустил меня. В один скок я оказалась в ванной, где тоже был телефон, и, еле дыша, набрала 911.

– Скорее! Приезжайте! Муж меня убивает! – просичела я.

– Машина выехала, ожидайте! – даже не спросив адреса, ответил оператор 911. Впопыхах я забыла, что полиция здесь мгновенно определяет адрес по номеру телефона.

Воодушевлённая оператором и вооружённая всё тем же угогом, я увидела себя со стороны и вдруг обнаружила – та, вторую я, которую я ещё совсем мало знала, уже взяла поводья в собственные руки. Но поводья – это ещё полдела. Я обнаружила, что она, ещё и ухватив из туалета металлический дезодорант, вдруг запустила его в моего оманьяченного хазбенда. Он увернулся. Раздался хруст стекла. И на нём образовалась крупная паучья сеть, совсем как на картине, что висела над диваном в прихожей.

– Ты! Русский варвар! – заорал Джим, уже почти придя в себя. – Не смей в моём доме...

Он не успел закончить. Если бы он не произнёс эти слова, может, всё бы на том и закончилось. Но он сказал «в **моём** доме!» Вроде как я пришла к нему в гости!

– Расист! Женоненавистник! – громко выкрикнула я... и увидела на пороге двух розовощёких полисвуменов. В рациях, дубинках и, наверное, кольтах. Может, это были и не кольты, в оружии я не разбираюсь.



– Что происходит, мэм? – встав между мной и моим обидчиком, спросила первая. Вторая невозмутимо разложила на столе бумаги.

– Она украла мои кредитки, – тыча в меня пальцем, мстительно ухмыльнулся Джим. Полис-дама взглянула на меня и подняла брови:

– Вот как? И эта женщина вам незнакома?

– Да, как оказалось, совершенно незнакома!

Теперь пришло моё время мстительно ухмыльнуться. Я молча выгасила из кармана «Ай-Ди» и сунула полицейской.

– Простите! – поднялись её глаза ещё выше на лоб. – Но здесь указано, что она живёт именно по этому адресу! Кто же тогда вы и что вы делаете в её доме? – повернулась она к Джиму всем своим массивным корпусом.

– Это мой-мой дом! – заверещал он и быстро выудил из мятого фрака своё «Ай-Ди».

– Ничего не понимаю! – почесала она голову. – Почему у вас одна фамилия? Вы родственники?

– Я его жена! – торжественно отчеканила я. – А факт ложного показания о том, что он со мной незнаком, прошу занести в протокол!

Вторая тут же послушно вписала мои слова в рапорт.

– Она мне не жена! – ненавидяще прошипел Джим. – Она – русский варвар. Она ненавидит Америку так же, как Усама бен Ладен. Я не мог жениться на враге и террористе!

Я молча указала на стенку, где в рамочке всё ещё висело свидетельство о браке. Полицейская внимательно в него вчиталась, покачала головой и занесла и это своё наблюдение в рапорт.

– Но она украла мои кредитки! – не сдавался Джим.

– Сэр, если вы не перестанете вопить, я надену на вас наручники! – спокойно сказала ему полис-дама. – Человек не может украсть то, что ему и так принадлежит – а, как вы знаете, в штате Вашингтон всё, что принадлежит мужу, принадлежит и жене. Вы разве не знаете законов своего штата?

Джим позеленел. Почувствовав себя на коне, я решила довести дело до конца: то есть, довести Джима до ручки, вернее, до наручников – чтобы он ещё раз завопил и оказался в них!

– Внесите в протокол: он пытался меня убить, он меня душил! – показала я на свою шею. И сделала это зря: взглянув в висевшее сбоку зеркало, я увидела, что на ней нет никаких следов – ещё ничего не произошло. Я поняла, что проиграла: Джим, до этого, видимо, забывший о своей ране, тут же поднял брючину и продемонстрировал представительницам власти красный след, оставленный тупым концом утюга. Сам утюг валялся тут же.

На этом разговор был окончен. Полис-дамы, защёлкнув на моих запястьях стальные браслеты, предложили Джиму заполнить бумаги о применённой к нему домашней жестокости, что он с удовольствием и проделал. Я бросилась было к нему, но полицейские дамы решительно оборвали мой порыв.

Когда меня уводили в машину, Джим злорадно улыбался на пороге. Если можно было назвать улыбкой его скривленные тонкие губы под впадинами злых льдистых глаз. А Сиенна отважно взгромоздил на капот свои тяжелые лапы и оглушительно гавкнул.

4

С перепугу я начисто забыла, что имею право на один телефонный звонок. Только на рассвете оповестила я сонную Власту о последних событиях в своей жизни. Когда через пару часов я предстала перед судьёй, у меня на шее уже красовались две смачные джимовы пятерни. Бросив беглый взгляд на мою шею, судья назначил выкуп всего в пятьсот долларов, но запретил мне приближаться к дому Джима и самому Джиму ближе, чем на пятьсот футов. Власта уже ждала. Она тут же выкупила меня, и, захав ко мне домой за хоть какими-то вещами, повезла меня к себе – нужно было разработать план мести.

Начался план с похода к доктору: с целью (как у нас говорили) «снятия побоев». Продолжился он походом в муниципальный суд: на джимово требование не подпускать меня к нему на пятьсот футов я ответила аналогичным встречным требованием – и свой иск подкрепила копией полученной от доктора бумажки.

– Вот она, эмансипация! – ругалась я, тонируя перед зеркалом ненужные уже следы потасовки. – Бабы, а не мужики меня бросили в кутузку! Прекрасный пол в этой стране работает наравне с сильным. Хоть на заводе, хоть в полиции! Я ведь сама вызвала полицию – она меня и прихватила. Ну да, мы же равны! Только почему-то равенство коснулось меня, а не его. Я спала на тюфяке прямо на бетонном полу. А он дрых в постели. Как восточный деспот! Да ещё и эти его лапы на шее! Он же запросто мог меня задушить, и никто даже не узнал бы. Кого интересует русская, особенно если ею не интересуется никто!

– Ну уж нет, положим, я бы обязательно подняла тарарам, если бы твой номер не отозвался. Это уж... как Санрайз дать! – ввернула Власта переиначенную русскую поговорку. – Эмансипация преподносится нам как победа женщин в борьбе за свободу. Так? Так. За равные права, за раскрепощение и прочую фигню. Но кто в итоге выигрывает? – Она повернула ко мне сердитое лицо. – Ка-а-з-з-з-з-з-з-з! Это они навешали нам лапши на уши – мастера инфистики и дезинформации – мы уши и развесили, и

хлопаем в ладоши — вот, мол, мы свободны. А в итоге-то что? В итоге они сняли с самих себя ограничения иметь баб за так. Раньше им это было дорого, опасно даже! Отцы бы за своих дочек — ого! Шкуру бы спустили, а сейчас — просто сказка. Взял её к себе — она стирает, готовит, потом рожает, воспитывает и всех-всех ублажает. От детей и его самого до его матушки и бабушек с дедушками. Он ещё тебя не знакомил с матушкой? Нет матушки? Слава богу. А то бы ещё и старая взялась кровь пить. Сколько он тебе давал на расходы?

Я пожалала плечами: шестьсот. Именно таков был лимит на выделенной мне супругом карточке, расходы по которой он тщательно изучал в конце каждой недели.

— Ско-о-олько? — изумилась Власта. — Уборщица получает девятьсот. А ты — шестьсот? Это же всего двадцать долларов в день! И, наверное, всю твою зарплату за доставку газет он отбирал себе! Ну ты даёшь... Вот я и говорю — за такие копейки он и уборщицу имеет, и... — она помолчала и, посмотрев на меня уничтожающе, добавила, — и секс-рабыню. Лучшего желать нельзя! Вам уже мало быть просто доступными! Потому что мужики, когда баба доступна, её не добиваются, они уже на неё и цента не потратят. Теперь вы добиваетесь мужика! Вы готовы всё терпеть, оплачивать его прихоти! А он уже ищет утех с мальчишками. Кто в этом виноват, кроме вас самих?!

Мне ей нечего было возразить, кроме того, что я у Джима не была секс-рабыней — мой брак в этом смысле был чистой формальностью, но в остальном-то приятельница была права. Действительно, у меня на родине поиск мужчины начинался чуть ли не с пелёнок. Когда в детском саду у девочки спрашивали, кем она хочет стать, когда вырастет, та, не задумываясь, отвечала — не-е-е-стой.

И это никого не ставило в тупик. Потому что уже в школе эта же девочка могла уверенно заявить: валютной проституткой. И тоже не огорошить. Потому что сами родители юных нимф, воспитанные на «Вешних водах» и «Асе», задолго до совершеннолетия прикидывают, кто будет содержать их дитя — ведь модные тряпки, духи и драгоценности от ведущих фирм стоят дорого. А работы, чтобы иметь это в необходимом количестве, нет. Да и к чему ребёнку напрягаться? Вот и отдают девочку в школу гейш, в модели, учат, как уберечься от венерической заразы, как возбудить усталого, ничего уже от жизни не ждущего мужика — ну и что, что старый? Зато денежный. «Папиков» имели многие из моих сокурсниц, и это не считалосьзорным. Ведь теперь уже не Тургенева читают, а хотя бы Пелевина! Если читают, конечно, вообще...

— Власта, а сколько это вообще — пятьсот футов? — задумчиво спросила я у подруги, когда она вывела меня на вечерний моцион вдоль озера.

— Это — пять уличных фонарей. Да-да! Дистанция между фонарными столбами — двадцать пять-тридцать метров. Значит, пять-шесть фонарей — это около ста пятидесяти метров, а сто пятьдесят метров — это и есть пятьсот футов. Кстати, вот и фонари начали зажигаться... Легки на помине!

5

Закат в этих краях сказочный. Может где-нибудь в Полинезии он ещё краше, не знаю, я там не была. Но тут на океанские закаты вываливали смотреть чуть ли не всем городом, независимо от возраста. Главное было найти точку, откуда можно наблюдать, как золотисто-огненный шар медленно сползает в залив, зажигая кострами сиегловские многократно пронзённые точками окон высотки. Огромные и округлые, будто перламутром выстланные облака расступались, давая место багряному шёлку, который постепенно занавешивал всё окружье неба. Солнце как бы покидало сцену, всё глубже погружаясь в подогретую ладью залива. Несколько минут вода светилась так, что можно было, наверное, ловить на блесну, как это делали у меня на родине любители лова. А потом светило, как уходящий со сцены актёр, взмахивало платочком последнего протуберанца и — наступала темень. Только ещё долго и призрачно золотился след...

— Глянь сюда, — вернул меня в действительность приглушённый голос Власты. — Посмотри, это не твой козёл?

Совсем недалеко от нас, забравшись с ногами на парковый столик, высился Джим. Рядом, почти с ним вровень, хоть и стоя на скамейке, топтался тот самый «прототип». Это был длинный, в утверждённых джимовыми гостями стандартах парень лет двадцати пяти. Во всяком случае, мне показалось, что он мой ровесник. Его рыжеватые космы обрамляли правильное, но нисколько не запоминающееся лицо. Парень смотрел индифферентно, не проявляя ни интереса, ни равнодушия. Ему сказали — смотри. Он и смотрит. Расстился только Джим. Он то и дело оборачивался к «прототипу» и что-то заискивающе спрашивал. Или что-то показывал длинным ухоженным пальцем. Парень равнодушно наблюдал за пальцем и нехотя кивал.

— Власта! — зашептала я, увлекая подругу за собой. — Мне нельзя тут находиться, тут нет пяти фонарных столбов!

— А-а-а, брось, — протянула приятельница, ещё раз оглянувшись на странную пару. — В общественных местах можно. Так это, может, его сын? Глянь, как похожи.

— Да они все тут на одно лицо, — отмахнулась я, тем не менее находя однозначно общее между Джимом и «прототипом». И вспомнила, что Джимова жена когда-то умотала в Голливуд, где снималась в какой-то вечной мильной опере. Типа «Санта-Барбары». Был у них общий ребёнок или нет, мне никто не докладывал, а если был, почему Джим говорил, что все дети у него приёмные? Но то, что



жена при разводе хорошо поживилась за счёт моего хазбенда, с его слов мне было известно. Если это сын, то ничего удивительного, что мой мужёнок тратит на него такие деньги – стало быть Джим лелеет надежду, что когда-то станет знаменит именно благодаря связям «прототипа» в киношном мире. Мне стало смешно. И снова захотелось отомстить. Потому что я поняла – женитьбой на мне хазбенд просто намеревался показать кукиш уже немолодой и не очень удачливой бывшей жене. Тем более что капиталов, которые она получила при разводе, ей, сделавшей ставку на Голливуд, было мало, и очень скоро она попыталась бы отношения восстановить. Но зловредному Джиму её голливудская свобода была костью в горле. И он нашёл меня.

Теперь всё вставало на свои места, и многое становилось понятным. Сытый домашний кот или пёс, к примеру, всегда играет с каким-нибудь шариком или клубком ниток – безопасно и отвлекает. В данной ситуации я была как раз этим клубком или шариком.

– Ну, так мы дадим ему поиграть! – решительно объявила дома Власта, вылезая из джинсов и кроссовок. – Так! Огньне у нас цель – мы отвлекаем твоего хазбенда от скуки и впариваем ему порок! Мы подсовываем ему адамово яблоко.

Она вывалила из шкафа кучу разноцветных тряпок.

– Чем хуже на душе, тем выше каблук!

Она примерила несколько модных босоножек – тут как раз у нас был размер одинаков – и предложила мне потрясающий эксклюзив. Порылась в грудe цветного тряпья и выбрала нечто совершенно странное. Это было радужное пончо, из натурального шёлка, совершенно невесомое. Оно годилось и на размер меньше и на размер больше. И заставила меня обрядиться таким образом.

Причём начисто забрала мои новые джинсы, купленные на днях в «Лофте».

– Китайское дерьмо! Видишь, краска уже смылась! Надевай пока старые. Зато видно – фирма!

Долго раздумывала, чем ещё меня можно украсить. Выбор пал на тончайшую серебряную цепочку с изумрудной подвеской. Оглядев меня со всех сторон, подруга осталась довольна.

Впрочем, сама она оделась как всегда – просто.

– Когда вы видите женщину в кедах и джинсах, знайте – перед вами счастливый человек! – заявила она, впрочем, вставая на каблуки.

– Замужество – это не семейное положение, – провозгласила Власта, прежде чем мы вышли из дома. – Замужество – это медаль. Она так и называется – За мужество!

6

«Королева Эсмеральда» встретила нас как старых знакомых. То там, то сям кто-то нас приветствовал, улыбаясь и взмахивая рукой. Люди танцевали, следуя ритму ударника, и перед глазами мельтешили то пышные юбки, то лица, будто окрашенные корицей. Только сейчас я заметила, сколько здесь цветных! Пожалуй, настоящих англосаксов совсем и не было: они больше ошивались в ресторане, в трюме. А здесь – лишь иногда глаз выхватывал, будто в щёлоче вываренного – кожа как у молочного поросёнка, ресницы, брови... Ну да, Америку и создавали все, кому не лень было драпануть сюда. Америка как резиновая. И все сюда пёрли тогда, прут и сегодня – всем хотелось и хочется сейчас жить как сами американцы.

– Идём, скорее, – потянула Власта меня за собой. – Сейчас будем твоего хазбенда дурить. Я prepaid карточку купила, исключительно для него.

Мы захватили туалет, и она набрала знакомый мне номер.

– Алло? Джим? Наконец я слышу твой голос! О-о-о, Джи-и-и-м, – закатила она глаза, изображая страсть и негу. – Джи-и-м-ми...

Она помолчала, вероятно, слушая недоумённую отповедь моего хазбенда. – О, нет, только не это! Не клади трубку. Я хочу слушать твой голос... Джи-и-и-м-ми...

Похоже, хазбенд сбросил номер, потому что Власта быстро выгнала из мобильного карточку и потянула меня назад. – А теперь танцуем. И так будем делать каждый день. Мы его изведём, козла!

Я не очень-то поняла логику её действий. Зачем изводить «козла», когда проще забыть о нём, найдя себе кого-нибудь получше. Тем более, что зеркало отражало очень привлекательную молодую особу, то есть меня – мне к лицу был наряд, спонсированный Властой. Как на мой взгляд, такой фигуристой красотицы здесь и близко не было. Ну, не считая парочки азиаток. Но зато они – косоглазые! (Похоже, джимов расизм слегка коснулся и меня).

– Ты ничего не понимаешь, – перекивая музыку, увлекла меня Власта в гущу танцующих. – Пусть он попсикует! Я ему задам!

Я не стала спорить, потому что к нам как раз приблизился молодой человек, жестами приглашая присоединиться. И я, словно закутанная в краски Гогена, вскоре следовала ударам сердца барабана, ощущая музыку каждой своей клеточкой. Всё-таки не победила меня торговля яблоками, я осталась музыкантом.

– А ты здорово танцуешь, – сказал мой партнёр. – Ты профессионал?

– Нет, – пожалала я плечами, разглядывая большой тотемный столб, стоявший в зале. В прошлый раз я почему-то его не заметила. Столб венчала голова вороны, а в основании было странное животное, чем-то напоминавшее обезьяну. – Я – музыкант.

– Да? – удивился молодой человек. – Музыкой сейчас немного зарабатываешь...



Он рассматривал меня глазами странного – лилового – цвета, и я подумала, что это, наверное, линзы.

– Потому ты и пришла на праздник полнолуния?

– А разве есть такой праздник?

– У северных индейцев он называется иначе. Это длинное индейское слово и его трудно запомнить. А здесь много разных национальностей и потому все этот день зовут праздником полнолуния.

Вон оно что, подумала я, рассматривая танцующих с ещё большим интересом. Действительно, попадалось много смуглых лиц с удивительно правильными чертами, как у Виннету – вождя апачей или прочих киношных героев из коллекции старых приключенческих фильмов. Знания мои об индейцах тем и ограничивались.

– В определённой мере я и сам – индеец, – сказал молодой человек и поставил передо мной бокал. Я оглянулась на Власту. Она зажигала в окружении каких-то мулатов, нисколько не заботясь обо мне. Впрочем, и не упуская меня из виду – заметив моё беспокойство, она ободряюще взмахнула рукой.

– Индеец?

– Ну да. В каком-то далёком колене. В Америке много ассимилянтов.

– Ассимилянтов?

– Ассимилянтов, – подтвердил парень, потягивая из соломинки дринк.

– Это как понять? – я посмотрела на свой бокал с опаской – не хватало ещё, чтоб мои ноги опять, как в прошлый раз, приросли к стулу.

– Ну, когда ваши белые (он так и сказал – «ваши»!) нас оккупировали, многие из тех женщин, что остались живы, рожали уже наполовину белых. А дальше – больше. Но всё равно индейская кровь осталась. Её никуда не денешь. Как говорится: если в тебе есть хоть одна капля – ты уже числишься цветным.

– А тебя как зовут? – спросила я, пробуя тоже потянуть из соломинки. Напиток оказался терпким и душистым и чем-то напоминал дыню.

– Меня? Эл.

Я улыбнулась. Что тут за странные имена – Зэк, Эл... Электроник, что ли?

– Вообще-то Элан. Но меня все зовут Эл.

– Это индейское имя?

– Почему? Индейцы были сто лет назад. А с тех пор в моей крови уже столько намешалось!

– А что это тогда за имя? Я никогда не слышала такого имени.

– Разве? А мне казалось – оно распространённое. Элан – имя еврейское.

– Да-а? – протянула я. – Что-то не слышала ни у кого из наших. У меня в университете были евреи.

– Оно очень древнее. А слышала – Элохим?

– Ну, это какой-то древний бог, по-моему.

– Вот от него и Элан, как производное. Могу немного рассказать об элохимах. Хочешь? Или хочешь танцевать?

Я всё ещё потягивала душистый напиток и, боясь, что опять не смогу подняться, кивнула.

– Не понял. Танцевать? – переспросил настырный Эл.

– Про Элохима лучше, – я с опаской приподнялась, как бы ища глазами подругу. Нет, похоже, ноги меня слушались. Но и рисковать пока не стоило. Тем более, что увлечённая танцами Власта была где-то за пределами моего зрения.

– Тогда сейчас. – Эл сбегал ещё за бокалами и уселся поудобнее. – Когда-то на самой заре истории где-то в галактике жили, а может и сейчас живут разумные существа. Элохимы.

– Это предание?

– Наверное. Моя бабушка говорила, что это записано в древних еврейских книгах. А сам я не читал, с её слов рассказываю.

– Бабушка была еврейкой?

– Ну да. Она и Тору читала, и некоторые главы Талмуда. Так вот. Эти разумные существа питались не как мы – мясом и овощами, а духовной энергией.

– Разве такое возможно? – усомнилась я.

– А почему нет? Ты христианка? Ваши же молятся своему богу, питают его энергией веры. Вот и элохимы питались. Но постепенно в поисках новых источников, ну и, может, чтобы кровь свою древнюю освежить, они стали всё дальше шастать по вселенной. Пока не наткнулись на Землю. И обрадовались – много сознательной живности. Только одни верят в идолов, другие – в стихии. Индейцы – в своих птиц и медведей, к примеру. Индусы и вовсе не счесть, в кого. Вот элохимы выбрали одно племя из семитов, ну может и ещё какой мелкий народец был, и постепенно стали посылать к ним своих эмиссаров – внушали, кому надо молиться и как, чтобы нужная энергия не рассеивалась впустую. Чтобы шла густым таким потоком. Специальные храмы создали – концентраторы этой энергии.

– Точно, в наших церквях всегда купола с крестами наверху.

– Это резонаторы. А крест или полумесяц или ещё какой-то символ – значения, в общем, мало имеет. Главное, чтоб антенна была.

– Это про твоих элохимов в Библии – «тогда по земле ещё ходили сыны неба», да?



– Наверное. Я и Библию не читал. Я просто имя такое имею – Элан. Значит «священный дуб» на иврите.

– А я про евреев вообще ничего не знаю. Только про хазар. И то из стихов Пушкина.

– Хазар, между прочим, на иврите – «инопланетянин». Хай-зар. Когда-то они были чуть ли не хозяевами земли. А потом вообще исчезли, как их и не было.

Эл посмотрел на меня своими фиолетовыми глазами и, отставив бокал в сторону, серьёзно пояснил:

– Хазар б'тшува. Если перевести: «вернулся к вере».

– Сколько ещё намереваешься сидеть? – прервала наш разговор раскрасневшаяся Власта. – Ты сюда чего пришла, лясы точить или танцевать?

– Да вот, Элан про элохимов рассказывает. Интересно.

– Нашла о чём в ночном клубе разговаривать! – фыркнула Власта. – Тебе любой станет заправлять, а ты и будешь всех слушать?! Давай, я ему принесу в благодарность дринок и пошли поскачем. Говорят, не стоит, чтоб мужик за тебя платил, – повысила голос Власта. – Типа, он начинает думать, что ты ему чем-то обязана. Типа, тут так принято, чтоб каждый платил за себя. Только когда уже отношения серьёзные, тогда. А на самом деле всё проще, – с видом заговорщика перешла Власта с русского на английский. – Если у мужика есть деньги – заплатит, а если денег нет – то подведёт под свою финансовую несостоятельность любые теории!

Всё это было громко выложено в присутствии Элана – он оказался возле барной стойки как раз за нашими спинами. Когда Власта его заметила и протянула ему дринок, фиолетовогоглазый парень отодвинул её руку жестом полного безразличия и выразительно стряхнул ладони, как если бы вымыл руки. После чего повернулся и быстрым шагом вышел из зала.

– Ты посмотри. Ещё и обиделся! – констатировала Власта удивлённо. – Какие мы нежные, однако. Другой бы рад был, что не надо тратиться. – И в глазах её я впервые прочитала интерес и смущение.

– Ну, разве можно быть такой бесцеремонной! Власта, – попробовала я укорить подругу. Но она уже взяла себя в руки и решительно тряхнула волосами. – Нужно! Пусть они знают, что нас на драной козе не объедешь!

Причём здесь драные козлы и козы, Власта и сама не знала, наверное.

А потом я снова играла на рояле, и несколько человек из тех, кто помнил меня ещё по прошлому визиту в «Королеву», собрались вокруг, ожидая, когда можно будет усадить нас в своей компании. И какой-то хмырь из распорядителей праздника в перьях и с татуировкой на обнажённых плечах поставил у моих ног целую корзину с красными здешними цветами в знак благодарности – так я поняла по оживлённым голосам его соплеменников и количеству бокалов на их столах. Мой музыкальный экспромт был принят как вклад в общее дело празднования Полнолуния. И огромная, апельсинового цвета луна тоже заглядывала в окна с одобрением.

Но ни Эла, ни Эка-моряка не было.

7

– А на кой они тебе? – пожалла плечами Власта, когда я сказала об этом вслух. – Других мало? Почему ты имеешь тенденцию заикливаться? На свете много людей. Самых разных. У всех только ноги-руки и голова, ну и ещё ... ты знаешь что, похожи. А там внутри себя – ничего общего, они и сами в себе не разберутся. Зачем же тебе на это тратиться? Потому и следуй лучше здравому смыслу. Живи здесь и сейчас. Господь иррационален. Он редко повторяется в своих экслибрисах.

Вообще-то она была права.

– Ты считаешь – в здравом смысле истина?

– Истина?

Власта чуть было не выпустила руль. Она посмотрела на меня как на ненормальную.

– Истина недоказуема. На то она и истина.

– Что-то не поняла, – попыталась я вникнуть в ход мыслей подруги.

– Да что тут понимать? – Власта сделала поворот на вторую линию. Похоже, она держала путь в сторону моего дома.

– У одного дважды два – четыре, у другого – пять. И там и там, если разобраться, правильно. Только один учил простую алгебру, а другой – Булеву! У меня и то бывало и три плюс два – пять. И два плюс два – два. А бывало и шесть. Она у каждого своя, эта истина. Только у Творца – одна. Целье цивилизации жили в одной истине, а потом приходили другие и тоже жили. Но по другой. И насколько это никому не мешало. Потому что главное – познай себя. Ты зануда, однако, – заключила она, припарковавшись.

Я выглянула в окно и увидела, что мы находимся возле нашего с Джимом дома, и совершенно без уважения к пятистам футам, обозначенным судьёй. Я взглядела в родную темноту: джимова джипа на месте не было.

– Где это его чёрт носит?

– А он по вторникам и четвергам слушает живую музыку в «Гекторзе».

– В «Гекторзе»? – хохотнула Власта. – Хорошо, хоть не в «Нейборзе»!

«Нейборзом» звался знаменитый местный гей-бар, «Гекторзом» же – обычный, традиционный «мит-маркет», то есть, как бы это по-русски, место для съёма друг другом представителей противоположно-го пола, но на высшем уровне. Например, там можно было запросто познакомиться с залётным бывшим конгрессменом или мэром соседнего городка, тоже бывшим, или поглазеть на бывшую бейсбольную звезду. Именно так: половину посетителей Гекторза – в основном мужскую – характеризовало слово «бывший»: бывший мэр, бывший конгрессмен, бывший миллионер. Но иногда – и бывшая миллионерша. Вторую половину посетителей – в основном женскую – определяло словосочетание «в надежде»: дамы ходили туда «в надежде» познакомиться с миллионером, конгрессменом, мэром – желательно, конечно, не бывшим, а действующим...

Отсмеявшись, Власта выключила фары и выгатила с заднего сиденья какой-то кулёк. Быстро переобувшись в кроссовки, кстати, даже большего размера, чем обычно, Власта бесшумно метнулась в сторону дома. Вернулась она почти сразу. И тут же нажала на газ. Мы молча ехали по городу в направлении университетского городка.

– Знаешь, что я сделала? Я залила его крыльцо прокисшим томатным соусом.

У меня глаза сами собой полезли на лоб.

– Зачем?!

– Пусть отчищает. Каз-зёл!

И это я слышу от здравомыслящей Власты? У меня не было слов. Я взглянула на её руки – нет, руки были чистыми. Как-то она ухитрилась ещё и не вымазаться. Впрочем, наверное, если в кулёке да уметь кидаться, как кидаются камнями пацаны... Всё равно что-то не клеилось в моем мозгу. Ну, если бы нам было бы лет по двенадцать-пятнадцать, такое ещё можно было бы как-то допустить. Очень с большими натяжками, конечно. Но Власте почти тридцать! И она психолог! Настоящая пиратка!

– Именно потому, – сердито пояснила она свои действия. – Нужна растерянность в стане врага. Нужна паника. Чтоб аж типало!

– Да ну тебя, – попыталась я её урезонить. – Ты ведь сама говорила: столько мужиков вокруг. А мы будем кидаться в джимовы окна? На что он нужен?!

– Молчи и не встревай! – приказала Власта. – И скажи спасибо, что жива. Удушил бы – и... Это не так опасно, как его грязные лапы! Мы только нервы ему пощупаем. И может, до психушки доведём...

Я замолчала. Теперь мне и самой почудилось, что я была в шаге от смерти.

– Этих латентных маньяков здесь знаешь, сколько? Ещё до твоего приезда был один громкий процесс. Такой же вот как твой старый муженёк, ему лет сорок пять было, женился на девочке из Казахстана. Ей только двадцать один исполнился. Вы же, чтоб сюда попасть, готовы и за восьмидесятилетним бежать! Так вот. Ему – сорок пять, она молодая, и влюбилась в кого-то из сверстников. Переписывалась по мылу. Он подкопался и стал в курсе. Хотя – письма да и письма, встреч даже не было, он жил у вас где-то. Короче, муженёк всё узнал. Потом поехали, вроде как в гости к её родителям. Побыли там – всё нормально. А приехал и подал заявление, что, мол, жена там, на своей родине пропала. Хорошо, что в наших аэропортах всё фиксируется. Сразу легко установили, что вернулись они вместе – он и она вышли из самолёта и ушли из аэропорта вместе.

– А дальше?

– Дальше след девочки и потерялся... Только здешняя полиция – не ваши продажные менты. Нашли её... Он её в своём доме и прикончил. И закопал. Прямо под изгородью, возле бассейна. Собака нашла. Кстати! Что-то я не видела Сиенну. Обычно он бегал по двору.

Власта задумалась, что-то прикидывая.

– Здесь ведь никто ни к кому без приглашения не заглянет, – вернулась она к своему рассказу. – И вообще не заглянет – у всех своих проблем под завязку. Они и в гости редко ходят, а в ночных клубах только лузеры ошиваются – как говорится, «потерянные души». И у кого какой скелет в шкафу – никто не в курсе и никому этого не надо... Так что, дорогая, успокойся и не бери в голову. Я сама маньяка буду укрощать. Я – не ты. Он у меня ещё попляшет!

Что было ответить?...

В эту ночь мне снился Сиенна под охраной Луны. И потоки плюща в старом бассейне.

– Миссис Смит, правда ли, что вы планировали увидеть своего мужа, мистера Смита, в гробу в домашней обуви белого цвета? – строго зачитала судья по бумажке.

Так прокурор понял и переиначил Джимову интерпретацию моего высказывания «хочу тебя видеть в гробу в белых тапочках». Не читать же американской судье лекцию на тему богатого русского фольклора!

Это было первое слушание по поводу избияния мной мужа. Я отрицательно покачала головой. Судья зафиксировала мой ответ, и, прочитав следующую строчку Джимового пасквиля, задала очередной вопрос:

– Правда ли, что вы планировали ударить мистера Смита кирпичом по лицу?



А это уже поговорка «рожа кирпичика просит».

— Правда ли, что вы лишали его питания, принуждая отдавать ланч и ужин посторонним людям? Я не сдержала смеха: это же поговорка «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу»... Я частенько её повторяла, но даже не знала, что Джим так буквально её понимал.

— Правда ли, что вы планировали кастрировать своего мужа кухонным ножом из стандартного кухонного набора?..

— Ваша честь, зачем же мне нужен такой муж: голодный, кастрированный, да ещё в белых тапочках? В зале засмеялись.

— Ваша честь! — воскликнула стоящая рядом со мной адвокатша и чуть наступила мне на ногу, типа «не остри!» Я испугалась и замолчала, однако, по-видимому, моя острога судьбе пришлась по вкусу. Она чуть опустила голову и, пряча улыбку, стала перебирать на столе бумаги.

— Ваша честь! — повторила адвокат. — Я прошу переноса слушаний, как по обвинению в домашней жестокости, так и по защитному ордеру (так назывался приказ, запрещающий мне приближаться к Джиму на пятьсот футов). Я только что была назначена общественным защитником миссис Смит и мне нужно время, чтобы войти в курс дела.

Адвокатша — маленькая ведьмоподобная толстушка с длинными седыми волосами — подошла ко мне перед заседанием и представилась как мисс Крон. Суд назначил её мне в бесплатные защитницы — у меня не было денег на платного адвоката.

Мисс Крон продолжала:

— Также, доведу до сведения суда, что миссис Смит зафайлила встречный защитный ордер, ограждающий её от мистера Смита, и слушание по этому ордеру состоится в пятницу.

Судья удовлетворённо кивнула и на сегодня потеряла ко мне всякий интерес. Слушание было окончено.

А вечером к Власте явился унылый длинноносый мужик и, тихонько вызвав меня, вручил через порог толстый пакет. Прочитав первые строчки находившейся в пакете бумаги, я оцепенела: Джим подал на развод. И не просто подал, а нанял дорогостоящего адвоката, чтобы я у него не отобрала ни дом, ни вилку, ни придверный коврик.

9

— Ну что у тебя вид какой-то... перепутанный? — заметила Власта, когда мы собирались вечером на свиданье. Мою новость о разводе она посчитала очень положительной, ободряющей и главное — долгожданной.

К тому же, Власта была с головой занята другим: она-таки дала в интернете объявление, что мы нищем компаньонов пить, гулять и веселиться. И теперь претенденты названивали чуть ли не каждый час. Одних Власта записывала в блокнот, номера других сразу стирала, ну а некоторых намеревалась прощёлкать вблизи. Как, например, сейчас.

— Этот — ничего. Говорит, что испанец, хотя наверняка мексиканец. Но нам — что? Главное, что испанцы, как и мексиканцы, хорошо пляшут и поют. С ними хоть весело. Америкосы все жмоты и зануды.

— Испанцы все дикари, — попробовала возразить я. — Они быков убивают.

— А у нас быков нет! — захотела она, набирая номер Ника. — Пусть Ник с нами пойдёт. Ник, ты свободен? Чего-чего, да так просто. Мы тут собрались познакомиться с одним, можем тебя взять в качестве телохранителя. Хочешь?

Ник, конечно же, хотел! Не прошло и получаса, как он уже крутился возле дома, не решаясь нарушить наше бабское уединение. Я опять приняла боевой вид — от высоких каблуков до теперь уже сапфировой подвески, напялила какую-то тряпку, тоже в виде пончо, только уже другого, из тонкой шерсти — вечер сегодня был не очень тёплый, а мы намеревались ещё и прогуляться вдоль залива. Тут такое возможно нечасто. Места для пешеходов как будто не предусмотрено. Разве что небольшая пешеходная дорожка в даунтауне. И то не всегда. В Америке люди прямо из роддома — в машину. А потом из машины и... на облака.

Власта вырядилась в облегающий комбинезон — весь в заклепках и молниях, и мы с хохотом вывалили на улицу к Нику.

— Ну, девки, вы даёте, — ошеломлённо сказал Ник. На нём по-прежнему были кроссовки на босу ногу и футболка с надписью «2000». Наверное, это был год кометы Галлея... Или какой-нибудь другой кометы...

— Значитца так! — объявила моя пиратка, ещё раз явив свою эрудицию. На сей раз в области русского кинодетектива. — Знакомиться едем в джимов бар — гаду полезно увидеть тебя с молодым красавцем. Или с двумя-тремя молодыми красавцами. Когда Джим туда приходит? Около девяти? Значит, мы придём в восемь и займём стратегически выгодную позицию. Ник войдет после нас. Для начала он сядет где-нибудь неподалеку, как случайный посетитель. Деньги дать? Что-нибудь закажешь себе?

— Не, у меня кое-что осталось, — отклонил предложение Ник. Но уловив в его тоне недостаток энтузиазма, Власта решительно сунула в его карман двадцатидолларовую бумажку.

– Ник сядет возле входа и закажет себе какую-нибудь фигню. А мы сидим и ждём испанца. Если он жирный или с ним ещё что-то не так – мы сбежим: Джима ведь надо уесть, а не рассмешить. Уйдём, будто и не мы. Никто же не знает, какие мы. Может мы китайки, к примеру. А может, латинянки. В баре в это время народу полно. Он, сказал, будет в чёрном. Говорит, чёрное – любимый цвет испанцев. Хотя он мексикашка, вот увидишь, что я права. Они любят выдавать себя за испанцев. И ты, Ник, уши на макушку, когда нарисуется какой-нибудь хмырь типа мексиканца. Он сказал, что ему тридцать. Вот всех от двадцати одного до сорока и осматривай. А если он какой-нибудь придурок, но неплохой внешне – мы покрасуемся с ним перед Джимом, уйдём вместе из бара и потом уже сбежим. Тогда быстро плати и тоже – ноги. За нашей машиной. И на другую Емелю!

– Ну, ты и сливаешь файлы, – только и смог произнести оторопевший Ник.

– А ты думал – мы чайники?

– На чайники вы не топчете. Только... уж больно чёрная сборка.

– Белой надо удостоиться! – впялилась в Ника своими зелёными фарами Власта. – А каждый ламер мнит себя крутым юзером – это факт. Нам надо себя обезопасить. Потому будешь сидеть и наблюдать. Ты у нас секьюрити – система безопасности, ясно?

– Клёво. Я – авиком в ауте.

– Именно в ауте.

Из всего диалога я поняла лишь одно – Ник согласился побыть нашим телохранителем.

10

Мы расположились в «Гекторзе» за столиком, который приютился возле самого окна. И вход был рядом. Камин уже вовсю пылал, свечи в круглых оранжевых плетёнках уже были зажжены, удлинённые, похожие на огромные стаканы, светильники загадочно мерцали, превращая усталые лица клиентов в молодые и юные. Народ уже звякал бокалами. Но было его пока негусто, и нам было хорошо видно с обеих сторон, кто входил и кто выходил. Среди посетителей просматривалось немало женщин нашего возраста. Те из них, которые пришли сюда «в надежде», отличались от просто пришедших глазами, точнее, особым – ищущим – блеском в них. Но в этот раз подобного блеска почти не было – женщины просто расслаблялись перед сном. Здесь, в этом северном штате, дамы часто ходили в питейные и не только в питейные заведения одни, без мужского сопровождения, и это облегчало нашу задачу. Светло-оливковые и такие же, как у Власты смугловатые лица тут на себя внимания не обращали. Потому что их вокруг было куда больше, чем белёсых. Белолицые снобы предпочитали работу развлечения и, если появлялись, то ненадолго. Их любимые часы были, как у Джима, с девяти до одиннадцати вечера.

Надо сказать, что «Гекторз» располагался в одном из самых престижных городков штата – в Керкланде. Это было излюбленное место богачей и тех, кто под них косил. Первые здесь как-то не очень задерживались: выпили, перекинулись друг с другом парой слов, благо многие завсегдатаи знали друг друга, и, занятые своими мыслями, разошлись по домам. Наверное, для местных обитателей «Гекторз» был просто забегаловкой, в которой вкусно готовят и недорого поят. Ну а прочие посетители – демократическое большинство, которое наезжало сюда из менее престижных мест – не спешили и устраивались поудобнее на весь вечер. Как, например, наши знакомые Дворники.

Дворниками их назвала моя бывшая подруга Аня. Она приехала из Петербурга, где почти тридцать лет отпахала библиотекаришей. Ей самой было под пятьдесят, потому надеяться на устройство личной жизни у себя на родине уже не приходилось. К тому же Аня имела немного «экзотическое» происхождение: она родилась «на зоне», о чём всех и оповещала при первой же встрече. Что ещё больше снижало её шансы. И когда выдался случай, Аня без всяких сомнений двинула сюда. К её изумлению неизбалованное изящной худощавостью местных дам мужское большинство Кёркланда приняло её... за мою сверстницу. И, снисходительно поглядывая на всех взглядом доброй мамы, Аня даже не тратилась на тряпки – в хитромудром освещении «Гекторза» она и так проходила на ура. Правда, недолго. Наверное, дальше начинала опять рассказывать про «зону»...

Так вот, Дворников было двое и работали они на «Боинге». Не инженерами, а какими-то проверьяльщиками самолётных заклёпок. И так как их цели были не менее высоки, чем полёт их «Боингов», Дворники вовсю вкладывались в святое дело поимки богатой невесты. Они не скупились на дринки и не пропускали в «Гекторзе» ни одной игры в бейсбол или американский футбол, что шли в прямом эфире на экранах бара и были очень удобным поводом для посещения. Но америкосы есть америкосы. На дринки-то они тратились. Бывало, даже что-то из меню заказывали. Тем не менее, своего Дворника Аня смогла раскрутить лишь на то, что он повёл её на концерт гастролировавшего тогда в Сиэтле Ростроповича. Промучавшись два долгих часа под музыку виолончели, Дворник вежливо испарился с Аниного горизонта. И теперь каждый раз, когда я его тут видела, он с ужасом описывал, как вынужден был два часа смотреть на старенького дедушку и бояться, что каждую минуту тот мог замертво свалиться в оркестровую яму. И все два часа несчастный соискатель богатых невест думал только о том, вернуть ли ему, Дворнику, в этом случае деньги за билеты.

Короче, те, кто приезжал в «Гекторз», приезжали именно в «Гекторз» и совсем не намеревались, например, бродить над заливом, теряя возможность досидеть до закрытия. Хотя это было самое



живописное место в городе и люди гуляли здесь чуть ли не до утра. Дом – рядом. Захотел – вернулся. Захотел – гуляешь. Этот город богатые люди создали для себя!

Кёркланд был один из немногих городов, где можно было, как я уже сказала, ещё и пройтись над заливом, что ртутно светился между коттеджами и где в тихой воде плавали селезни, а то и самые настоящие чёрные лебеди. Поглядывая в сторону домов на высоких сваях, которые оккупировали немалую часть залива, Власта мечтательно прикрывала глаза и рассказывала, в каком именно месте она приобрела бы квартиру, если бы папа приехал и раскошелился.

Приехать и раскошелиться он обещал ещё в прошлом году. Но что-то не ладилось в его пиратских делах, всё время возникали какие-то тёрки с законом, и визит папы откладывался. Хотя планы о покупке не отменялись.

– Так, не видать ни Джима, ни мексикашки... Ой, смотри, – прошептала Власта, указав глазами на дверь. В проёме стоял юный Антонио Бандерас – невысокий длиннокудрый паренёк, возрастом, пожалуй, младше меня. Он был в чёрной рубашке с открытым воротом, из которого змеилась примерно такая же, как на мне, серебряная цепочка. Наверное, для пушей убедительности за плечом Бандераса болталась гитара с почему-то красной гвоздикой, которая была, возможно, прикреплена скотчем. Наверное, именно скотч и топырил карман его тесных джинсов, тоже чёрных.

– Наверняка он! – подтвердила свою догадку Власта, потому что за спиной нового посетителя возникло улыбающееся перепелиное яйцо физиономии Ника.

– Эскюз ми, – пробормотал Ник и, без всяких церемоний отодвинув Бандераса, прошёл к барной стойке.

Это он хорошее место выбрал, оценила я сообразительность юнца. С его места можно было не только свободно наблюдать и слышать, о чём мы говорим, но и следить за новым посетителем, который замер в дверях. Причём, своего лица Ник почти не открывал – как раз на стойке рядом с ним расположился лапчатый цветок, из-за листьев которого лица было не разобрать.

Впрочем, юный Бандерас в чёрной рубашке и сам мог принимать вид такой неподвижный, что его в итоге можно было спутать с деревом или кустом, украшавшим вход. Уже через несколько мгновений он стал как бы незаметным, слился и по цвету и, как ни странно, по форме с тёмным стволом, возле которого стоял.

– По-моему, он ничего, хоть и совсем зелёный, – заметила Власта и уткнулась в соломинку. – Для Джима, однако, сойдёт.

– Ты думаешь? – усомнилась было я, тем не менее послушно протягивая руку к фужерному овалу с вином. Но второй ствол дерева вдруг ожил, блеснул цепочкой и тут же развернулся ко мне. С мгновенье поколебавшись, он уверенно подошёл.

– Пери?

Я опешила, но Власта тут же закивала утвердительно:

– Она-она.

– А я Санчо.

– И родился ты в Мексике, – утвердительно и без тени сомнения с места в карьер поднажала Власта, трогая цветок на гитаре, которую наш новый знакомый прислонил к стене с её стороны.

Ответа на это заявление не последовало.

– Что пьём, девочки? – поднял он глаза, в которых ничего прочесть было нельзя. Темень она и есть темень. В этом смысле глаза Власты были куда выразительней. Они и сейчас отражали её конкретный вопрос, который хоть и прозвучал как утверждение, но, вероятно, со стороны нового знакомого всё-таки ждал подтверждения. Впрочем, никакой необходимости в этом не было – наши ухажёры как легко находились, так легко и терялись.

Уже потом, когда первые бокалы текилы-санрайз были осушены, он заметил, что родина Дон-Кихота – его родина, где он родился ровно двадцать пять лет назад. Наверное, уже забыл, что ему тридцать.

Власта по-прежнему веселилась. Но не мешала. Ей, как психологу, наверное, было интересно послушать и в чём-то для себя убедиться. Скорее всего, она опять ставила диагноз. Это было её любимым занятием – ставить диагнозы новому человеку. Такая уж у Власты слабость. А я просто слушала. Тем более, мой новый знакомый вёл себя почти как библейский Змей. Похоже, он даже не сомневался, что решит какую-то только ему известную задачу, но пока не спешил с ответом. А может, иначе ему и не надо было, потому что глаза змеи всё больше ввинчивались в мои, лягушечьи диоптрии. Но у лягушки ещё вполне хватало сопротивления змеиному неводу, да и Власта была рядом.

– У тебя братья-сёстры есть? – спросила она шаловливо и взглядом показала мне, что всё будет в порядке, мол, не дрейфь, подруга. И вообще – что его ответ ей тоже заранее известен.

– Пятеро братьев и сестра. Младшая, – нехотя оторвался от лягушки змей. Казалось, что он и сам немного загнипнотизировался и не вполне может контролировать собственные ответы.

– И все испанцы?

– Да нет, – он посмотрел на меня с явным сожалением. Вмешательство надоедливой Власты ему мешало по-настоящему сосредоточиться. – Есть разные...

– То есть? – не отвязывалась Власта. – И мексиканцы? – Голос Власты уже раздражал его явно.



– Единокровная сестра – мексиканка. Ацтекская майя.

Взглянув ненавидяще на мою неугомонную подругу, он отвернулся от нас обеих, рывком потянул к себе гитару и стал тихо напевать, прикрыв глаза густыми ресницами. Он пел, словно забыв о нас, сладко и нежно, будто исполнял сложный ритуал, и нельзя ему было ни на секунду отвлечься от издаваемых звуков. Он словно бы настраивал себя изнутри. Он словно впадал в транс от собственного пения. И так как голос его был хорош, я тоже начала поддаваться какому-то непонятному очарованию – наверное, так пели сирены. Правда, сирены были женщинами. Но кто это знает сегодня наверняка – женщины ли, мужчины ли? А может быть, в те времена это и значения не имело, и главным был именно талант.

– Спокойствие, только спокойствие: нарисовался Джим! – шёпотом сообщила мне Власта и обняла как раз вовремя подвернувшегося Ника. Я тут же придвинулась поближе к юному сирене и положила руку ему на плечо.

– Как ты восхитительно поёшь! Спой ещё что-нибудь специально для меня!

Воодушевлённый Бандерас повернулся ко мне и тихо запел «Tired of being sorry» Иглесиаса. Краем глаза я отметила, как Джим, сев по другую сторону барной стойки, во все глаза уставился на меня.

А во мне опять проснулся музыкант. Я плыла от голоса, текста и непонятного счастья. Когда Бандерас закончил песню, я шепнула ему:

– Теперь я просто обязана тебя поцеловать! – и мы изобразили долгий горячий поцелуй, вернее, я изобразила, а Санчо охотно отдался моей игре.

– Дело сделано! Уходим! – потянула меня за блузку Власта и, громко хохоча, в обнимку с Ником все мы повалили из бара. Я держала сирену за руку и вела его к выходу, напевая только что исполненную им мелодию. Спиной я чувствовала, как Джим прожигает нас с Бандерасом глазами.

– А ну, вон отсюда! – не успела за нами закрыться дверь, вдруг гаркнул Бандерасу Ник. – Финиш! Тот удивлённо выпустил мою руку.

– Вы что, девки? – рассерженный не на шутку Ник потащил нас к машине. – Вы что, не видите, кто перед вами? Он же псих, по нему видно. Я таких знаю. Он ещё то-о-от! – выразительно протянул Ник, полагая, что нам уже ясно, что за птица этот сирена. – Всё, что он вам сейчас наплел – это же из его зоопарка в мозгах. Сегодня он – испанец. А завтра – может быть монстр. Или маньяк. Он играет то, что придумал в байме. А у этой, – он кивнул в мою сторону, – у этой на фейсе написано, что во всё поверит. Особенно в эту... как её... в любовь. Двинулись вы, бабы, на этой любви! По машинам! – по-хозяйски приказал Ник и опять кивнул на меня. – Кстати, когда машину ей покупать будем? Тут нужна хорошая машина, а то таких испанцев тут много.

Власта хохотала как ненормальная. Я же тихо улыбалась: латентная ревность – страшная штука! Но перед тем, как выпустить мою руку, юный сирена оставил в ней записку со своим номером. И один только Ник все ещё плевался и обещался морду надрать. Кому – он не уточнял. А мы не спрашивали.

11

– Миссис Смит, правда ли, что мистер Смит пытался Вас задушить и оскорблял, называя террористкой типа Саддама Хусейна и Усамы бен Ладена?

Я кротко подтвердила и указала на свою посиневшую шею. Это снова было первое слушание – но на этот раз уже по моему иску о защитном ордере. Судья – крутой румяный бородач – взглянул на меня, задал ещё пару вопросов и с готовностью подписал мою просьбу оградить меня от Джима на три года и пять фонарей! От счастья стоявшая рядом мисс Крон чуть не подпрыгнула до потолка.

– Мы его опередили! Теперь его ордер пойдёт вторым номером.

– Он подал на развод! – оповестила я её. – Поможет ли это как-то, повлияет на причину?

– К сожалению, нет, это не имеет отношения к разводу. Развод – это неотъемлемое право человека, а причина развода – личное дело, не имеющее для суда никакого значения. Но то, что мы его опередили, поможет тебе получить с него при разводе хоть что-то. Как долго ты была замужем?

– Полгода!

– Да, маловато. Но ничего, по крайней мере, квартиру на полгода-год, деньги на обучение и машину у него оттяпать можно. Машину тебе вы купили после свадьбы?

– У меня нет машины. И не было. Я ездила на автобусе!

– На чём-на чём? Насколько я знаю из бумаг, у него три машины, которые он тоже настоятельно просит оградить от тебя... Эх, занялась бы я твоим разводом! Но это по криминальному делу я тебя защищаю бесплатно, развод же – дело гражданское, и за то, чтобы твои интересы защищал адвокат, нужно платить.

– Мне нечем.

– Тогда вот что! Я знаю, ты живёшь у подруги. Но подруга не обязана предоставлять тебе приют. Ты можешь попроситься в государственный приют для бездомных!

Нарисовавшийся на моём лице ужас очень рассмешил лоершу.

– Ты не поняла! Есть специальные приюты для женщин – жертв домашней жестокости. Они



называются YWCA – Young Women's Christian Association (христианская ассоциация молодых женщин). Там только женщины и дети, а мужчинами не пахнет даже среди работников. И если тебя примут в YWCA – тогда не только в криминальном деле, но и при разводе тебя сможет представлять общественный, то есть бесплатный адвокат. Вот тебе буклет с телефонами всех приютов штата – обычно все подобные заведения забыты, потому звони во все подряд, где бы они ни находились. Где-нибудь местечко обязательно найдётся.

Вернувшись домой, мы с Властой принялись обзванивать приюты для женщин – жертв домашней жестокости. Все они действительно были забыты, к тому же приоритет в них отдавался женщинам с детьми. Везде мне задавали кучу вопросов и ставили на очередь – где-то место появится через месяц, где-то через два. Наконец, к концу второго часа место нашлось прямо сейчас. И нашлось оно в приюте города Такома.

– Такома! – скривилась Власта. – Это же помойка! Давай звонить по остальным номерам!

– Надоело, я голодная и устала. К тому же остальные приюты находятся чёрт знает где, а до Такомы – всего полчаса езды. Поеду уж туда, тем более ехать нужно как можно скорее, иначе место отдадут женщине с детьми.

Мы погрузили мои нехитрые пожитки во властин «Брэдли» и тронулись в путь. А по дороге решили заскочить в супермаркет, купить что-нибудь из пропитания. И в мясном ряду Сэйфвея я внезапно столкнулась с... Джимом!

– Послушай! – с готовностью шагнул он ко мне.

– Караул! – тихо прошелестела я, вытягивая посиневшую шею.

Ну, надо же! Именно в мясном ряду на фоне лиловатых кусков говядины! Мало того, здесь нет ни одного из пяти необходимых фонарных столбов! И Власты рядом нет!

Однако, вспомнила я, это общественное место и Джим имел право здесь на меня наткнуться. Хотя, совершенно непонятно, как оказался тут человек, отрицающий мясоеденье и питающийся исключительно овощами и морепродуктами.

– Пэри, дорогая! Я просто хотел извиниться. Я не имел права обвинять тебя в краже кредиток! Давай забудем всё. Возвращайся домой.

– Ага, – поразмыслив с минуту, ответила я, – ты только что заплатил пару тысяч разводному адвокату, и всё только для того, чтобы попросить меня вернуться? Что ты замыслил? Опять хочешь повесить на меня всех собак?

– Каких собак?! – изумился хазбенд. – Я никого не вешал, Сиенна сам перестал ходить в дом. Он демонстративно залёт возле бассейна. Он к черепахам ушёл. Вот увидишь: ты вернёшься – и он прибежит. «Вешать собак!» Что ты такое говоришь, Пэри! Я же тебя люблю! Возвращайся, всё будет как раньше.

– А раньше что было хорошего?

– Я куплю тебе машину! Заплачу за учёбу и курсы английского. Подадим на постоянную грин-крату.

Не знаю, чего бы он ещё мне наобещал, ведь всё равно свидетелей не было – можно наобещать с три короба. Но тут появилась Власта и так шуганула Джима, что я даже не заметила, куда он делся.

– Кого ты слушаешь? – возмутилась подруга. – Он хочет заманить тебя в дом и позвонить в полицию, что ты нарушила защитный ордер – и свой, и его. И тебя снова посадят в тюрьму – но уже без выкупа. Или вообще убьёт тебя... Поехали давай, Такома – так Такома.

Через полчаса мы въехали в облако невообразимой вони – это была «Aroma of Tacoma»: когда-то в этих местах был то ли деревообрабатывающий, то ли бумагопроводящий завод, древесина лежала в воде, заванивалась и благоухала на весь регион. Так, напоминая о себе, благоухает забытый в вазе старый букет. Только в Такоме благоухали миллионы огромнейших ваз с засохшими букетами. Завода уже несколько лет как не было, но почему-то на подъездах к городу прежняя вонь все ещё ощущалась, и у नेताкомовцев Такома всё равно считалась последним городом штата.

YWCA прятался в анонимном кирпичном здании без окон на первых двух этажах – наверное, чтобы не проникли злоумышленники. Мы позвонили в бронированную дверь, из-за которой нас и пространство вокруг нас долго изучали в камеру – не привели ли мы с собой врага женщин и не спрятали ли его в кустах.

За дверью я ожидала увидеть огромное помещение – типа бомбоубежища, уставленного узкими кроватями или даже раскладушками. Всё оказалось проще: приют представлял собой обычную гостиницу – длинный коридор в форме буквы «Г» с десятками дверей. Каждую жертву домашней жестокости определяли за одну из этих дверей – то есть, поселяли в отдельную комнатку (и даже не очень маленькую), в которой стояла узкая двухъярусная кровать. Второй ярус предназначался для детей, за исключением которых туда можно было складывать вещи. Кроме кровати, в комнате располагались ещё два стула, стол и железный умывальник. Остальные удобства размещались в обоих концах буквы «Г», при них же находились и круглосуточные посты дежурных, призванных, видимо, следить, чтобы женщины не совершали в туалетах самоубийства. При желании, конечно, можно было воспользоваться не туалетом – общим, где кранов с горячей и холодной водой была целая чертова дюжина, не

говоря о десятке биде – а умывальником. Мне было удобнее пользоваться тут, на месте. Но хоть пользуйся – хоть не пользуйся, главное правило YWCA оставалось неизменным: места общего пользования нужно убирать всем по очереди – как в коммуналке. График уборок висел в комнатах дежурных. Там же – телевизор, холодильник, плита... И ещё одно неукоснительное правило – возвращаться после одиннадцати вечера нельзя – могли не пустить внутрь. Впрочем, и вообще не приходило не дозволялось – за две неночёвки из приюта выселяли.

Я растянулась на жёсткой кровати-топчане и попыталась задремать. Но сон никак не шёл. И слова Джима не шли у меня из головы. А вдруг он говорил искренне? А вдруг он и правда купит мне машину и подаст на грин-карту? Как он говорил: «Пэри! Я же люблю тебя». Может и правда – любит. Всё-таки он мой муж и он такой красивый...

Где-то за стенкой заплакал ребёнок, и я опомнилась. Хорошо, что не мой. С ребёнком вся эта история выглядела бы куда драматичнее. А так – я сама себе хозяйка. И сама могу решать, куда повернуть руль.

Я попробовала нарисовать себе картину возможной счастливой семейной жизни с Джимом: снова наш дом, рыжий Сиенна и женатые лаковые черепахи в заросшем плющом бассейне, вечерние чаепития, которые я совершала в полном одиночестве – Джим, как и все американцы, чай не пил, а в гости позвать я никого не могла... И почему-то я не ощутила никакого желания вернуться. Вернуться – значило забыть навсегда и об «Изумрудной Королеве», и о Празднике Полнолуния и о таинственных элохимах. И о Бандерасе забыть, и о Зеке. Вообще забыть о том переполненном новизны разноцветном мире, к которому я ненароком прикоснулась. И снова погрузиться в удушающий полумрак жилища, где никогда не открывались окна, и куда никто не имел права ногой ступить. Не праздновать Новые года и дни рождения. Жить по-прежнему, в роли пассивного наблюдателя за самой собой. Только за собой не во всей полноте, а лишь в той части, которая устраивает хазбенда – по части кухни с его любимыми соусами, стиральной машины, урчащей каждый вечер как сытый кот, и главное – гигиены с большой буквы. Шампунь, мыло, всевозможные моющие средства, для которых моя консерватория и все прочие мои интересы были даже преступны. Потому что уводили в сторону непредсказуемых, даже опасных для них действий.

Власть! Так это же и с ней придётся проститься – или дружить украдкой, от случая к случаю... Не думаю, что Джиму понравится продолжение дружбы с ней...

Ах, а как пел тот паренёк – юный Бандерас... – словно рулоном шёлка разворачивался во мне сон. Он как сладкоречивый змей вкрадывался в меня и теперь уже уютно сворачивался клубком из радуги. И непонятно было, какой цвет в какой и где переходит, потому что радуга была зыбкой и прозрачной, какой всегда бывают радуги.

13

Цель оправдывает средства! Именно с этой мыслью я и сидела в приюте вот уже третью неделю. И уже третья неделя прошла с тех пор, как у меня появился секрет – от всех, даже от Власть: по вечерам я часами разговаривала с юным Бандерасом! Разговаривала по телефону, потому что приехать в Такому он не мог – как и у меня, у него не было машины. По телефону же он пел мне – а я ему, он рассказывал мне об Испании – а я ему об Украине, он учил меня испанскому, а я его – русскому...

Иногда приезжала Власть, привозила всякие вкусности, которые затем поглощали малолетние обитатели шелтера. Их тут было немало. В основном это были детки белых американок – тех, которые хорошо знали законы своей страны и умели ими пользоваться. То-то я видела, с каким подобострастием относились здешние мужья к своим американским женам. Эмансипированные феминистки, если затронуть их интересы, умели развернуться так, что мало мужьям уже не казалось. Отобратить нажитые «непосильным трудом» мужнины суммы или дома для них было раз плюнуть. Жён консультировали опытные адвокаты. И если жена была позлее, она и за решётку могла своего суженого упечь. Отыгрывались потом несчастные облапошенные мужички на новых жёнах – русских эмигрантках. То есть, американцы и русских не считали стопроцентно белыми. Как не считали белыми турков и даже белых японцев. Кажется, американцы лучше нас знали о нашем татаро-монгольском иге и были убеждены: если есть капля цветной крови, как говорили Джим и Эл, ты уже цветной навсегда. То есть, человек второго сорта. И считаться с тобой стоит только в рамках «политкорректности». Ну, или если ты имеешь большие деньги и способен постоять за себя. Хотя... Всё равно богатый белый, как правило, не брал себе в жены богатую цветную. Впрочем, и те старались (хотя уже по другим соображениям) найти себе пару из своих.

Тут, в приюте я познакомилась с одной русской женой. Её звали Ольгой, и приехала она сюда пять лет назад из Владивостока, где только-только окончила какой-то вуз. У неё были белокурые длинные как у русалки волосы и перламутровая кожа, на которую даже я заглядывалась. Портит Ольгу только проломленный нос... Она долго скрывала от всех семейные неурядицы. Её хазбенд – здоровенный толстый мужлан – большой додок по дамской части – при очередной домашней разборке мимоходом так заехал в перламутрово-белое лицо своей русалке, что она попала в больницу. И уж только оттуда по инициативе полиции оказалась в шелторе. Со своими двумя детьми. Рассматривая их фотографии, я никак не могла взять в толк, как они этих детей создавали? Он широк и толст как башня и она –



изящная, крохотная как нэцке. Мне казалось, что такие разные человеческие виды не дают потомства. Оказалось, дают...

Все пять лет в Америке Ольга просидела дома с детьми. У неё не было даже постоянной грин-карты. Какое уж гражданство! Наши бабы почему-то все считают, что главное – выйти замуж. А уж там как бог даст. Даст плохую судьбу – терпи.

В общем, историй я наслушалась – во! Очень продвинулась в знании английского! Самое удивительное, что за третью неделю моего пребывания случилось, что некоторые из постоялиц возвращались сюда по новой. Им после шелтера некуда было больше податься (ждать государственной квартиры можно было годами!) и, поверив посулам и клятвам своих мучителей, они являлись к ним снова. А те тут же восстанавливали статус-кво. И всё возвращалось на круги своя.

Конечно, большинство этих женщин было из малоимущих. Америка, разбаловав население лёгкими кредитами, основательно прихлопнула мышеловку, когда стало сложнее с рабочими местами. И, поменяв заработок на пиво и виски, многие мужья стали срываться на жёнах.

У меня, конечно, было по-другому: мой муж помешался не от безденежья, а от всё возрастающих доходов. Его дражайший «Шанипед» Власта пока оставила у себя – как-то неудобно держать дорогую дизайнерскую штуку в приюте для бездомных женщин. Собственный же велик Власты, привезённый мне взамен, чтоб я просто имела возможность проехаться по улицам этого вполне симпатичного и, как ни странно, совсем не вонючего городка – пахло только на подступах к нему – не стоял теперь без дела. Хотя я и так ухитрялась достаточно быстро пробраться в центр мимо небольших домов в зарослях цветущей жимолости, орхидей и магнолий.

Каждый день я отправлялась в библиотеку. Надо признать, здешние библиотеки были для меня пределом мечтаний. Я посещала уже третью, и все они были расположены в самых удобных местах, имели прекрасные фонды, были оснащены компьютерами и DVD-проигрывателями. Проигрыватели как проигрыватели, а вот интернет – это было то, что мне надо. Ведь за время замужества я почти не имела возможности общаться с родиной – телефонные звонки были дороги, а интернет располагался только в джимовой комнате и пароли к компьютеру он мне не сообщил. Писать письма тоже было накладно. Мало того, что письма шли долго, иногда чуть ли не по месяцу, по крайней мере, ответы я получала месяца через полтора. Но и цена почтовых марок была солидна. А у Джима, как известно, моргидж и таксы.

Именно отсюда, из стен библиотеки, я теперь вела переписку с родиной. События там по-прежнему не утешали – папа боялся потерять пенсию, бывшие однокурсницы – боялись не найти работы, а те, кто её имел, боялись, что им опять не выдают зарплату. Чтобы как-то развлечься, я попыталась войти в почту Джима. Я знала его электронный адрес, но пароль... Когда-то, ещё в самом начале нашего знакомства, Джим обронил, что паролем его ящика служит имя любимого им кое-кого. А кто у Джима любимый? Может, сам Джим? Я попробовала – «Джим». Нет. «Джеймс». Нет. «Джимми», «джимми», «1джимми», «джимми1». Ящик не поддавался ни на какую комбинацию. Тогда, без всяких надежд, я начала с другой стороны – «Пери». Нет. «Пери1». Тоже нет. «Параскева». Нет. Может, это нашего пса он считает любимым кое-кем? У одиноких людей и такое возможно. «Сиенна», «сиенна»... Я пробовала разные варианты написания букв во все трёх именах, пробовала цифры ставить то в начало, то в конец. Всё без толку. И тут я вспомнила имя, которое каждый вечер доносилось из разговоров Джима по телефону. «Эндрю». Нет. «Эндрю1». Открылось.

Вот так, между прочим, я и узнала, кто был самым любимым «кое-кем» в джимовой жизни. Среди всего, что я прочитала, я узнала, что дизайнерский Шанель Джим купил на интернет-аукционе за двадцать тысяч баксов! И купил он его для этого самого Эндрю. А Эндрю – да, это сын, тот самый «прототип», и что диадема ему нужна, потому что он собрался пробоваться на роль принца в какую-то детскую сказку. Хотя, убей меня, не пойму, к чему киношному принцу, да ещё и не утвержденному на роль, настоящая драгоценность. Ведь в кино можно обойтись любой стекляшкой. Мне показалось, что тысячная вещичка сыночку нужна совсем не для дела, а скорее, как конкретные деньги, которые иначе с папашы не стянуть. Впрочем, бедность моего хазбенда была весьма относительна: его годовой доход, судя по содержащимся в ящике банковским отчётам, превышал сотню тысяч. Наверное, сынок, в отличие от меня, это хорошо знал и – давил на педали. Во всяком разе, велосипед, хоть и Шанель, его не устраивал. Как минимум, он жаждал папашин «Понтиак». А папаша не имел желания расставаться ни с одной из своих трёх машин – престиж в его стандартно-идеальном мире был превыше всего. Так они с сыночком и дурили друг друга – один делал вид, что не понимает желаний другого. А другой – что его просьбы просто необходимо исполнить для общего взаимовыгодного продвижения к целям. Причём, папаше было выгоднее понемногу уступать. Совсем понемногу – вдруг вот-вот клонет? А сынку – кормить папашу иллюзиями обещаний – вот-вот, ещё чуток!

– Наконец-то я тебя нашла! – сияющая Власта стояла возле меня, пританцовывая от нетерпения. – Бросай интернет. Папа приехал!

Приехал Папа! Монументальный африканец за два метра ростом, с золотой цепью на могучей шее и смартфоном в широкой лапе, стоял, опершись на дверцу игрушечного рядом с ним лимузина «Хам-

мер». Это был настоящий потомок библейского Хама, по крайней мере, в его жилах струилась явно неразбавленная кровь. Сложение африканца было безупречным, как и белейшие зубы на морщинистом, похожим на грецкий орех лице. Тонкий бледный рубец на высоком шоколадном лбу уходил под поля модной шляпы.

— Дед Ахмед, — представился он, с трудом устраивая в лимузине длинные ноги. — Сокращённо — дед Боб. Боб, потому что так меня кличут друзья — это псевдоним. Дед, потому что у меня уже куча внуков почти твоего возраста. Даже правнуков уже с дюжину. Мне дочка рассказывала о тебе, — сообщил он и широко улыбнулся. Тут они с Властой были похожи. Показать свои белые ровные зубы ничего не стоило ни ему, ни ей.

Чернофрачный водитель, раскланявшись, церемонно закрыл за нами двери и, аккуратно сев за руль, рванул без всяких правил по улицам, чем вызвал у меня оторопь. Заметив это, дед Боб опять осклабился:

— Не бойся, мой шофёр знает, какую езду любит дед Боб! Дед Боб храбр, но он никогда не рискует без нужды!

— Если папа что-то делает, сиди спокойно, — подтвердила и его дочь. Она высилась рядом со мной с выражением гордости на лице. На её пальце сиял довольно крупный бриллиант — подарок ко дню рождения. Власта родилась в одном месяце со мной с разницей в три дня. Власта родилась под созвездием царственного Льва. Я же осталась пугливым Раком.

В гороскопе Власты, как она мне поведала, кроме Солнца, была в очень выгодном положении сама госпожа Венера — покровительница любви и всяческих земных благ. А бриллиант, как известно, один из камней Венеры, которая как раз и правит в гороскопе подруги почти наравне с хозяином месяца. Наверное, дед Боб намеревался таким образом обезопасить дочь от возможных тяжёлых вибраций старика Крона, который ухитрился залечь в гороскопе в некотором противостоянии к счастливой планете. Насколько я понимала в астроминерологии, этого можно было достичь и изумрудом. Но что изумруд против бриллианта!

— Папа специально приехал, чтобы отметить мой день. Он не смог в прошлом году, потому будем праздновать за оба. Правда, па?

— Правда-правда! Так у тебя, детка, проблема в деньгах? — не выпуская смартфона из крепких чёрных лап, обернулся ко мне африканец. — Я правильно понял?

Я кивнула. «Хаммер» летел по широкому фривею в сторону Сиэтла, как выпущенная из умелых рук стрела. Мы мчали по карпулу — линии, предназначенной для автомашин с пассажирами. Остальные, те, кто ехал поодиночке, вынуждены были плестись в длинной очереди, поминутно застревая в пробках. Когда-то Власта мне рассказывала, как придумала оригинальный способ дурить полицию. Она сажала на пассажирское сиденье большого, в человеческий рост, пингвина — мягкую игрушку, которую ей подарили на один из дней рождения, и в сумерках ездил так по карпулу. Сокурсницы, не оценив остроумия, крутили пальцами у виска и рассказывали про эту странную прихоть друг другу и, вероятно, кому ни попадя. Один из более башковитых слушателей сделал из рассказов свои выводы и, не долго думая, посадил к себе в машину надувную резиновую женщину. И вскоре на том попался. Вероятно, копы неплохо разбирались именно в надувных женщинах. Не приняв во внимание остроумие водителя, копы оштрафовали его по полной программе, так, что и Власта на всякий случай перестала испытывать судьбу. И в дальнейшем ездил по карпулу только с одушевлёнными пассажирами, например, со мной.

— Я привёз твои деньги, — сообщил Папа с таким пренебрежительным видом, что можно было подумать — речь идёт о копейках. Наверное, для него это и были копейки.

— У людей понятие о деньгах совсем неправильное, — продолжал он как бы между прочим. — А претензий сколько! У того больше, а он работает меньше. А этот вроде бы работает много, но качество-то плёвое! Всякая классовая ненависть — зависть. Всё идёт оттуда.

Как я поняла из рассказа Властиного папы, когда-то он — молодой талантливый коммунист — приехал на учёбу в ЧССР. Приехал за год до того, как что-то не задалось в отношениях между правительствами Сомали и Советского Союза. Когда же между ними таки были разорваны дипломатические отношения в пользу Эфиопии, и Сомали свернула на «капиталистический» путь, папа эмигрировал в соседнюю Эфиопию, где по-прежнему рулили коммунисты. После чего вернулся в ЧССР уже как эфиоп. Женился на Властиной маме, окончил с красным дипломом и институт, и аспирантуру, и уже готовился блестяще защитить докторскую, когда вдруг развалился и Советский Союз. И на той же коммунистической платформе несостоявшийся доктор технических наук дед Боб, тогда ещё просто Ахмед, отплыл на родину. Какое-то время пробавлялся мелкими заработками. Но его теоретические знания давали их совсем мало и...

— Как ты мыслишь, почему развалился Советский Союз, а? Империалисты поганые? Вражеские голоса? Нет. Всё зависть. У этого денег больше. И у этого больше. А у меня мало, хоть я лучше их — умнее. И работаю больше... Хотя ведь для нормальной жизни деньги не так важны. Что их — съест? На хлеб намазать? Да и в качестве белья не пойдут — бумажка. Правда, делают трусы бумажные, однодневки. В путешествии хорошо — сегодня надел, а завтра выкинул. Ну, может, ещё в качестве туалетной бумаги сойдёт. Правда, жёсткая. Мне не подходит. Люди сами себе создали бога в виде денег. А по сути разве в них счастье? Видел я богатых несчастными. И бедных счастливыми. Адам был голым, в чём



сотворили. И ничего. Если бы яблоко не съел, так и не знал бы, что чего-то не хватает... Но это всё так, философия, — заключил морской Харон и выглянул в окно лимузина. Мы и не заметили, что уже припарковались: машина стояла возле ресторана.

15

Это был настоящий эфиопский ресторан. Назывался он «Хабеша».

— Древние арабы называли Эфиопию Аль-Хабеша, что значит — смешанная, — вальяжно пояснял дед Боб. — Они считали её сказочной землёй, где смешаны идеи, расы и народности.

Внутри «Хабеша» все столики были заняты (просто дым стоял коромыслом!), и я по наивности своей решила было, что мест нет. Но, увидев нас, пировавший народ дружно повскакивал с мест и громко зааплодировал. Оказалось, Дед Боб арендовал всё помещение заранее по интернету. Вместе с настоящей африканской музыкой и африканцами в национальных одеждах. И пригласил сюда всех своих друзей и соотечественников. Ему хотелось хоть на один вечер попасть в обстановку, максимально приближенную к той, которую он знал когда-то и которая где-то в фольклорной эфиопской глубинке ещё жива и поныне. Дед Боб, хоть уже лет двадцать как вернулся в Сомали, всё равно считал себя в какой-то мере эфиопом.

Мы с Властой чинно уселись за центральный столик, торжественно и роскошно накрытый на троих, и стали рассматривать сюжетные абстракции, разместившиеся на кирпичных стенах ресторана. Это было нечто красно-коричневое, в тон нависавшим над нами разрисованным светильникам и орнаменту эфиопских музыкальных инструментов. Там же висели картины. Даже не сюжетные, а символические цветочные пятна, создающие странный колдовской настрой. Празднично приодетые официантки в изумрудных и серебряных браслетах сновали между столами, держа на узких и смуглых ладонях круглые деревянные подносы, уставленные плодами и кувшинами с медовым вином.

Нам тоже принесли громадное деревянное блюдо, на котором прямо в середине румяного блина, даже не блина, а блинница, лежали куски густо сдобренного чем-то мяса, есть которое положено было руками. И в плетёной из соломы корзиночке тоже золотились сложенные четверо громадные блины. Берёшь кусок, захватываешь им мясо и — в рот. Мясо оказалось таким жарким и таким острым, что во рту словно огнём польхнуло. Я, испуганно глянув на Власту, быстро отхлебнула вина. Его мягкий медовый вкус тут же умиротворил мои нёбо и язык. И под раскатистый смех деда Боба я всё с большим и большим аппетитом поглощала это сказочное блюдо. Чувствуя себя то ли бедуином в Сахаре, то ли себя Сахарой, которую поливал, наконец, долгожданный и прохладный золотой дождь.

Сверкали зубы, искрились белки глаз и позванивали золотые монетки на упругих животах танцовщиц.

Закончив уважительную церемонию приветствий с многочисленными гостями и с трудом разместив, наконец, монументальные ноги под столом, дед Боб глаголил:

— Ты пойми одну истину, дочка. Мы народ гуманный и мирный. Да, мы захватываем корабли. Мы зарабатываем себе этим на хлеб. Но мы ведь никогда никого не убивали. У нас табу на убийство человека, тем более белого. Наши ребята делились с пленными своей едой и питьём. Никто ведь не умер от голода и жажды! Я лично одному русскому капитану даже подарил кинжал из золота, слоновую кость и поделился с ним частью денег, которую получил от япошек за выкуп их судна. А что белые? Они стали нас убивать! За что?! Мы ведь как можем, так и зарабатываем. Когда-то нас предали и русские, и американцы, а теперь — так: у вас есть лишнее? Так дайте же и нам! Человек человеку обязан помочь! Разве с вас убудет поделиться лишним с нищим?! Вот и дайте! А кто же нам даст?!

Дед Боб выразительно растопырил огромные лапы, показывая, что, мол, «некому дать-то»...

— Когда-то мы строили коммунизм. Мы и были коммунистами — у нас тогда всего было поровну — хлеб, вода, мясо. У нас было много скота и хлебных деревьев. Когда пришли русские друзья, они построили нам заводы, больницы, школы. И сказали — вы не так строите коммунизм. Нужно работать на заводах и учиться в школах. И мы пошли на заводы. От сих до сих. Но! — дед Боб, как бы призывая к вниманию самого Аллаха, поднял указательный палец. — Это не в природе африканца. Мы не можем «от сих — до сих». У нас жарко. Мы можем работать, когда можем. Мы люди вольные и нам никак нельзя «от сих до сих». Раньше мы жили по солнышку. А теперь по часам. Но именно часы убивают свободу. Они её убивают, как ваши убивают антилоп! Без разбору. Просто убивают — и всё! Это многим не понравилось, и кто-то захотел всё изменить, чтоб было по-старому. А по-старому уже не получилось. Началась зависть — все захотели жить во дворцах, а дворцов на всех не хватило. И коммунизм дал течь. — Он грустно посмотрел на меня. — Я ещё долго оставался коммунистом. Я и сейчас, можно сказать, в душе коммунист. Но жизнь на шарике повернула в другую колею и ничего уже не изменить...

Дед Боб опустил свою бритую голову на ручищи и замер. Я с сочувствием смотрела на него. Мне тоже было жаль того времени, о котором я всегда слушала от родителей с удовольствием: квартиры, считай, не запирались, потому что замки были самые примитивные. Их можно было в случае необходимости, если, например, терялся ключ, открыть дамской шпилькой. Времени, когда у всех была работа, когда все могли бесплатно получать образование, когда давались бесплатные бюллетени, делались высокопрофессиональные бесплатные операции и оплачивался декретный отпуск — мама говорила,



что она и сама этим пользовалась. Не отправилась после диплома в заштатную музыкальную школу, а пристроились на полставки в городском оперном. Если честно, давать частные уроки было даже выгоднее, чем работать. Потому что шли живые деньги, и можно было, воспитывая меня, неплохо подрабатывать, не покидая дома. Да и цены были не в пример нынешним. . .

– Нет, – вдруг поднял голову африканец и посмотрел на меня, словно вынырнув из воды. – В пустом сердце – злые духи. . . Сегодня я уже не хочу жить не так, как живу сейчас. Сейчас мне моя жизнь – нравится.

Мы с Властой его не перебивали. . .

Мы молча слушали тихую калимбу, сопровождаемую подобием маракасов и морских раковин. Словно заметив установившееся за нашим столом молчание, вдруг дружно запели ксилофоны и маримбы с колокольчиками. Кто-то начал танцевать, хлопая в ладоши и бубны. Дед Боб всё никак не мог отойти от своих мыслей. Но когда возле нашего стола заколыхались шиллинги на юбках танцовщиц, он очнулся.

– А ну-ка, друзья мои, все в сад! – легко подбравшись, вдруг скомандовал как бы вынырнувший из самого себя дед Боб. Я даже удивилась, как запросто он вытащил свои огромные ноги из плена стола. – Я хочу побыть с близкими мне людьми! А вы кушайте и танцуйте. В сад, друзья мои! В сад!

Гости повиновались, прихватывая с собой круглые блюда и кувшины с питьём, хотя официантки тут же поволокли в размещившийся за рестораном пальмовый сад свежие блюда. Дед Боб, промокнув бритую голову белой салфеткой, исчез в туалетной комнате. Всё-таки хоть жара в ресторане была африканская, но пот по его лицу лил, как у обычного европейца. Наверное, сказывалась цивилизованная привычка к кондиционерам. Мы с Властой, переглянувшись, тут же выхватили из сумки телефон и кинулись в укромное место. Медовое вино требовало творческого выхода!

– Джи-и-им. О, Джи-и-и-и-им. . . – затянула старую песенку Власта. – Послушай меня, Джи-и-и-м-ми. Я так хочу тебя, Джи-и-и-и-м-ми. . . О, май гот, как я хочу тебя, Джи-и-и-и-м-ми. . .

Мне показалось, что в этот раз разговор с хазбендом длился куда дольше, чем в прошлый раз.

– Да он же клоёт! – объяснила она мне легкомысленно в ответ на моё замечание. – Я же звоню ему чуть не каждый вечер! Как время есть, так и звоню. Он уже давно не бросает трубку и слушает. А иногда вопросы задаёт.

– Вопросы? – удивилась я. – Какие, например?

– Например, он спросил, когда бы мы могли встретиться!

– Да ты что!

– Точно тебе говорю, он клоёт! Я ему почти каждый вечер названиваю. Правда, как только он начинает наседать, мол, приходи, так я занята. Мол, не сегодня, в другой раз. Я на работе и не могу сейчас.

– Как интересно!

Самым же увлекательным в этом было то, что всё это время Джим звонил мне с заблокированных номеров и умолял вернуться. И интересовался моими условиями.

– Может, лучше не надо. Ещё раскусит. . . – попробовала я остеречь подругу, но Власта только отмахнулась.

– Не раскусит! Он клоёт! И я его до дурдома доведу, вот увидишь!

И тут из динамика грянула арабская музыка, а в проёме, отделявшем наш зал от кухни и туалетов, в шёлковых карминного цвета шароварах, в короткой расшитой жилетке, унизанной звонкими золотыми монетками, появился. . . дед Боб. С пояса его также спускались звякающие колокольцами гирлянды шиллингов. Он медленно, словно щупая босыми ногами пол, прошёлся перед нами под музыку. Потом остановился, при этом все монеты на его наряде продолжали мелко подрагивать. Всё громче и громче смеялся металл, и вдруг мы поняли, что смех этот вызван поначалу совершенно незаметным движением бёдер африканца. Потом и торс его начал выводить свои круговые соло, и руки, и скоро всё громадное эбеновое тело вибрировало и извивалось, как тело змеи. Казалось, что каждая мышца, каждая рука и плечо движутся сами по себе, и только голова оставалась неподвижной. Она сверкала белками глаз и жила как бы отдельно от всей массы огромного тела, содрогавшегося, словно хвост анаконды, завораживая и призывая. И тогда с десяток красавиц в лёгких прозрачных нарядах, такие же звенящие, но лёгкие, словно синие, зелёные и золотые ящерки кинулись на этот его призыв.

И тканевое панно на стене. И некие древнейшие арфы – луки с несколькими тетивами-стрелами, тонко подрагивавшими на стене. И деревянные скамейки на входе с брошенными на сиденья расшитыми подушками. И огромные блюда с обжигающим мясом в ворохе трав, которое нужно есть руками – всё было как бы аккомпанементом к этому удивительному действию, имени которому, наверное, даже не существует в современном языке. Это была древняя уловка – сказать то, что может сказать только природа.

А из сада, будто откликнувшись, понеслась стремительная дробь барабанов. Сначала издалека. И напомнила она поначалу далёкие капли дождя, барабанившие по листьям. Потом дождь припустил сильнее, и все услышали топот ног, бегущих по зарослям молодого бамбука. Всё ближе и ближе их



хруст и вот уже, спасаясь от дождя, не только ноги, но и кончики пальцев рук, и костяшки пальцев, и запястья в серебряных кольцах браслетов и сама кровь, гулко пульсируя, мчат по звериным шкурам барабанов. И кажется — миг — и ввинтятся, и взлетят в небо как птицы древние копыя. И чуткое эхо, заблудившись среди синих, и красных, зелёных, и, как кллов тукана, оранжевых одежд, так и не проявившись, стремительно угаснет. А новая россыпь, перемешанная с запахами пряностей и золотом серёг, унесёт их в ту далёкую страну, где тёплый океан вылизывает гладыши-голыши тихих пляжей. Где под ритуальные звуки вместе с людьми топчутся ветры и скачут паруса, пляшут деревья и на жаркой земле подпрыгивают хижины, крытые соломой и атласом пальмовых веток. И в этом ядерном реакторе творится новый идеальный мир, мир без забот и горя.

— Мама рассказывала, что свадьбу в Африке тоже так праздновали — у папы ведь отец был вождём племени, — пояснила мне Власта. — Съехались все родственники, сколько их было в том племени, вся африканская родня, плясали целую неделю, до изнеможения. И все были просто счастливы!

— Просто безумно счастливы, — с упоением подтвердил морской волк. Он постукивал в расписные, почти как наши деревянные ложки, крохотные барабаны с деревяшками на нитках. — Ведь много для счастья не надо: хорошо покушать и ударить в барабаны!

...Мы уходили из ресторана далеко за полночь. Улицы были пусты, окна прикрыли свои глаза, а небо было плотно задёрнуто голубиною крыла шторой, сквозь которую звёзды проглядывали лишь кое-где. Когда мы уже сели в «Хаммер», темнокожие юноши в национальных белых нарядах вручили нам огромные блюда с орхидеями и розами. На прощанье.

Я чувствовала себя усталой. Всё-таки танцевать до утра под силу скорее детям природы, чем нам, жителям каменных джунглей.

— Ты говоришь, много для счастья не надо, — полюбопытствовала у отца не так утомившаяся подруга. — А сам с властями не в ладах!

— Почему не в ладах? — показал зубы дед Боб, блаженно откидываясь на сиденье. — Ещё как в ладах. Я им нужен. А они — мне. Не в ладах мы только когда не сговоримся в цене.

— А законы? — попыталась подать голос и я.

Старый пират громко расхохотался и посмотрел на меня с интересом.

— Поверь мне, детка. Когда дело завязано на больших деньгах, закона нет. Есть договорённость.

В ту ночь я впервые опоздала в шелтер — совершенно забыв и об его уставе и о времени. Лимузин доставил меня к бронированной двери почти в два ночи, и ещё полчаса мне пришлось выслушивать нравоучения дежурной. Ею в ту ночь была Салли — статная решительная чемпионка штата по бодибилдингу. Она предупредила: ещё одно опоздание — тем более без предупредительного звонка — и я вылетчу из шелтера. На моё место уже куча претенденток. Вылетать мне было никак нельзя — предстояли судебные слушания.

Но, забегаю вперёд, скажу — ничего у меня не вышло. Назавтра под шелтером опять стоял лимузин, и счастливая Власта опять вызывала меня: на этот раз — покупать дом. А в лимузине уже ждал риелтор.

Макс — совсем молодой человек лет двадцати трёх — был невысок, головоног, коротконог, коренаст, но не без определённого изящества. Работал он совместно со всей своей семьёй — его родители держали банк. Фотографии с рекламой этого банка, как и фотографии самого Максима — элитарного риелтора штата Вашингтон, красовались во всех «Перспективах» — многостраничном рекламном выпуске, который выходил не менее раза в месяц. Выбор пал на Максима в силу его русского происхождения — их семья обосновалась в Кёркланде так давно, что по-русски Максим разговаривал с тяжелейшим маловразумительным акцентом. В принципе, его речь было даже трудно назвать русской: из пяти сказанных им слов три были английскими.

Риелтором он начал работать всего три года назад, но это не мешало парню молниеносно проворачивать самые выгодные и дорогостоящие сделки. По крайней мере, пока другие с большим скрипом показали нам два адреса, бойкий Макс ухитрился свозить по десяти. Принимая во внимание, что Дед Боб приехал всего на неделю, это качество головоногого риелтора нас очень устраивало.

Всё, что показывал Головоног, мне нравилось. И, в общем-то, всё было неплохим. И потому что дома и кондоминиумы, на которых останавливал златоперстый палец дед Боб, размещались в красивых зелёных зонах на набережных, откуда хорошо просматривались парусники, восходы и закаты. И потому, что в некоторых были своеобразные островки природы — деревья располагались прямо внутри помещения, устремляясь кроной вверх, к звёздам, которые заглядывали вечерами сквозь стеклянную крышу. Подножия таких домашних деревьев утопали в самой настоящей земле, и это мне казалось особенно притягательным. На территориях таких кондоминиумов струились настоящие проточные озёра, по которым плавали чёрные и белые лебеди. А вход в комплексы охранялся специальной службой. Если бы я могла себе позволить подобную роскошь, я не думала бы ни минуты! Но разборчивый Дед Боб чего-то хотел ещё. А может, просто желал прикинуть все предложения рынка. Власта загадочно молчала, тая пока собственное желание. Ждала, когда Максим дойдёт до особняков на озере Вашингтон.

Но он почему-то всё ходил по кругу и, когда до отъезда отца уже оставалось три дня, молодая пиратка взяла дело в собственные руки.

— Максим! Неужели у тебя нет ничего прямо возле Билла Гейтса?

Дед Боб тут же метнул взгляд сначала на дочь, потом на риелтора.

— Да! — словно поставил он резолюцию «утверждаю» на документе. — Прямо возле Билла Гейтса!

Максим обалдел, несколько минут смотрел, пытаясь уяснить, не ослышался ли. Ведь особняки на побережье Медины, где жил Билл Гейтс, были по карману даже не миллионерам, а мультимиллионерам. Поразмыслив, парень вкрадчиво поинтересовался, а какая у нас кредитная история. В его опыте уже был довольно-таки занимательный случай с парочкой армян. Они, только приехав в Штаты, тут же захотели жить в огромной высотке в центре Сигтла. С видом на залив и озеро, с личными бассейном и лифтом. Цена таун-хауса переваливала за миллион.

— Ничего, — успокоили его покупатели. — Мы положим семьдесят тысяч наличными, а остальные возьмем в кредит.

В кредит так в кредит. Оформили сделку, новые хозяева въехали, живут... А когда оказалось, что сумма только процентов составляет десять тысяч в месяц... плюс налог на недвижимость... плюс взносы в ассоциацию домовладельцев... плюс страховка...

В общем, как швед под Полтавой, прогорели бедные армяне...

— Какой такой кредит-шмедит? — вперил Дед Боб масляные глаза в ошеломлённое лицо Головонога. — Я тебе прямо сейчас кэш выложу. Показывай, говорю, возле Билла Гейтса. Желание женщины — закон!

Вконец озадаченный Максим долго бубнил с кем-то по телефону, а потом, краснея и пыхтя, объяснил, что непосредственно возле Гейтса ничего не продаётся. И вообще, все дома в том уголке Медины продаются только между своими. И даже просто посмотреть дом Билла Гейтса снаружи не придётся, потому что на подъездах их завернёт служба безопасности. Но если клиенты хотят жить как можно ближе к этой мировой знаменитости, Максим может показать один дуплекс — дом на два хозяина — ценой в миллион. Дуплекс располагался примерно в трёх милях от вождя Власти, хоть и не на самом пляже, но во втором ряду от пляжа. Все были согласны и риелтор, пометавшись по навигатору, газанул. «Хаммер», с трудом сдерживая нетерпение, рывками мчал следом.

Да, это был всем дуплексам дуплекс! Мне не хватило бы ни слов, ни красок описать его! Широкий холл с мозаичными дубовыми полами и золотыми стенами, с ручками и люстрой из настоящего хрустала граничил с великолепным кабинетом, обшитым самым настоящим самшитом и деревом, происхождение которого угадать было невозможно. Древесина была так отшлифована, что напоминала тонкий атлас. В каждой из комнат одна стена была под огромный экран, который неустанно являл глазу то глубины океана с его кораллами и стайками разноцветных рыб, то таинственные джунгли с полузаросшими древними храмами, по которым носились обезьяны. Стены были раздвижными и двигались совершенно незаметно для глаза, трансформируясь в любое положение без единого звука. Деревья и фонтаны (некоторые были танцующими!) попадались по ходу, возникая из пустоты коридоров, и сопровождали своё появление тихой музыкой, которую можно было одним щелчком на панели двери заказать на любой вкус. Как, впрочем, и отрывки фильмов, шоу, телепрограмм, которые появлялись на экранах, где бы ты ни был, даже в огромном бассейне. И везде стоял запах леса и дивных цветов.

Но самое примечательное — спальни. Их было две: одна в гавайском стиле, другая — в стиле кантри. Меня сразила первая — та, в которой совершенно необъятных размеров кровать, по-королевски раскинувшись в центре, автоматически разворачивалась по ходу солнца. Утром — с востока на запад, вечером — с запада на восток. И можно было наблюдать как восходы и закаты из любой точки королевского ложа, так и движение звёзд на небосклоне, потому что, кроме совершенно прозрачной крыши, с трёх сторон, спальню окружали панорамные окна. Лишь четвёртая стена предназначалась для дверей, стола и специального лифта, который по заказу хозяев доставлял завтраки, ужины, а при необходимости и обеды с нижнего яруса, где находилась кухня.

— Нравится? — коротко поинтересовался папа. Власта, как и мы с Максимом, ошеломлённо молчала, рассматривая с балкона пляж и причал.

— К такому причалу яхта бы неплохо!

— Яхта тоже есть. Два теннисных корта и гараж, — всё ещё не веря своей грандиозной удаче, выдавил из себя Максим.

— Беру, — легла королевская лапа пирата на риелторские листы с описаниями объектов.

Назавтра начался процесс улаживания формальностей. Дед Боб оставил депозит с нужной суммой, включая «чаевые» Максиму, и доверенность на право сделки дочери — ему ведь нужно было уезжать!

Мы с Властой уже чувствовали себя абсолютно счастливыми! И с нами вместе был счастлив старый пират. Развалясь в уютном кресле хилтонского люкса, он курил кальян, запроваженный чатом — мудрёной африканской травкой — и, довольно поглядывая на нас, философствовал о том, что в жизни главное — ощущения. Если человека лишит ощущений, он перестанет быть живым. Человек станет сухим как долларовая банкнота.

— А зачем долларовой банкноте все эти города? И яхты? И вообще — всё? Ну, приобрёл, забрал, в сейфы упрятал. И что? Ну, поигрался. А дальше что?

— Тогда выходит, мы мало отличаемся от той же инфузории? Она — плывёт туда, где тепло, — засмеялись мы с Властой.



– Ну да, – согласился дед Боб. – Только ты, детка, учитывай, – вдруг резко повернулся он ко мне всем корпусом. При этом кресло под ним даже не провисло как обычно. – Нас ведь всех одна – единая матушка Природа создала. И создала всех одинаково. У всех у нас пища входит в рот, а выходит из задницы. Где в природе лукавство? Нет в природе лукавства. Тигр гонит антилопу, когда хочет жрать. Это раз в неделю. А бывает и в десять дней. Совсем не трижды в день, как люди. И врать тигр не будет. Хочет жрать – идёт охотиться. И антилопа сразу знает – надо убежать. А ваши люди будут улыбаться, клясться в дружбе и... жрать. Самого близкого сожрут и не подавятся. Куда нам, африканским дикарям! Мы почему пошли за Советами? Поверили во всеобщее братство и равенство. Люди далеко не совсем равны, а мы-то думали создать рай для всех. Чтоб у каждого своя лодка, своя кокосовая пальма и своё хлебное дерево. А бананов у нас и так – завались. А когда разгляделись... Как бы вы, детка, ни относились к власти плохо, она всё равно относится к вам хуже. На то власть. Сила. А значит, всё равно есть недовольные властью. Всё равно зависть. И тот, кто сильнее, отнимет твои изумруды и пустит их на оружие. А потом сравит одних против других. Третий ведь всегда норовит поживиться за счёт и тех и других. И без разницы – Советы или дядюшка Сэм – оба норовят.

– Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, – сострила было я, но наткнулась на осуждающий взгляд подруги: «молчи и слушай», – говорил он мне.

– Теперь мир в той фазе, когда одна пчелиная матка улетит из гнезда, а другая останется, – продолжал между тем африканский философ. – Всё идёт по законам природы и ничего тут нам не добавить. Сама видишь, страсти накалились. Уже инвентаризирован каждый астероид, уже по вселенной шастают, как по морю. Ещё немного, и одни усвистят куда-нибудь на Млечный путь и станут для нас ещё одним аллахом. А другие тут, на земле останутся. С женщинами и детьми. Потому что детей научились без женщин делать. И антилоп, и бананы... Мы уже не нужны. А вы, девочки, если хотите в этом мире чего-то добиться, ищите мужей не просто с деньгами, но с авторитетом, со статусом. Для этого научитесь играть в гольф и кататься на горных лыжах. Летайте только бизнес-классом и ездите только на новых дорогих машинах. Счастья, может, это и не даст, но свободу – непременно.

Он ещё раз потянул ароматный дым чата и выдохнул его круглыми, разной величины колечками.

Наутро он улетел в Африку. Чернокожий обладатель миллионного дуплекса на самом краю Дикого Запада. Как абсолютнейшее наглядное доказательство демократии в этой стране...

Ровно через неделю в Сомали пираты убили пассажиров американской яхты «Квест», среди которых были жители Сигтла Филлис Макэй и Боб Риггл. Несколько пиратов угодили к американцам в плен в качестве «языков». Что эти «языки» лягнули – неизвестно. Но ещё через сутки к нам в пять утра ввалились агенты ФБР. На дом был наложен арест. Все входы опечатаны, все замки закодированы. Мои десять трофейных тысяч так и остались лежать внутри каминной полочки. Самих же нас под белы ручки отвели в весьма серьёзное заведение и не менее серьёзно допрашивали о наших связях с дедом Бобом. Через три часа меня отпустили, Власту же продержали до вечера. Почти в полночь, попросив никуда не выезжать из штата, отпустили и её.

Ничего нам не оставалось, как вернуться восвояси, назад в реальность. А реальность, как всем известно, любит мстить за невнимание к себе...

Из-за недельного отсутствия меня выселили из шелтера. На моём топчане уже обосновалась мать с двумя детьми. Свои вещи я могла забрать у комендантши – но почти все вещи исчезли. Скорее всего, всё разобрали на сувениры жительницы приюта. И так как я потеряла в нём место, общественная адвокатша вероятнее всего больше не могла заниматься моим разводом – я была предоставлена самой себе. С двумя майками через плечо я вернулась к Власте в её однокомнатную квартирку. Она всё время пыталась дозвониться отцу – но вилла в Аденском заливе была глуха и нема. Власта не находила себе места.

Дед Боб вышел на связь только через неделю. По скайпу. Он кратко сообщил, что к делу с американскими заложниками непричастен, но вынужден пока уехать, и что даст о себе знать, когда сможет.

С тех пор мы частенько ходили в «Хабешу.» Лишь уже знакомые нам официантки, как и абстракции на стенах, вещественно доказывали, что тот день рождения вовсе не был сном...

– Мисс Крон, где проживала Ваша подзащитная после того, как была освобождена из-под ареста?

– Миссис Смит сначала жила у подруги, – ответила судье ведьмоликая адвокат, – потом в приюте для женщин – жертв домашней жестокости. Три дня назад она благородно уступила своё место в YWCA женщине с двумя детьми и вернулась к подруге в односпальную квартиру. Одним словом: жить ей негде, на работу устроиться она не может из-за отсутствия иммиграционного статуса и знания английского, машины у неё нет. Мы ходатайствуем о том, чтобы муж предоставил ей в постоянное пользование одну из своих машин, а также оплатил аренду квартиры на годичный срок и обучение английскому языку.

Судья пошуршала бумагами, внимательно прочитала справку о побоях – следах на моей шее – и обратилась к Джиму:



– Не будете? – усмехнулась судья. – Тогда решим этот вопрос проще. Дом, как я поняла, был приобретён вами до свадьбы и поэтому не подлежит под определение общей собственности. Дом – ваш, мистер Смит, и поэтому платить за него обязаны только вы. И так как ваша супруга два месяца мыкалась по друзьям и по приютам для бездомных, я хочу частично восстановить справедливость и дать ей временные права ещё и на вселение в дом. Но так как у неё действующий защитный ордер против вас, то вы обязаны, предоставив ей доступ к дому, сами покинуть его, чтобы не нарушать вышеназванный ордер. Думаю, вам – с вашим совершенным знанием английского – будет проще подыскать себе квартиру, чем ей. Что же касается магнитофонной записи, она не имеет к слушаемому делу никакого отношения, потому что в ней нет ни угроз для вашей жизни, ни опасности для вашей чести. Итак: ваша супруга вселяется в дом сроком на шесть месяцев, в течение которых вы обязаны предоставить ей в постоянное пользование одну из своих трёх машин и оплатить её обучение языку.

И она снова стукнула молоточком!

Я не поверила своим ушам: судья вернула меня обратно в Джимов дом!

– И всё-таки есть польза от того, что судья – женщина! – провозгласила довольная исходом дела Власта. – Будь мужик – ещё неизвестно, чем бы кончилось. Ты заметила, как она круто вела дело? Как крутила руль закона?

– Да уж, заметила, – наконец отдышавшись, кивнула я. – Захотела бы, показала бы нам твои «Джи-и-и-и-и-и-и-и, я так хочу тебя!» Говорила же – засечёт!

– Ну, ты – зануда! – Тряхнула пиратка золотыми кудряшками. – Смелость – она что? Она города берёт! Не дрейфь, мать! Теперь я буду учить тебя вождению! Наша взяла – это главное! И плевать нам теперь на твоего Джима!

И она, пританцовывая, направилась к машине.

И уже в машине, включив радио, мы узнали печальную новость: вчера ночью русская жена была убита американским мужем. Ей было двадцать семь, ему – пятьдесят семь. Остались двое детей. Она вернулась к нему после многомесячного пребывания в приюте Такомы. При этих словах я встрепенулась: а не об Ольге ли речь – русалке с проломленным носом?.. Да нет, никак не может быть – Ольга же вот-вот должна была получить государственную квартиру... Назвали имя жертвы – Ольга Браун.

– Теперь ты понимаешь, почему судья так расщедрилась – они-то уже знали об этой трагедии! – воскликнула Власта. – Вот уж точно: не было бы счастья, да несчастье помогло!

...Мы с Властой тихо подошли к недавно бывшему моему, а теперь и настоящему дому. Во дворе было как всегда тихо и, несмотря на солнце, от нависших деревьев сумрачно. Поднявшись по ступеням, я торжественно достала ключ. Но стоило мне повернуть его, в широко распахнутую дверь радостно влетел Сиенна. Он скакал возле нас обеих, тычась влажным носом в наши разгоряченные лица, и взлаивал с таким ликованьем, будто именно ему присудили этот дом, а заодно и курсы человеческого языка!

Законопослушный Джим мрачно отдал нам все остальные ключи, забрав с собой лишь несколько картин и – с помощью индифферентного Эндрю – оба «Понтика». В гараже к моим услугам остался старенький «Форд».

У других, стоит тронуть кнопку аудиосистемы, начинает орать попса или выводят свои рулады джазовые певицы. А в моей машине звучала Седьмая кантата Дебюсси...

Это ни с чем не сравнимое удовольствие – вести собственную машину и слушать Дебюсси. Скорость стаккато соединялась со скоростью колёс, слегка подсакивающих на головокружительных поворотах. И в этом упоительном полёте я чувствовала себя как дикий тарпан в горячей степи. Мне в ноздри бил ветер.

Потом напыляло анданте и мы вместе с Дебюсси могли отдаться своим снам наяву. Ведь когда сливаешься с бегущим пространством, нет тебе никакого дела до знаков. Потому что в их радио нет сна, а значит они где-то по другую сторону твоей реальности. И потому мы идём параллельно, не мешая друг другу.

Что такое человек? По сути, крохотная пылинка среди вселенской пыли. Только его сознание бесконечно и всеобъемлюще, но и оно сливается с вселенским сознанием. Пока я только набираю свою корзину яблок из этого Эдема. У меня уже нет якоря, который бы мог ограничить мою свободу. И я могу брать яблок столько, сколько захочу. А сколько захочу? Ведь когда мы руководствуемся лишь зовом чувств, боль приходит обязательно. А когда нами руководит опыт, мы теряем остроту чувств. И так плохо – и так нехорошо. Где же золотая середина?

Что-то звякнуло. Посмотрела – обрубальное колечко выкатилось из сумки и ударилось о ключи. Ключи от моего дома на целых полгода.

Чего же я хочу? Многого. Очень многого.

В динамике польхал Дебюсси.

ГАЛИНА МЕЩЕРЯКОВА

«ВОЗВРАТИ МЕНЯ ДЕТСТВУ...»

считаем потери
от века до века
и носит, и кружит
судьба человека

и кто-то страницы
листает, листает,
и жизни мгновенья
всё тают и тают

и множат потери
случайные встречи,
и гасит обиды
пылающий вечер.

сменяют закаты
росистые зори,
и облаком чайки
всё кружат над морем

над морем, где ритмом
приливы – отливы,
где бледный песок
волны лижут лениво.

лениво вздыхают
и пеною тают,
и наши следы
навсегда заматают.

Мокнут в саду
На дожде, на ветру
Цветы.

Падают капли,
Промокли, озябли
Кусты.

Ленты дорог
Под унылым дождём
Пусты.

И у окна
Без свечи, без огня
Ты.



Возврати меня детству,
Где под ласковым небом
Все мы жили надеждой,
Любовались мечтой.
Возврати меня детству,
Возврати и ступай,
Я останусь в надёжных руках.
Возврати меня детству,
Возврати и не жди.
Там оставь.

Возврати.

Уходи.

Эти грустные сны
С руинами в пустынях,
Где промокшая земля
Заросла травой.
Зачем дожди
В пустынях песка,
Где не прорастает трава?

Эти грустные сны,
Как холсты,
Написанные знаками,
Опять мы их смотрим.
Покатился шар, и нет его.
Мы вольны.
Встаём и озираемся кругом,
Трава, забудем сны!

Сколько стоит утро под солнцем
Цветам, траве и деревьям?
И двум одиноким белым колоннам,
В поле обозначившим середину земли?

Яблоку чего стоит вызреть на ветке?
И гипсовой вазе зажечься
Между тенью и листьями дуба?

Паутине чего стоят блики в повисших каплях,
Что смотрят в лицо воды,
Где в бетонном жёлобе дрожат листочки вербы?

Вот он, как кубок не выпитый – Простор!
Завоёванный, но не познанный,
Озаримый, но безнадежно далёкий.
Ветка акации в моей руке – вот Он!

ЛЕОНИД ЯКУБОВСКИЙ

КАК МУМИИ

Если бы знала ты, как я боялся всегда
смерти. Как жил я! Как будто на плечи мне груз
был непосильный положен. Минули года –
я и сейчас, за окном притаившись, боюсь.

Трогая штору, я слушаю шорох листвы
тёмной, ночной, над которой сияние льют
звёзды. И, вдруг оживая, деревья, кусты,
ветром встревожены, в чёрную пропасть бегут.

Пальцы вонзив в подоконник, я словно прилип
к этому смертному страху ночного окна!
Рвётся душа моя и над вершинами лип
в лунном свеченье летит совершенно одна.

Глядя ей вслед, провожая над бездной её,
сколько я раз содрогался на самом краю!
Тысячу раз примерял я к себе быггё,
в тысяча первый – со смертью себя примирю.

ПОД СОЛНЦЕМ МИРА

И падал плач Иеремии
куриным дождиком слепым
на каменные мостовые,
на пепел улиц, в белый дым.

Великой башней из сапфира
и монолитного стекла
увенчан мир был, и над миром
она сияла ликом зла.

И отблески её летели
на старые круги руин,
где вились люди, словно тени,
и жизни не было причин.

Где каждый был – безмолвный странник.
Где женщина склонилась над
младенцем мёртвым, и кустарник
за ней светился, как оклад.

Когда совсем не стало веры,
и чистой не было воды,
к руинам приходили звери,
чтоб выть в сиянии звезды.



Был жутким вой тот, как над гробом,
протяжный сумасшедший вой.
А там, над облаками, Робот
стоял на башне мировой.

Гигант с алмазными глазами,
с мечом и в латах золотых,
готов был биться с небесами
и сонмом ангелов святых.

Он встал под самым солнцем мира –
властитель мыслей и границ,
и механическая лира
смела живое пенье птиц.

Ему народы всех религий
склонились на земных кругах,
и сон забвения великий
вошёл в них, и смертельный страх.

И падал плач Иеремии
куриным дождиком слепым
на каменные мостовые,
на пепел улиц, – в белый дым.

РУБАХА

Как гнётся под ветром сирень
и долго дрожит, как от страха.
На чьём-то балконе весь день
на плечиках кружит рубаха,
и рвётся, и пляшет, как бес.
Как будто то висельник грешный
взметнул рукавом до небес
и нам угрожает потешно.
То вдруг развернувшись спиной,
представится жутким виденьем
с отрубленную головой
в соседстве с балконным растением...
Сирень припадает к земле,
листами глаза закрывая,
когда той рубахи во мгле
изнанка блеснёт роковая.

КАК МУМИИ

Весь день пылало солнце и казалось,
что нас оно изжарить собиралось.
Мы голыми стояли у воды
и ждали появления звезды.

Как мумий, жаркий воздух спеленал
всех нас. Мы лишены были движенья,
и мир казался узким, как пенал.
Мы ночи ждали, как освобожденья.

И долго море рыбьими глазами
следило из-за берега за нами,
и так цвели безумно те глаза –
в них виделась угроза и гроза.

Не менее безумные сонеты
мы мысленно слагали в этот мир,
в них пузырями лопались планеты
и кровь стекала медленно, как жир.



Взлетали, как ракеты, пирамиды.
В сопровожденье юной Афродиты
на ангела похожий человек
шёл морем, превращая пену в снег.

Вся жизнь фантасмагорией казалась.
Вращалось солнце огненным мечом
и мозга обнажённого касалось
в последний раз, взорвавшись за плечом. . .

И вот взошла звезда, как божий ангел.
Смысл бытия обычным плодом манго
нам явлен был, как тайное число, —
ночь принесла прохладу на чело.

Мы в море полоскались, как дельфины,
качая лунный свет на плавнике;
несла волна вечерние Афины,
как лёгкую жемчужину в руке.

ВЕРСИЯ АНТИЧНОСТИ

Казнокрады, мерзавцы, убийцы
или цезари и патриции.
Украина, была ты Элладаю,
греки здесь высекали статуи.
Здесь плодились от лоз виноградных
кровопийцы, луны, казнокрады.
У подножий дворцов и храмов
вырос лес из рабов и хамов.
И святое возшло лизоблюдство,
войны, кровь, и другие паскудства.
В результате не стало Эллады.
Греки сдымили, бросив латы.
Здесь осталась одна Украина —
казнокрады, рабы, руины.

МАРИНЕ ХЛЕБНИКОВОЙ

Ах, как умно, талантливо, красиво
писали вы, Марина. Этот нерв,
меж строчками светящийся курсивом.
Манера ваша — верх иных манер.

Но вы ушли (и в этом вся задача),
по-королевски эту жизнь воспев.
И дышит мир, не помня и не плача,
невзрачный мир не любит королев.

Как жаль, что с вами не были знакомы.
Как жаль, что не пожать уже руки.
Несовершенны время и законы,
свет зыбок в окончании строки.

Вот это снег, сияющий, блестящий чистотою,
вот этот снег, укутавший, как куклу, шар земной;
вот этот снег, не тронутый и ангельской стопою,
вот этот снег, поднявшийся, как небо, надо мной, —
вот этот снег, о Господи, не таял бы веками,
вот этот снег, как белая большая тишина,
лежал бы неподвижными над сердцем облаками,
великим забвѣм еще невиданного сна.



И мир вокруг не такой, как прежде, —
пустой, будто патрон без лампочки.
Живёшь и ждёшь, когда личинка надежды
со временем не превратится в бабочку.

Что ж, спасут кого-то корабли,
Кто-то сам спасётся в этом мире.
Плату материнскую Земли
Разъедает смертоносный вирус.

Хоть бы кто из мёртвых да воскрес,
Чтобы путь предначертать живущим.
Но семь вёрст, как прежде, до небес,
Ну, а вниз того дорога пуще.

Справа ангел божий, слева бес —
Только шаг от славы до позора.
Каждому по силам выбран крест,
Каждый под него находит гору.

ВСЕЛЕННАЯ ЗА ЗАБОРОМ

Дождь идёт за окном,
а во мне
прозябает сердце.
Сад заполнен
зрачками яблоч,
подёрнутых
поволокой печали.
Вселенная
начинается от забора,
похожего на выписанное
римскими цифрами число.
Пытаясь прочесть его,
упираешься взглядом
в тупик переулка,
по которому колосятся
осенние ливни.
Аббревиатуры зданий
скрывают название города,
но каждый, кто смотрит
сквозь этот дождь,
прочитает его по-своему,
вспоминая родных и близких.

Ни тостом, ни сытным обедом,
Ни поздним признаньем вины,
Когда отмечать день Победы
Солдатам Афганской войны?

Мы помним «счастливое детство»,
Парадов торжественный зык.
Хотя пи разделе наследства
Достался нам только язык.

За все эти сбои и путчи
Кого же послать налегке
На нашем великом, могучем,
Как праздничный залп, языке?



Успеть, успеть ещё махнуть крылом
Кому при встрече, а кому прощаясь,
За свет улыбки или чашку чая
Расплачиваясь лунным серебром.

Я ощущаю боль избитых истин,
Библейское значение греха.
И жажда жизни наполняет смыслом
Пропущенные строчки впопыхах.

Вы спорили долго, страстно,
А кисти усталых рук
Как будто мешали краски,
К ним добавляя звук.
Но чтобы ни говорили,
Красноречивее слов,
Как много вы предъявили
Прекрасных своих холстов.
А те, что не показали,
За шкафчиком, где темней,
Как будто их наказали,
Стояли лицом к стене...

О, кто над природой властен
Добротных своих работ,
Конечно – прекрасный мастер!
И всё же талантлив тот,
Кто может переиначить,
Стереть, разорвать, забыть!
Удачи без неудачи
Просто не может быть!
Умейте, как день вчерашний,
В себе пережить успех.
Быть лучше других не страшно,
А страшно быть лучше всех.
Стремление жить с азартом
Есть в творчестве, но при том
Оставьте себя на завтра
И далее – на потом.
Пусть ветры других столетий
Над вашей судьбой трубят!
Для Вечности не жалейте
Ни времени, ни себя.
Кто в жизни считает годы,
Пропустит счастливый миг.
Бессмертие, как свобода,
Заложено в нас самих.
Пускай у тех, кто пожалует
К вам в гости через века,
Невольню к рукопожатию
Протягивалась бы рука.

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН

Я ПОЛАГАЮ, ЧТО МОЛЧАНЬЯ НЕТ

вступительное слово

Прежде, чем говорить о журнале «Новая реальность» надо вспомнить его предшественника «Транзит-Урал» [можно сказать, черновая запись того, что получилось у нас на данный момент], явившего себя свету в марте 2003 года в Челябинске в формате восьмистраничной газеты со слепой печатью на ризографе. Вступительная статья первого номера заканчивалась следующими словами: «не столь важно — как и кем мы будем выглядеть для других, гораздо выше всегда будет стоять другое — проявление воздуха, из которого можно будет ткать литературное покрывало, появление реального выхода (выход=вход) из челябинского маниакально-депрессивного психоза, синтез в наших квартирах-катакомбах новых вирусов и бактерий, что смогут заразить новичков и так далее, и тому подобное... Этот маленький шаг надо сделать сейчас — иначе так и будут подыхать (извиняться — за экспрессивность выражений — не посмею!) молодые авторы от древнерусской тоски: неостребованности другими собеседниками (или коллегами) и, как следствие, невозможности самоидентификации — с вопросами типа: Мама, я слон или блоха? Нелепо говорить о процессе и своём месте в нём, надо жить, писать и помнить что интересную (трагичную? веселую? бесшабашную? безголовую? разумную? — выбирайте сами, но главное: свою) жизнь спровоцировать можем только мы сами. Никто нам не поможет. Только бумага или экран монитора и судьба, которую мы выбрали сами...». Сказанное выше и стало основой стратегии журналов, а также сопутствующих им стратегий. Постепенно журнал «Транзит-Урал» вырос до шестидесяти четырёх страниц А4-го формата, со своим кругом авторов, своей группой читателей, приобрёл издателя, регистрацию как СМИ и, что, безусловно, важно команду: Олег Синицын, Наталья Деревягина и ваш покорный слуга. Была запущена серия фестивалей современной поэзии Урала и Сибири с одноимённым названием. Единственное, что становилось препятствием на путях развития — это региональная [уральская] направленность.

Затем, в 2006 году, произошло то, что называется биографией — не суть важно. И автор этих строк переехал в небольшой город, расположенный почти ровно между областными центрами Екатеринбург и Челябинском. Город назывался Кыштым, и в городе был интернет. Несколько отдохнув от перемен своей биографии, в 2007 году, мотор опять закрутился — результатом чего стали литературные фестивали («Новый транзит», правопреемник челябинского фестиваля и фестиваль литературы малых городов им. Виктора Толочкова) и организация межгородского поэтического семинара «Северная зона». Оказалось, что нет лучшего места для организации какого-либо проекта, чем отсутствие и знания литературного процесса, и даже развалин этого самого процесса. Неожиданно на базе перечисленных фестивалей, через прямое общение за кулисами фестиваля (в том числе и через сеть) сгенерировалась общность новых уральских писателей. Поколением их назвать было нельзя — поскольку различие в жизненном и литературном опыте было огромно — от Яниса Грантса, рождённого сразу после смещения Хрущева, или Салавата Кадырова, появившегося на свет за два года до похорон Сталина, и до Дмитрия Машарыгина, явившегося в романтический период перестройки, и Александра Букасева, уже не знавшего СССР ни в каком виде. Что объединяло эту группу авторов? Общий метафизический код языка, общий глоссарий/шифр, и по сей день прозрачный лишь узкому кругу литераторов, общая идея, что стих пишется своей судьбой и на своём тощем теле, а поэты разговаривают на стрекозином языке (стрекоза предполагалась мандельштамовская). Когда собирается два человека, получается разговор, когда три — публикация, если авторов десять-пятнадцать — необходим журнал, как овеществление стрекозино крылатого гула, который должен быть услышан. Так в 2009 году был создан журнал «Новая реальность». В начале через этот журнал в русскоязычный литературный процесс были инкорпорирована и узаконена в своих правах собственно новая уральская поэтическая общность. После того, как эта малая цель была достигнута в той или иной мере, журнал открылся и это, понятное дело, послужило только его развитию. Сейчас у журнала — десять региональных представителей, которые предлагают материалы к публикации — это позволяет, несмотря на пропис-

ку в Кыштыме, журналу выходить ежемесячно, а благодаря развитию в мире POD-технологии иметь и бумажную версию издания. Ну и как бы самое важное, что случилось после появления «Новой реальности» (и в то же самое время абсолютно естественное) – вокруг журнала стали объединяться другие издания, не вошедшие в основной журнальный пул (Журнальный зал) – это объединение сейчас называется евразийский журнальный портал «Мегалит» (<http://www.promegalit.ru/>) и в его состав входит более тридцати изданий из самых разных точек мира. Может быть, это и есть самое главное достижение той группы литературных персонажей, которые десять лет назад подписались под этими словами: «не столь важно – как и кем мы будем выглядеть для других, гораздо выше всегда будет стоять другое – проявление воздуха, из которого можно будет ткать литературное покрывало, появление реального выхода (выход=вход) из челябинского маниакально-депрессивного психоза, синтез в наших квартирах-катакомбах новых вирусов и бактерий, что смогут заразить новичков...».

Всё получилось.

Нет, не так.

Всё получается.

А дальше я рад предложить вам к чтению авторов «Новой реальности». Этот гул можно и нужно слышать. Я полагаю, что молчанья нет...

ВЛАДИМИР ТАРКОВСКИЙ

г. Челябинск

Ты снег ты молоко ты снег
и так легко в сырую землю ляжет человек
ты молоко ты снег подобная прожилкам
корней замёрзших в чёрном но живом
а ты придёшь а ты укроешь белым
ты молоко ты снег ты чертишь мелом
два крестика как будто ты и я
потомками воспетая семья
когда-то живших посреди зимы
где снег где молоко
где я и ты
нашли поля которые утрать
и всё пройдёт и всё застынет разом
так лошадь грустно смотрит белым глазом
и лижет чёрным веком этот взгляд
так словно в молоке том яд
а снег клочки заоблачной бумаги
ты снег ты молоко и в этом благе
весь я
весь я

Но где тот я так сложно рассказать
в мышинном царстве бег периферии
цвета размазаны оттенки неживые
мазок так схож с другим что кисть
задумайся по старому пройтись
здесь не изменит ничего земного
и кажется что выйди я из дома
искать тебя на белый материк
пройдёт всего один лишь только миг
и крестиком к тебе пристану серым
нисколько не заметным рядом с белым

Ты снег ты молоко ты снег
и так легко в сырую землю ляжет человек
но вместе мы оставлены как нечто
что птицам не даёт покоя спать
под фонарём луны но вместе с этим
какая радость нашим вечным детям
по воздуху руками рисовать



ЗВЕЗДОПАД

На третьей Земле до которой дошли с тобой
Бергамотовые деревья потерявшие цвет выкорчеванные
Лежали со сломанными запястьями развенчавшись с корой
Но я держал тебя крепко за руку повторяя что ты моя

О не проси меня говорить с тобой на одном языке
Которого не осталось на выбеленной ветром коже
Я всё что тебе в этой жизни земной дорожке
Сжал как центурию грозную в кулаке

На третьей Земле до которой так долго шли
Ты девчонка безумная голая бросилась в воду
И безвременный гром предсказавший плохую погоду
Проржавевшей иглой непонятное небо прошил

О поплавай со мной поплавай со мной иди
Посмотри моё тело пронизал сандал и мускус
Я стою у воды я смотрю как твой абрис дрожит
Под полемикой волн как закат проливаясь густо

На взрыхлённую степь на разбросанный бергамот
Залепляет пространство руками младенца злого
Потерявшего крылья свои лук и стрелы втянув живот
Он сосёт млечный путь через дудочку крысолова

Мы на третьей Земле но от Троицы нет вестей
Мы совсем потеряли стыд даже змей при нас
О поплавай со мной сквозь ячейки хозяйских сетей
Золотую рыбёшку не ты ли однажды спас

И идём мы сквозь сети в обнимку с тобой вдвоём
Звездопад освещает песочное дно пруда
Только знает звезда без причины слетев в водоём
Что плеснуло за край то уже неживая вода...

Притворяемся мёртвыми начальные классы
Гололедица разбитые носы слетевшие ранцы
Это первый побег из промёрзшего Алькатраса
Щёки сухие щиплет но хочется улыбаться

Будто бы снег завертелся в подводном мире
Будто бы лебедь над Бухенвальдом умер
Ты в бежевом платье я в прошлогоднем свитере
Без костюмов герои перестают быть супер

Выползаем на тонкий лёд как медведи за нерпой
Дай мне ладонь я тебя если что спасу
Трансформер хрусталика зацементирован серым
Горизонт обращается в мутную полосу

Притворяемся мёртвыми чтоб не так страшно на воле
Это первый побег сантиметры от нас до земли
Поцелуй меня так поцелуй меня так как в школе
Так зимой наши губы к металлу когда-то липли

КАЛЕНДАРНОЕ

1.

День страшен как седьмая ночь
 Звезда слепит так что темно обоим
 Фосфоресцирует на кухонных обоях
 Очерченная лунная морковь
 Луна предвосхищающая прочность
 Висит на леске леска чуть видна
 Царапает периметр окна

2.

День трескается скульптора рука
 Пошла морщинами ты кутаешься в простынь
 Окно открыто только не простынь
 В дверном проёме я учу латынь
 Но говорю Азмь Есьмь и это проще

3.

День шаток как ослепший поводыр
 Двух ангелов истёршихся до дыр
 Так сыр велик, громоздка мышеловка
 Шумит сквозняк шевелятся ключи
 Я так боюсь себя смеющимся в ночи
 Что знаю где запрягана винтовка

4.

А лист дрожит должно быть это клён
 А небо падает должно быть это Он
 А ты прощаешь всё спросонья чешешь ногу
 Хомяк нашёлся наш он спал всю ночь в углу
 День чёрен словно пятнышко на лбу
 У хомяка иди прильни к окну
 Затмение как родинка у Бога

Мы бы были с тобой как Чук и Гек
 Как варяг и грек как Тулуз-Лотрек
 Может быть даже как Гойя
 На копытах ослиных стоя

Дождь идёт никому не нужен
 Дождь идёт
 Человек – он стоит простужен
 Он умрет

Чёрная птица жалеет о проводах
 Белая птица жалеет о проводах в небе
 Так ты искрился, мной первый опознанный птах
 Что никто и не верил...

Дальше колодцы, а дальше уж как-нибудь там...
 Плесень консервные банки бычки и покрышки
 Как покрышка вместились туда я не знаю и сам
 Но трубы, тревога, мы снова на Северной вышке!



МАРГАРИТА ЕРЁМЕНКО

г. Касли

Не думай – между нами пустота.
И пустота, бессмысленно смыкаясь,
Рекой течёт под перекат моста –
То медленно смеясь, то заикаясь.

А смысл уходит. Можно лгать, прощать
И наносить раненья ножевые;
Губами прикасаешься к вещам
И понимаешь, что они живые.

Позвякивая ситцевым стеклом,
Друг к другу крепко примерзают блюда;
И хочется быть девушкой с веслом
От невозможности с тобой вдвоём проснуться.

Такое в ноябре обычно снится –
в глухом бреду, на грани полусна –
метелью на стекле взлетают птицы,

и чудится не осень, а весна.
И чудится, что голос не надорван,
что капает, не время, а вода;

твой шёпот слышен в лабиринтах комнат,
а комната тепла, как никогда;
и Анджелина Джоли, как мадонна

на постере, и смотрит в провода,
где птицы свой полёт осуществляют
в полнеба. И садятся иногда.

А я боюсь, когда они взлетают...

речи твои несвязные
реки твои до дна
никому не подсказывай
строчки слова имена
никому не рассказывай
даже в беду в бреду
как я иду и падаю
как я иду – иду

крестиком вышивается
гладю надеется
научи меня жить и любить
я позабыла уже
как это делается.



Нет, вовсе не беда, а косточки от вишен,
 не тайна трёх морей, а добрая рука;
 длинноты февраля, промоченные крыши,
 короткая строка
 хлопочет целый день и бьётся в телогрейке –
 нелепая как смерть, любимая как дочь,
 свободная уснуть на тлеющей скамейке,
 как проклятая строчка. Голос твой и гол...
 Наитишайший голос.
 Не говори – молчи, не сотвори, но верь.
 Я верую, что мы – медовые, но пчёлы,
 закрытая, но дверь.

Стеной стоит вода –
 погода/непогода –
 снег движется туда,
 где коромысло входа;

где я к тебе иду
 по лаковому насту,
 по липовому льду,
 по ласковому счастью.

Воздушны снегири
 и трепетно взлетают;
 а мы всё говорим,
 себя перебивая.

Вечно вот так вот первая
 Заговоришь Богу:
 Господи, Господи, белая
 женщина и дорога...
 И в запотевшее зеркало
 Выдохнешь слово в слово:
 Я ничего не сделала.
 Я ничего плохого.

А.И.

и в воздухе сыром,
 и в колыбели сердца,
 и в голосе грудном,
 которым свет горит,
 я повторяю нас –
 от сердца и до сердца –
 ты только
 не умри.
 ты только не
 умри:
 и в долгом полумраке,
 катают фонари
 в деревьях костяных.
 я повторяю нас
 в таком безумном страхе,
 в любви.



АЛЕКСАНДР БУКАСЕВ

г. Челябинск

Ты со мною во сне говорила
И пела, как я умирал.
Из птичьего клюва в могилу
Незрячий ребенок бежал.

Ты сына просила, я помню,
И город сложила в подол,
Снеся его на колокольню,
Ты пела, ты стала водой.

Меня целовали старухи
Безгубыми ртами в глаза
Их лица стекали на руки,
Молитвами голос свисал.

Я тебя обнимал на качелях,
На качелях в солёной воде.
А из птичьего клюва к постели
Прозревший ребёнок летел.

плащмя ложится в рыбу и плывёт
приобретая внешне сходство с рыбой
которая становится вот-вот
поверхностью реки. её изгибов

хватает чтобы взять и отломить
от локтя предостаточно чешуек
и рыба проплывает напрямик
сквозь губы и наверно поцелуи

и выходя из рыбы словно ком
он застревает косточкою в горле
и рыба его поит молоком
и рыбным молоком его накормит

и выпустит наружу уплывёт
а он из опустевшей рыбной шкуры
построит плоскодонку или плот
и поплывёт за рыбой как придурок

в каком-то ноябре в каком не знаю
переплывали рыбы — как слова
слонявя чью-то речь — от края к краю
переплывали женщин целовать

и женщины спускались внутрь оных
неся внутри себя смолу и хлеб
и рыбы забирали женщин в жёны
а те тонули в собственной смоле

прокисшим молоком неязыкастым
и шли ко дну словесною гурьбой
по-рыбы расправляя ноги-ласты
и губы закусив другой губой

поплыли женщины – в древесную сорочку
одев тела – поплыли – пополам
сложив платки и спины или точно
не днища лодок не свои тела –

поплыли напрямую вместо кожи
и вместо человеческой земли
и рыбы целовались (предположим
что рыбы целоваться не могли)

как толстая кожа воды
снётся по твоим позвонкам
так ты говорил или дым
к твоим прикасался зрачкам

и их целовал как вдова
целуется с мужем когда
у мужа болит голова
(а кожа сошла как вода)

и реки идут по спине
в молочный тупик позвонков
куда затекает извне
богатый рыбацкий улов

(пчелиное горло смочив)
лениво жуёт человек
слюнявые губы грачих
зовущие в птичий ночлег

и вдовье камланье во рту
языческим богом речёт
и жирные реки идут
не соприкасаясь плечом

ВЛАДИСЛАВ СЕМЕНЦУЛ

г. Екатеринбург

СТАРТ К АНАСТАСУ

В конечном счёте, мы являемся никто
Никак. Ничто. Ни поцелуем. Ни зачем

Ни окнами, и не иконами в размер окна
Ни молчаливыми молитвами в размер окна
Никак не в рам, ни в грудь размер окна
Никак ни в шерсть, ни в шесть с родительных ура!
С родительным с пятном под ковриком, ура!
Под ковшиком с пятном, ни сёстрами, ура!

В конечном счете, мы являемся и то,
И то являемся, в конечном счёте, счёт



НА-ТЮР-МОРТ

Мне позвонил.
 И что?
 У кузницы мы покупали мел.
 На перекрёстках собирали соль,
 Хотел на хлеб.
 И что?
 Мне позвонил.
 В больнице боль. Была больна
 Цветы царапали потевшее окно
 И что?
 Где кучер пьян, пьяна, пьяна.
 У фонарей фольга шипела
 Я ожидал и ожидал, я ожидал.
 И что?
 Мне позвонил.
 Мне позвонил.
 Звонок звенел, звенел звонок
 Стал заикаться. Утро где?
 И что? И что? И что?
 По кругу образы. Трамвай.
 На листьях жёлтый цвет болезни.
 Лицом в окно. Навстречу небу.
 Навстречу мне, встречал руками.
 Какой красивый мячик в луже.
 Стучит в стене. Купили гвозди
 Я ожидал, но время в луже,
 Но время в лужу, время завтра.

Мне приснилось небо Тагила
 В заклеенной скотчем коробке
 Облака помещались в кадило,
 А в бутылки разбитые, пробки
 А в бутылки разбитые пробки
 Доливали остатки Портвейна
 Мне приснилось небо Тагила
 Совершенно недавно, во вторник

ДЕТИ ГРУДНОГО МОЛОКА

Из маминого соска течёт молоко
 Тонкой струёй на пол, где сижу я, открыв рот
 Она сжимает тёплую грудь руками
 Ты сидишь напротив меня и смотришь в потолок
 Мы дети нашей мамы, мы дети грудного молока
 Я опечален тем фактом, что за окном осень
 Молока всё меньше, мама стареет, а ты молчишь
 Давай сосчитаем, сколько морщин на её лице
 И будем радоваться тому, что она ещё жива
 А вечером будет играть музыка рейсовых автобусов
 Мама будет кружить нас в танце её молодости
 Мы дети нашей мамы, мы дети грудного молока

На веках вен сицильская сирень
 Улитчатой улыбкой расплзалась
 У жемчуга железных стен
 Подсолнухи попадали под солнце

Я замирал, за миррой мрак
 В ментолы, скользкие колени
 Хрустел стеклом двойной тесак
 Таская в сердце, сердце время
 А на полях роса рекой
 В корзины капала прохлада
 Я обнимал тебя рукой,
 Другой не надо.

На ферме резали ягнят
 По парам у сарая
 Над головой горел закат
 Я шёл ворон считая
 На каждый шаг, удар ножом
 По горлу. Пльлю небо
 И эхом карканье ворон
 Со всех сторон звенело

В глазах моих горел закат
 Вороны пели хором,
 А шкуры маленьких ягнят
 Висели за забором.

ЯНИС ГРАНТС

г. Челябинск

НО ВОТ

но вот в разлинованном свете
 в границах от сих и до сих
 проходят по встречной предметы
 и люди одетые в них

но вот опускается цельсий
 и падает в мёрзлый подвал
 откуда разносятся песни
 по самый по первый канал

но вот на селёдке под шубой
 стоит неуменья печать
 торчат плавники из-под шубы
 чешуйки и кости торчат

но вот замыкается вечер
 и пьётся бутылка чернил
 я вусмерть стихами залечен
 но вот

но опять
 сочинил

ДРЕЛЬ

с первой же дрелью проходит мой сон.
 (сплошь хиросима —
 сны мои). прыгают блюда на восемь персон
 с бешеной силой.



пляшет стена, как трухлявый забор.
 [как же так вышло:
 с тех самых пор и до сих самых пор
 ты не звонишь мне.
 не поднимаешь гудки от меня.
 (сплошь хиросима –
 наша любовь). бережёшь от меня
 сына и сына].

дрель то зачахнет, то вновь – тут как тут –
 в череп вонзится.
 в зеркале пыльные блики плывут,
 в памяти – лица.

[что там стряслось у тебя на войне?
 помнишь ли, симми?
 чтоб на курорте. вот так. при жене.
 чокнутой симми.
 рыбка-бананка на сладкий кусок
 ловится, симми?
 дрель ты наставил на правый висок?
 помнишь ли, симми?
 солнце не кончилось! симми, смотри:
 катится мимо!]

сплошь хиросима вокруг. и внутри –
 сплошь хиросима.

ЗРАЧОК

убийца зафиксирован в зрачке
 убитого при вышнем волочке
 как при аустерлице князь андрей
 лежит под вековым среди корней
 убитый никуда не торопясь
 как при аустерлице графский князь

седая крона траурная вязь
 стал невесом убитый заплелась
 такая лёгкость что никак ничком
 и он взлетел над вышним волочком
 с убийцей теплокровным на глазу
 оставив тело мёртвое внизу

убийца будто в капсуле летит
 в зрачке того кто им вот-вот убит
 убийца плачет я же не хотел
 но он махрой делиться не хотел

а капсула туда где горячей
 к звезде убитых
 к солнцу палачей

НОЧЬ

Саше Мангченко

выходит ночь из берегов
 в лохмотьях выюги
 и тонет полная снегов
 на пятом круге



не распускаются плоты
 присохли шляпки
 чадит старпом из черноты
 погибшей рубки

распухли в трюмах письма
 стекли чернила
 все адреса все имена
 пучина смысла

и ни с каких таких сторон
 ни зги ни знаков

Назар
 Ирина
 Харитон
 Ульяна
 Яков

ПРОЛЕТАРСКАЯ СИЛА

*ты же славная баба,
 а возила кого:
 (ну-махно-ну-хотя-бы) —
 колчака самого!*

*ты же лошадь, а дура,
 говорил командир
 и по гриве каурой
 пятернёй проводил.*

и копытом месила,
 за себя устыдясь,
 Пролетарская Сила
 пролетарскую грязь...

КОРАБЛИ

корабли повернули на юг.
 (самый первый похож на утюг,

а последний — на лапоть).
 корабли повернули на запад.

дан сигнал: поворот на восток.
 (серединный похож на пирог).

корабли повернули на север.
 адмирал уцепился за леер:
не славаться! искать!
 не нашли.
 лишь обломок от мачты нашли.

ГИЙОМ

французская солдатская песенка времён Первой Мировой

надрывайся за этим столом,
 не щадя живота своего:
 хлеб и мясо — кусок за куском —
 не щадя живота своего.



и портянки затем намотай,
не щадя живота своего.
и молитву затем прочитай,
не щадя живота своего.

а загонят в окопы — кури,
не щадя живота своего.
а погонят в атаку — ори,
не щадя живота своего.

вознесёшься — кусок за куском —
наступивши на вражий фугас.
на могилке напишут:

Гийом.
тот, что Родину спас животом.
не щадя его, Родину спас.

ЕЛЕНА ОБОЛИКШТА

г. Челябинск

мне снится наш ковчег
о комната твоя
мой ангел имярек
о зимняя земля
и оловянный двор
о екатеринберег
и горловой топор
на деревянном хлебе
а слово тяжело
идёт пустынным садом
и тесно и светло
с ним рядом

стеклянный дом из белой немоты
на тонком стебле
прозрачен храм распахнутой воды
водой колеблем
ты засыпаешь потолок струится
струятся нити
из темноты сплетённые страницы
на свет несите
меня одну плывущую по шву
подводных окон
снаружи сон похож на ультразвук
на цепкий кокон
из нитей страха игл и обид
водой колеблем
новорождённый дом ещё не спит
ещё не слеplen

сколько ни говори но она у рта
пристальная заплочная немота
и безголосы улицы на просвет
вытянуты ладони разжатых бед

там голоса легки самый белый твой
только последний поезд идёт домой
вдох или выдох слева но оглянись
как виновато смотрит сквозь пальцы жизнь

как будто бы не тьма но волокнистый купол
сверхзвуковые сны несёт по проводам
и обо мне один то не смыкает губы
то за руку ведёт по городам

запястья у страниц прозрачные как петли
им сказано молчать но темень в рукавах
посмертна до колен когда зима ли нет ли
так невесома ночь в разрушенных домах

не обернись на боль а погляди как босо
идут в огонь стада зажмурившихся спин
и монотонный гул а рядом тихий голос
одной рукой раскачивали дым

[ЭЛЬМИРА И СВИНЦОВЫЕ ШАРЫ (сны)]

1-й сон. Эльмира говорит во сне

Эльмира умирала натошак
и голову с закрытыми глазами
несла на вытянувшихся руках
на кухню, маме.

И слышала Эльмира головой,
как мама (недо)говорила строго...

– опять за старое за каменной стеной

– рукой не трогать.

Эльмире снилось пять больших шаров
и три лица скуластых, незнакомых.
И несколько шаров было свинцовых
на пальцах у притихших докторов...

– кто ты такой за каменной стеной

Эльмира голодна и безголова,
хотела вспомнить три-четыре слова,
летя над непропёкшейся Луной...

– Эльмира, в Рио-де-Жанейро ты
не прятала лица на карнавале

Кто говорил с тобой из темноты,
когда тебя вживую вспоминали?

Какой-то непонятный зодиак...



– и несколько шаров было свинцовых

Эльмира просыпалась натошак.
Шел пятый сон, и не бывает новых.

2-й сон. Эльмира гуляет во сне

Вдоль фонарей с большими головами
она катила впереди свой шар.
Свинцовый извивался тротуар,
и треснуло стекло в оконной раме,

когда грызущимся кривым клубком
три рыжих кобеля на грудь упали,
затянуты свинцовым поводком.

И долгий запах обожжённой шерсти
дрожал и корчился, стоял на месте...

Как дым она катила впереди
себя слепую, полулю внутри,
похожую на мать (наутро, полчаса),
а днём напоминавшую отца.

И в грязных парикмахерских, в таких,
где ножницы, ножи и ножевые, –
она катала свой стеклянный миф
сквозь двери, что визжали как живые.

Что делать в этом угольном шоссе?
Весь город, как разобранный конструктор.
Ей душно, но ещё не по душе
сведённый судорогой воя репродуктор...

Проаживаясь так, (она мертва),
но хорошея на пустых бульварах,
она писала странные слова
вдоль грифа на обугленных гитарах.

Сужался гомерический проспект.
Она катила шар, кипела Троя.

Эльмира заказала на обед:
стакан свинца и гречневый каштет
из греческого тёплого героя.

[КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ]

камилла в перевёрнутой горсти
несёт густые письма ниоткуда
дрожат осколки глиняного блюда
бросая троекратное прости

надломленной иглой своих обид
камилла шьёт безногий дирижабль
он раскрывает медленные жабры
и воздух переводит на иврит

поёт камилла если куст горит
но пуст январь и никого в июле
а в сентябре два голубя уснули
и с ними Бог о чём-то говорит

в своём саду где бронзовые листья
камилла тополя бинтует кожей
и птицы на ветру меняют лица
в саду на воркование похожем

как лодка затонувшая в пруду
глядится в небо набирая воду
и выдыхает сонную погоду
и ангела ведёт на поводу

мой сад переверни и снегопады
усталые пойдут тебя искать
по имени по клеверу не надо
не надо называемое звать
и думал огибая все деревья
о том что не расскажешь никому
откуда я у неба цвета меди
и что о мне заведомо
ему

приснился и сказал
проснулся и заплакал
а в кружке молока
по щиколотку ангел
и в комнате твоей
живёт одна собака
и стоя у дверей
заплакала собака

восточный лёгкий снег

«ФОНОГРАФ»

ИВАН РЯДЧЕНКО

ИЗ ПОСЛЕДНИХ РОМАНТИКОВ

В нашем городе немало памятников, но лишь на одном из них выгравированы стихотворные строки

*Той, что в нелёгкий час печали,
Когда уходят корабли,
Вся остается на причале
У соблазнительной земли.*

Это очень одесский памятник «Жене моряка» работы Александра Токарева и стихи поэта Одессы, да-да, не из Одессы, а поэта Одессы Ивана Рядченко.

Иван Иванович Рядченко родился в Одессе 25 января 1924 года, на Приморском бульваре, в семье моряка. Окончил школу – и началась война. Пошёл на фронт рядовым, с первых дней войны в истребительном отряде. Дважды был ранен, День Победы, уже лейтенантом, встретил под Прагой. И лишь после этого университет, в 1949 году – первая книжка солдатских стихов.

Для Ивана Рядченко, для поэтов военного поколения война была не главкой мировой истории, а мерой нравственности. С этой мерой он и прожил семьдесят три года.

*Но что ни год, яснее мне –
война окончилась в Берлине,
а я остался на войне. . .*

Познакомился я с Иваном Ивановичем в середине 60-х годов, работая в отделе культуры молодёжной газеты. Трижды мы выпускали литературные номера. И всегда я просил у Ивана Рядченко новые стихи для этих (поверьте, особых) номеров. Он тут же приносил, всегда аккуратно отпечатанные на машинке – только лирику, без какой-либо политической трескотни. Кстати, он почти не писал «датские» стихи, как мы в шутку называли обязательный ассортимент – стихи к красным датам.

Интеллигентный, открытый, не побоюсь этого слова – красивый человек. И тогда, когда он возглавлял Союз писателей, и тогда, когда был главным редактором киностудии, я никогда не ощущал в нём чиновника, он всегда был доброжелателен, естественен. Такая деталь: многие писатели, приходя в редакцию, особенно, когда мы работали в «Вечёрке», старались сразу зайти в кабинет редактора. Иван Иванович шёл в отдел культуры, ему хотелось, чтобы стихи прочли при нём, чтобы возникло живое общение.

Когда-то, в начале тридцатых годов, Эдуард Багрицкий написал стихи «Разговор с поэтом Николаем Дементьевым». Там есть такие строки в диалоге:

*– Багрицкий, довольно!
Что за бред. . .
Романтика уволена
За выслугой лет.*

Когда Багрицкий писал эти строки, он ещё не знал, что жить ему осталось недолго, его убьёт астма, что Николай Дементьев погибнет в 1935 году, его из окна выбросят чекисты, имитируя самоубийство.

Но я сейчас не об этом, я о романтике. . .

Не была уволена за выслугой лет романтика ни в 1941, ни в 1945, ни даже в 1997-м последнем году жизни Ивана Рядченко. Он был романтиком, таков был строй его души.

Одесса была для него Зурбаганом, Чёрное море было купелью, жена моряка была Ассолью. . .

В одну из наших последних встреч, в середине 90-х, Иван Иванович пригласил меня в гости, хотел почитать мне новые стихи, чтобы я выбрал для газеты. Его жена хотела накрыть стол, я отказывался, в конце концов, на столе появился коньяк и бокалы. . . Иван Иванович читал свои переводы из Шекспира и Киплинга. . .

Нет, неправда, когда мы говорим, что вместе с Багрицким, Кирсановым, Верой Инбер из Одессы ушла большая поэзия. Думаю, что всё, что можно было в трудные сороковые-пятидесятые, делал и Виктор Бершадский, и Владимир Домрин, и Иван Рядченко. Они были романтиками. Последними ли?..

Евгений Голубовский



ВО ИМЯ БУДУЩЕГО СВЕТА

ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ

Магнитка, покоренье Арктики...
Но помню более всего
вас, оловянные солдатики,
герои детства моего.

Моя прославленная армия,
мои бесстрашные войска,
служила долго вам казармую
коробка из-под табака.

Не злись, не спрашивая – надо ли,
в безмолвной ярости атак
всегда безропотно вы падали
и поднимались точно так.

Я, проявляя независимость,
стоял над вами много лет,
как молодой генералиссимус,
познавший только вкус побед.

Я вёл свои войска в сражения
с немым приказом: «Победи!» –
и побеждал...
А поражения
таились где-то впереди.

Я полон был великой верою.
И, слыша грохот, чуя дым,
я оживлял фигурки серые
воображением своим.

И в дни сражения тяжёлого,
когда я сам солдатом стал,
во мне густело ваше олово,
хоть грохотал иной металл.

Пронзала боль от мысли старшей,
что, слыша грохот, чуя дым,
я оживить не мог товарищей
воображением своим...

ПОСЛЕВОЕННЫЙ КОЛОСОК

Мне не забыть тот стебель колкий,
что вышел в свет из глубины,
раздвинув ржавые осколки
едва умолкнувшей войны.

Случайный гость на поле боя,
качался он на ветерке.
И был великий миг покоя
в том одиноком колоске.

Его беспомощность исчезла,
и стать пшеничная была
сильнее маршальского жезла
и орудийного ствола.



БЕССТЫДНИЦЫ

Платаны, сквозь листья луч солнца просеян.
Чинары, мне нравится ваше житьё:
Вы позже других одеваете зелень
и позже других отдаёте её.

Вы – гордость бульваров, дворов и гостиниц,
надежда попавших под зной площадей.
Кто дал вам название деревьев-бесстыдниц?
Стыдиться вам нечего в жизни своей.

Вас лёгких утех не прельщают соблазны.
Гудит беспощадность осенних ветров,
но, словно природе самой неподвластны,
вы вносите в зиму зелёный покров.

Лишь зимние ночи седыми глазами
увидят, метеля по мёртвым садам,
как вы не спеша раздеваетесь сами
с врождённым презрением к большим холодам...

ПИСЬМО ИЗ МАГАДАНА

Друг зовёт упорно в Магадан.
Ринуться готов я по привычке.
Шепчет хворь мне: мол, не по годам
забираться к чёрту на кулички.

Там пейзаж и в августе седой,
даже птицам не хватает снеди,
там трясут метели бородой
и режут голодные медведи.

Не сычи, болячка, как Яга!
На ветру морозятся пельмени.
Вертолёт, распластав рога,
дремлют, как железные олени.

Ляжет свежей скатертью пурга.
Заблестят озёрца, словно блюда.
И снега, начистив жемчуга,
никогда во мне не обманутся.
Ожидайте, добрые истцы, –
перед вами я пока в ответе,
чуть голубоватые песцы
и немного жёлтые медведи.

Полечу своей мечте вдогон,
встретиться хочу с далёким другом.
Говорят, что дружеский огонь
жарче греет за Полярным кругом.

ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА

В былые времена,
перед грозой, наверно,
когда ночной простор
был тих и нелюдим,



как чёрных духов знак,
огни святого Эльма
струились с тонких мачт
мерцаньем голубым.

И долго в эту ночь
перед бутылкой круглой
сидели моряки
за тёсаным столом.
И, как тигриний глаз
во влажном мраке джунглей,
горел в стаканах их
забытый жёлтый ром.

И в пройденную даль
стремился взор смятенный,
и вырывался вдруг
неудержимый вздох,
и перед взором шли
тайфуны и притоны,
могилы и моря —
романтика дорог...

Всё так же ветер крут,
и так же ночи мрачны.
Святого Эльма нет,
одна легенда есть.
Я что-то не пойму —
то ль стали ниже мачты,
то ль собственных огней
на кораблях не счесть?

И здесь, где океан
качает звёзды валко,
вдруг источает грудь
неудержимый вздох —
и пройденных путей
ни капельки не жалко,
и есть голубизна
в романтике дорог!

ЮЖНЫЙ КРЕСТ

Ночь лета звёздный невод
забросила окрест.
Среди созвездий неба
синее Южный Крест.

В дни парусных скитаний,
чтоб утвердить родство,
матросы капитану
поставили его.

Сменялись озаренья
наплывом темноты.
Съедало молча время
могилы и кресты.

Ветров лихая сила,
гулявшая окрест,
заметно покосила
и этот Южный Крест.



Но вечный, словно поиск
открытий и орбит,
на мужестве покоясь,
высокий крест
стоит!

ВСПЫШКА

А вдруг я потом узнаю
по выводу сфер иных,
что наша любовь земная
для целой Вселенной – миг?

Что вся она в мире длится
по их неземной шкале
не дольше, чем вспышка блица
в туманной морозной мгле.

А запах весенних почек?
А белые книги зим?
Обидно, конечно, очень,
хоть довод неотразим.

Так пусть там иным планетам
неведомо, что к чему.
Мы всё же посильным светом
с тобой озарили тьму.

От вспышки не убережь нас!
Но, может, наш краткий свет
к кому-то придёт, как вечность,
которой границы нет?

ОБЫКНОВЕННАЯ ЛИСТВА

Обыкновенная листва,
она права, пока жива,
пока зелёная, как лето.
Ласкает глаз и тень даёт,
и выделяет кислород,
ста лет не требуя за это.

Обыкновенная листва
не знает дыма хвастовства,
не превращается в наездку:
едва медовый летний зной
её окрасит желтизной,
она не держится за ветку.

Шепнувши с шелестом «прощай»,
кружатся сотни рыжих стай –
и улетает с ними лето.
Обыкновенная листва!
Она жива, пока права
во имя будущего света.

ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ**СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО**

рассказы

БОГАТЫРЁВ

Накануне Пасхи ко мне в квартиру при Московской Глазной больнице влетел с шумом, как всегда, мой кузен Вова Филатов. «Идём сегодня на Воробьёвы горы, чтобы слушать оттуда звон к заутрене и смотреть на иллюминацию Москвы; говорят – замечательно». Я, конечно, согласился. Компания – небольшая, приятная, из нескольких приятелей студентов и молодых врачей. Пойдём заблаговременно, чтобы засветло добраться до ресторана Крынкина; он, конечно, закрыт, но на террасу его, откуда открывается дивный вид на Москву, хозяин пустит – есть протекция. Там и посидим до иллюминации и перезвона. На подъёме в гору, конечно, грязновато – ведь Пасха-то ранняя, но как-нибудь доберёмся.

После довольно длительного путешествия с переправой через Москву-реку за Девичьим монастырём, мы добрались благополучно до ресторана Крынкина и в весёлом, молодом настроении уселись на террасе, откуда залюбовались уже погружавшейся во мрак и расцветенной огоньками Москвой. Кроме нас вначале никого не было на террасе. Но вскоре на ней появился ещё один гражданин, высокий статный мужчина с чёрными усами, пожилой. Он обменялся с нами приветствиями и сел несколько поодаль от нас, и, не вступая с нами в разговор, оперся на перила, видимо ожидая, как и мы, начала заутрени.

Момент, действительно, оказался захватывающим. Гул далёких колоколов Ивана Великого и Кремлёвских соборов и звон более близких церквей, отчётливо раздававшийся на их фоне, охватывал могучей волной звуков слух; а глаз с неустанной радостью следил за бесконечным количеством огней, которыми залилась Москва из края в край. Мы долго молча сидели, как зачарованные. Но настала пора идти домой. Когда мы подошли к спуску с горы, неизвестный шёл уже несколько впереди нас. Вдруг мы увидели, как он поскользнулся, упал и поехал в овраг, где и исчез из наших глаз. Мы бросились к нему и помогли ему выбраться из оврага. . . Понятно, что он был (как и мы, впрочем) перемазан в грязи. Он очень благодарил нас за помощь и, понятно, дальнейший путь совершил уже в нашей тесной компании. Когда мы спустились и перебрались на ту сторону реки, мы познакомились. Незнакомец оказался корреспондентом «Московского Листка», который командировал его на Воробьёвы горы для помещения в Пасхальном номере впечатлений его от Пасхальной ночи над Москвой. Он выразил нам своё удовольствие оттого, что в лице нашем он встретил так поэтически настроенных молодых

Владимир Петрович Филатов (15(27) февраля 1875, с. Михайловка Протасовской волости Саранского уезда Пензенской губернии – 30 октября 1956, Одесса) – советский офтальмолог, лауреат Сталинской премии, академик АМН СССР (1944) и АН УССР (1939), Герой Социалистического Труда. Племянник основателя русской педиатрии Н.Ф. Филатова. В 1882 г. семья В.П. Филатова переехала в Симбирск, где он окончил Симбирскую классическую мужскую гимназию (1892). В том же году поступил на медицинский факультет Московского университета, который окончил в 1897 г. Во время каникул в годы учёбы не раз приезжал в Симбирск, где работал вместе с отцом, Петром Фёдоровичем, в Симбирской губернской земской больнице.

В 1903 году 28-летнего врача-офтальмолога приглашают на работу в клинику Новороссийского (ныне Одесского) университета, здесь в 1908 г. он защищает диссертацию на степень доктора медицины по теме «Клеточные яды в офтальмологии». В 1903-1911 гг. – сотрудник Одесской университетской глазной клиники; с 1921 г. – профессор Одесского медицинского института. С 1936 г. – директор Одесского научно-исследовательского центра глазных болезней, которым был до самой смерти.

Владимир Петрович Филатов был личностью исключительно яркой, многосторонней. При жизни опубликовал более 430 научных работ. Однако самыми важными в жизни для него были вопросы Духа, Христианства. Он совмещал в одном лице и депутата Верховного Совета, и христиански религиозного человека, который защищал от разрушения церкви. Был также художником, поэтом, прозаиком, пробовал себя в фантастической новеллистике, увлекался музыкой, охотой. Журнал «Наука и жизнь» печатал его стихи. Порой в его поэзию вплеталась русская сказочность, даже былинность. Были дни, когда он на своей даче на Французском бульваре принимал целый круг женщин, которым читал стихи, преданная его супруга, вторая жена, В.В. Скородинская-Филатова на время этих вечеров удалялась, чтобы не смущать своим присутствием поклонниц академика. Среди наследия Владимира Петровича – воспоминания о детстве и юности, мемуарные очерки, путевые заметки о путешествиях в Армению и Грузию, юмористические очерки, рассуждения о живописи и искусстве.

Скончался 30 октября 1956 года. Похоронен в втором Христианском кладбище в Одессе.



людей, и сказал, что непременно вставит и нас в свою корреспонденцию. «Фамилия моя – Богатырёв», – отреккомендовался он. Для двоих из нас, коренных москвичей, фамилия эта оказалась не пустым звуком. «А не имеете ли Вы отношения к знаменитому когда-то певцу Большого театра Богатырёву?» – спросил Вова. «Да, я и есть бывший певец Богатырёв, – последовал ответ. – А теперь вот и репортёрством промышляю». В ответе чувствовался грустный тон. Мы не стали расспрашивать в этом направлении, боясь разбередить какую-то рану: «Бывший певец» – это всегда драма. Мы отвечали на его вопросы. Он интересовался каждым из нас в отдельности, и мы скоро ощутили большую приязнь к этому могучему на вид старику, с которым так странно сошлись во вкусах в эту тёплую Пасхальную ночь. На мой ответ – «я глазной врач» – он очень реагировал добавочными вопросами и попросил позволения прийти ко мне в больницу, чтобы посоветоваться по поводу глаз, которые у него пошаливают. Когда он на одной из улиц Москвы покинул нас, он, конечно, явился для нас темой разговора.

Стали припоминать прошлое Богатырёва. Никто из беседовавших не слышал Богатырёва в эпоху его недолгого расцвета – мы были слишком молоды для этого; но кое-кому из нашей компании были известны рассказы о нём старожилы как о блестящем теноре. А вот в периоде упадка его видел один из нас на масленичном гулянии, на Девичьем поле, лет десяти тому назад. Богатырёв выступал зимой, в нетопленном балагане, с пением под аккомпанемент жалкого оркестра; он пел, исполняя партию Садко, но из оперы не Римского-Корсакова, а его собственного сочинения. «От хорошей жизни не полетишь, – говорил когда-то Горбунов, – от хорошей жизни не будешь и в балагане петь. Очевидно – скатился на дно, от пьянства», – предположил рассказчик.

На другой день мы поинтересовались «Московской газетой», в которой и нашли фельетон нашего товарища по прогулке. Он носил название «Москва в Пасхальную ночь при взгляде с Воробьёвых гор». Хорошим, несколько возвышенным тоном, описывалась знакомая нам картина; автор описал встречу с нами и подчеркнул, что из всей Москвы только он от редакции да мы, по своей инициативе, воспользовались возможностью полюбоваться дивным зрелищем; он с благодарностью вспоминал и про услугу, оказанную ему «милыми молодыми людьми».

Через несколько дней я заметил высокую фигуру Богатырёва в среде ожидавшихся в амбулатории Глазной больницы больных. Я пригласил его в кабинет. У него, кроме близорукости, оказалась начальная степень катаракты, не угрожавшая ещё близкой инвалидностью. Прощаясь, он попросил разрешения зайти ко мне как-нибудь вечером на квартиру, в гости. «Я буду возвращаться из театра Омона часов в одиннадцать и зайду не один, а с гитарой и спою вам: я ведь и теперь ещё пою остатками моего голоса и зарабатываю мой хлеб насущный», – добавил он, улыбаясь.

В один прекрасный вечер он появился у меня, и с ним вошла в мою жизнь целая волна новых, ценных, прелестных впечатлений. Сняв пальто в передней, Павел Николаевич вошёл в кабинет со своей спутницей – гитарой – и поставил футляр с нею в угол. После обмена приветствиями и первыми фразами сели за стол (я подждал гостя с чаем) и начался взаимный обмен фактами жизни. Я узнал, что моему другу (мы почувствовали себя друзьями уже через десять минут) далеко за шестьдесят лет; он рассказал мне, что у него дочка, лет восемнадцати-девятнадцати, с которой он живёт вдвоём где-то за Тверской заставой в маленькой квартирке; он ежедневно выступает в кафешантане Омона, где поёт два-три ромansa или песни под собственный аккомпанемент на гитаре; в шантанах, говорил он, такой порядок полагается, чтобы между разудалыми каскадными номерами непременно появлялся певец в спортуке серьёзный или серьёзная такая певица в чёрном платье с чувствительным романсом – для контраста, так сказать. «Ну, отпою, раскланяюсь, положу в карман по пятерке за песню и домой. А платят аккуратно – ну, это по-честному. Да так и ещё кое-где прирабатываю». Поговорили о глазах, о том, о сём. Внешность моего гостя могу назвать представительной: высокий, статный старик; лицо с крупными чертами, с большими седыми усами, делавшими его похожим слегка на запорожца; глаза большие, с прямым взором, но вооружённые очками; брови густые. Улыбка открытая, ласковая. «Да что же это, – воскликнул мой гость, – вы меня – соловья – накормили, напоили, а я вас, соловей, баснями кормлю. Ну, ежели охота Вам послушать, я Вам сейчас петь буду». Он сел в углу комнаты у столика, на который я поставил ему стакан чаю, вынул гитару. «Буду я Вам, дорогой, петь старые русские романсы и песни – Балакирева, Гурилёва, приходилось слышать». Вот он тронул струны, подтянул их и запел.

Уже с первых нот я почувствовал всем существом своим большого, глубоко талантливого артиста. Я услышал дивный тенор, который для моей квартиры казался могучим. Тембр этого голоса хватал за душу, особенно на некоторых нотах, и в нём чувствовались, по воле певца, в совершенстве передававшим смысл, все оттенки смысла романса; ещё не допел он и первого романса, а я, уже весь охваченный волнением, мысленно поставил его где-то рядом с Шаляпиным; конечно, можно было бы отметить кое-где тусклость звука, где-нибудь пиано на низких звуках звучало несколько старчески. Но в среднем и в высоком регистре – его пение было сплошное очарование.

*Я гадать, ворожить мастерица,
Я цыганкой на свет рождена,
Я невидимых духов царица,
И мне власть прорицанья дана, –*

пропел он первый куплет старинной песни, которую слушали когда-то мои деды; и, когда он каким-то стальным звуком произнес «и мне власть прорицанья дана», — предо мной, как живой, встал образ цыганки.

Разгадай мою грусть, мою скуку... — и новый образ предо мною — образ девушки, с надеждой пришедшей за советом к цыганке. Вот песня достигла своего апогея, вот она кончилась под аккорд гитары. Я был как зачарованный, я не мог прервать своего артистического переживания просьбой «спойте ещё, ещё». Но артист понял всё и без слов: он пел романс за романсом, песню за песней, изредка хлебнув глоток холодного чаю или подтянув струну. Но вот он кончил. Он поговорил со мною, не спросив о впечатлении, о романсах и Балакиреве, и, как будто почувствовав моё состояние, добавил: «Так, как сейчас у вас, давно не пел, а у Омона никогда так не пою».

Вечера дивного пения стали повторяться. Видимо, Богатырёву самому было приятно петь свой обширный репертуар мне, одинокому слушателю, который умел так ценить и пенне его, и композиции произведения. Я пробовал приглашать двух-трёх слушателей на эти вечера камерного пения, но тогда пропадала и для меня и для Богатырёва та тонкая, не определяемая словами настроенность, которая так спаивала нас воедино. Он просил ужином его не угощать, а только ставить стакан чаю с лимоном на столик. Я изучил, благодаря ему, значительное число произведений русских композиторов, которые теперь, через сорок два года, увы, почти все испарились из памяти. Мы нередко и беседовали о них, причём оказалось, что Богатырёв умел выявить в произведении такие оттенки, которые были мне сперва незаметны. Я старался не спрашивать Богатырёва о прошлом. Но постепенно из его собственных высказываний картина гибели таланта этого незаурядного певца стала мне знакома. Его превосходный голос начал создавать ему, ещё молодому артисту, шумный успех в опере. С успехом пришло и поклонение, и знакомства, и искушения, и соблазны. Купец Лосев, сам кутила, втянул его в сытную, пьяную, разгульную жизнь московских купцов. С грустью вспоминал Павел Николаевич, как он с пирушки, пьяный, выступал на сцене. Голос стал сдавать, а алкоголизм развиваться. Потом наступил крах, голос погиб для оперы, началось падение со ступеньки на ступеньку. Певец, в неравной борьбе с алкоголем, доходил почти до дна; поднимался на время, чтобы снова пасть; пел по кабакам и в балаганах на масленичных гуляньях. Уже в пожилом возрасте он как-то сладил со своим пороком; голоса уже не было. Но он долго, бросив карьеру певца, лечился у хорошего специалиста, и тот восстановил ему очень многое из растроченных качеств — к сожалению, он сам был уже стариком. В этом периоде реставрации он был дружен с Мамонтовым, который ценил его пение; Мамонтов изобразил его как-то в виде Садко в скульптуре.

Я был в особо счастливых условиях, — слушая Богатырёва в такой интимной обстановке, когда ему не приходилось напрягать своего голоса. Меня поражало его умение владеть своим голосом. Однажды, после летних каникул, я услышал в его пении какие-то новые ноты, звучащие особенным тембром. Я отметил это и поздравил его с тем, что он выработал в своём голосе новые оттенки, которые можно сказать, хватили за душу. Он весело рассмеялся: «Заметили!.. Это мне очень приятно, но только не я один автор этих нот. Это мне зубной врач (дай ему Бог здоровья) летом новую челюсть сделал, и вот какая удача: когда я пользуюсь ею, как резонатором, — я действительно над этим поработал, — то она позволяет мне давать эти нежные, жалобные ноты...»

Никогда у меня не было с П.Н. никаких денежных операций.

Когда я переехал в Одессу, я однажды узнал, что у него плохи дела, и послал ему небольшую сумму денег. Он принял её и поблагодарил в письме, которое очень тронуло меня. Оно было полно воспоминаниями о прошлой его жизни и сердечной нежности ко мне как к молодому другу. Как сейчас помню его наставление, которое он делал мне на правах старшего. «Я убедился, — писал он, — на своей бурной жизни, что счастье, то есть не внешнее благополучие, а счастье как внутреннее чувство, не завоеуешь; помните мои слова: не вырывайте у судьбы своего счастья руками — пальцы обломаете. Счастье приходит к нам само, когда вздумает».

Жизнь показала мне, что он прав. Когда знаменитый астроном Леверье лежал уже прикованный к смертному одру, ему пришли сказать, как радость, что планета, существование которой он доказывал своими вычислениями, открыта его учеником, — учёный махнул рукой довольно безучастно и произнёс: «Мы всю жизнь гоняемся за химерами».

Вскоре после письма, о котором я упоминал, у меня заболел отец, живший в то время в Маньчжурин. У него был затяжной, рецидивирующий брюшной тиф. Тревожные телеграммы то и дело извещали меня об осложнениях. Однажды я получил телеграмму уже не от супруги моего отца (его семья состояла из жены и воспитанницы, имя которой я не помнил).

Телеграфировал лечивший отца его приятель доктор Позовский: у папы начались кишечные кровотечения. Положение опасное. Я ждал уже следующей телеграммы о смерти отца. И вот, ночью звонок, телеграмма: «Папа умер. Соня». Утром я вновь взял в руки печальную телеграмму и ещё раз перечитал её. «Подписала телеграмму не жена, а, видимо, воспитанница», — подумал я. И вдруг обратил внимание на то, что телеграмма не из Фулярда, где жил отец, а из Москвы. И тут только я догадался, что эта телеграмма не от воспитанницы папы, а от Сони Богатырёвой, от которой только недавно было письмо. Папа воскрес, умер друг.

Вечная память тебе в моем сердце, мой милый артист, давший мне так много радости.



СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО

Я сидел у окна кабинета в маленькой квартирке при Московской Глазной больнице.

Взглянув на двор, я увидел, как через ворота вошли два гражданина. Один — высокий, с длинными усами и остроконечной бородкой, похожий на Дон-Кихота; и в нём я тотчас узнал моего приятеля Гришу Граве. Другой — священник, огромный, толстый, с седой окладистой бородой. Оба они смотрели туда-сюда, видимо ища кого-нибудь, чтобы о чём-то спросить. Пробежавшая мимо санитарка махнула рукой в мою сторону, и они направились к моей квартире. С этого началась длительная и пренеприятная история. Я обнялся и облобызался с Гришей, поцеловал пухлую руку протоиерея отца Иоанна, с которым меня познакомил мой друг. «Приюти нас, дорогой, часа на три, на четыре», — сказал Гриша. «Замучились в вашей проклятой Москве: жара какая! Боюсь, — зашептал мне на ухо Григорий, — как бы отца протоиерея кондрашка нехватила — человек грузный!»

«Да чего вы в Москве ищите?»

«Да вот, профессора Крюкова, о. Иоанну катаракту снимать. Понесла нас нелёгкая в клинику на Девичьем поле. Там сказали, не принимает профессор. Идите, говорят, на дом. А на Никитской говорят — и не будет принимать, за границу уехал. Неужто ж мне его обратно везти?» — сказал мне на ухо Гриша.

Я взглянул мельком на глаз протоиерея — вижу: зрелая катаракта. Протоиерей взглянул на Гришу. Гриша взглянул внимательно на меня. Свершилось!

«А ну-ка, Володя, поди сюда!» В соседней комнате Григорий произнёс роковые слова: «А может быть, ты ему, Володя, катаракту-то снимешь? Я его у тебя в больнице оставляю, а сам уж и поехал бы! У меня, знаешь, косьба идёт, да и Петров день не за горами!»

Я в то время лютый был на катаракты. «Раз плюнуть, — говорю, — сниму». И протоиерей охотно пошёл на предложение Григория: уж очень намучился от жары, а ведь, может статься, и других профессоров не разыщешь, поразъехались, поди, кто куда!

Протоиерей, водворённый на койку, блаженствует, а вечером, в сослужении в больничной церкви возносит молитву и о своём, и о моём здоровье. Молитвы его, увы, не были услышаны!

В древнем египетском папирусе Эберса упоминается глазная операция «Нагалти». Что это за операция, никто из египтологов-комментаторов не уяснил. А я это уяснил: это та самая операция, которую я протоиерею сделал. Соучастником моим был д-р Дислер, заведующий отделением, мой, до известной степени, руководитель.

Разрезал я роговицу, радужку отрезал; только что хрусталик вывел — выперло из раны густое стекловидное тело, роговичный лоскут вперёд отвернуло. Я оробел — гляжу вопрошающе на руководителя. А руководитель тоже оробел и отвечает: «Кладите, — говорит, — скорее повязку на оба глаза, пока оно, — говорит, — из раны не потекло». Эх, узнал я потом на горьких опытах, как надо было поступить! Надо было прозрачную каплю ножницами отсечь. Пусть бы другая капля показалась — и её бы отсечь, и так отсекал, пока выпирать не перестанет. Или шов можно было наложить! Теперь я бы сам руководителя научил, а тогда духу не хватило.

Потянулась после операции канитель длинная-предлинная. Кое-как бугор стекловидного тела покрылся сперва экссудатом, а потом конъюнктивой, и зияющая рана зажила, но как зажила: выпяченным рубцом с ущемлённой радужкой, от времени до времени вспышкой циклита, потом глаукомы; возникавшие временами надежды на сохранение какого-нибудь зрения утасли, и во избежание опасности для другого глаза оперированный глаз пришлось удалить.

Ничего худого не могу сказать про моего пациента. Он вынес случившееся несчастье мужественно, не роптал ни на Бога, ни на меня. Искусственного глаза он носить не пожелал и поехал домой в Смоленскую губернию с пустой впадиной, как с рекламой моего позора.

Мне было тяжело всё это. Я сочувствовал пациенту, такому доброму и корректному, но, сознаюсь, когда он уехал, мне стало легче на душе. С глаз долой — из сердца вон, — говорит пословица.

Но прошлое, говорят, догоняет. Двадцать лет живет убийца, забыл и про преступление своё, а оно и выплывает на свет при какой-то роковой случайности. Так догнало оно и меня. В один прекрасный день получаю от Гриши открытку: «Приезжай ко мне на охоту, на Святки». Приглашение пришло кстати — поехал.

Оказывается, Григорий послал открытку ещё трём друзьям, и все съехались. Пошло веселье! Охота, лыжи, а главное, дружеская тёплая компания. И вот — ложка дёгтя в банку меду. Как сейчас помню ясный зимний, солнечный день; только что вернулись с утренней охоты, и нас уже ждёт в столовой деревенский пир: сверкают на солнце гранёные графины и пускают радужные зайчики на скатерть, уставленную закусками, жареной колбасой, заливными, гусиными полотками. Сели, выжили по первой, сейчас будет и вторая. И в этот миг слышим шум подъезжающих саней, бегут встречать — кто бы это в гости прибыл? Вот разделись, входит и гость: я так и обмер — протоиерей о. Иоанн. Подхожу со всеми (дожёвывая полоток) под благословение, улыбаюсь радушно, а на душе две кошки подрались. Хоть бы глаз вставил! Да нет, идет к столу по приглашению хозяйки, как есть кривой. Садится на стул рядом со мной — пустой глазной впадиной в мою сторону. Хоть бы сел с другого боку...

Пропал мой завтрак. Долго я помнил с болью про стекловидное тело!

Но слава тебе, время, за то, что ты, как резинка, с бумаги стираешь пятна с прошлого!

Вот помню всё, что было, а боли уже нет — она ушла...

ТАШКЕНТСКОЕ ПИСЬМО

«Как ни старались люди испортить природу своими мостовыми и тротуарами, но весна всё же чувствовалась в городе...» Такой ипохондрической сентенцией, которую я передаю приблизительно на память, начинается Толстой свой роман «Воскресение».

Как ни старался испортившийся в Средней Азии климат испортить весну в Ташкенте, она всё же развернулась и украсила его своими пышными красками.

Начало весны было мрачное. Холодные ветры, холодные дожди вперемешку со снегом, хмурое небо, свинцовые тучи заставляли измученных зимою приезжих, так называемых эвакуированных граждан, обращаться в недоумении к коренным ташкентцам с вопросом: но где же ваша хвалёная весна?

Коренные ташкентцы сами недоумевали и предоставляли слово старожилам. Когда-то юморист Дорошевич правильно определил старожилы как людей, которые всё позабыли. Согласно этому правилу и здешние старожилы уверяли, что такой весны, как нынешняя, они не помнят. Чтобы смягчить положение оконфузившихся ташкентцев, я предложил им гипотезу порчи климата в мировом масштабе – благодаря стрельбе по аэропланам: за падающими вниз снарядами устремляются струи холодного воздуха, который наводняет землю; надеюсь, что получу за эту фантазию звание заслуженного артиста метеорологии Узбекистана.

Но, так или иначе, а весна наступила! Она усыпала розовыми и белыми цветами заборные урюки, яблони и груши, вишни, а потом принялась раскрашивать пышными зелёными тонами верхи дувалов и крыши домиков Старого города, которые покрыты такой густой травой, что её снимают для кормления коз; по зелени горят красные маки. Тополя, дубы, орехи одеты молодой, пышной зеленью; дольше других деревьев собирались праздновать весну карагачи, но и они не выдержали и покрыли свои необычайно частые ветви такой густой листвой, что и в сильный дождь почва под карагачами остаётся сухой. Один из них высится на бугре перед нашей террасой и держит нашу квартиру всю вторую половину дня в благодетельной тени.

Вода по арыкам пущена; под окнами нашей квартиры арык довольно крупной ширины; вода бежит по нему быстро, с журчаньем. Двигательная сила ирригации – сердце её – в дальних горах; из рек вода разбегается сперва по крупным арыкам, как по артериям, потом бежит, как по капиллярам, по мелким арычкам, проникающим в сады и огороды.

Пора за город! Мои две спутницы – мать и дочь – неутомимые ходоки (или ходокицы, не знаю, как сказать) и приятные собеседницы. Мы идём по лабиринту улочек и переулков, направляясь к шоссе Луначарского, прямому тракту к далёкому Чимгану. Мы рассказываем друг другу разные сведения про Ташкент, которых у нас накопилось, оказывается, немало. Мы делимся впечатлениями об узбекской уютной жизни, протекающей за глиняными заборами в чистых хатах, в маленьких садиках, разукрашенных цветами и весёлой зеленью вьющихся виноградных лоз; в этих маленьких домиках можно увидеть расписную посуду, чайные чашки – пиалы, бронзовые сосуды – кувшины причудливой формы, иногда, несомненно, древнего происхождения.

Мы спрашиваем друг друга змеями – горзми – что-то вроде гадюк, которые, якобы, водятся в непроходимой чаще ветвей карагача; говорим небыхлицы про скорпионов, которых мы, по счастью, не видели ещё ни разу. Мы любуемся сочной зеленью садов. С весёлым видом её не гармонируют мрачные узбечки, одетые в безобразные хламиды с ужасной чёрной паранджой, закрывающей голову и лицо. Паранджа сплетена из конского волоса. Воображаю, какой под этой густой вуалью воздух!

Паранджа, как и дувалы (заборы), – это всё порождение древнего инстинкта жадной собственности – стремления всё своё – и ковры, и виноградник, и жену – спрятать, скрыть от чужого взора и посягательства. Паранджа доживает свой век; её носят почти всегда старухи, которые так не привлекательны, что хорошо, что они закрывают свои лица паранджой, которая меньше омрачает весну, чем их физиономии.

Но вот показалась узбечка молодая, и без паранджи, несущая на голове корзину с лиловыми тюльпанами; не очень красива, но очень изящна, так и просится на эскиз; но некогда, мы торопимся перейти полотно, чтобы выйти за город; мы пополняем наше краеведческое образование болтовней с женщиной, идущей по пути с нами, за которой спешит, едва поспевая за нею, сынишка. Он крепко зажал в кулачке птичку, «юрка», которого мать купила ему на базаре; вероятно, это выюрок; эти птички оглашают трелями, похожими на соловьиные, улицы Ташкента даже днём. «Юрок» чуть дышит в ручонке мальчика и ему, бедному, не до весны! Непременно куплю дюжину таких пленников и выпущу их на волю.

Вот мы за городом. Шоссе в тополях, кругом за дувалами – сады, сады, сады. Целое море зелени! Попадаются иногда узбекские чайханы – чайные. На низких широких помостах сидят отдыхающие – неизвестно от чего – узбеки. Они сидят на той части тела, из которой растут ноги, а ноги согнуты в коленях и скрещены. Пьют они бесконечное количество чая из чашек без ручек, которые носят название «пиалы». Чай не простой, а зелёный, именуемый «кок-чай».

Говорят, что он оказывает подбадривающее действие на самочувствие и силы чаепийцы. Один доктор написал кандидатскую диссертацию, в которой установил благоприятное влияние кок-чая на пищеварение и сердце человека и собаки. Некоторые инстанции и газеты затрепали его: зачем доказы-



вать на собаке то, что узбекский народ проверил на себе тысячелетним опытом? К сожалению, его уже трудно достать.

Мы сворачиваем на боковую дорогу и выходим на бугры, покрытые Бёклиновской зеленью. Перед нами дивный вид на горы со снежными вершинами. Дамы греются на солнышке, а я, закоренелый рецидивист-живописец, рисую цветными карандашами этюд. Его, впрочем, приходится прервать, потому что я скоро оказываюсь в окружении десятка маленьких, черноглазых, смуглых узбекчат, двух коз и четырёх телят. На обратном пути мы слушаем по арыкам лягушачьи концерты и производим биологические наблюдения над пузырями, которые выпячиваются у «болотных соловьёв» из жабр и служат резонаторами. Жаль, что их нет у наших оперных певцов – их лучше было бы слышно! Ввиду чересчур весенних настроений лягушек, я отвлекаю дам от дальнейших наблюдений над ними и привлекаю внимание моих спутниц к кричающим в широком арыке уткам. Увы! неудачно: настроение у уток ещё более весеннее, чем у лягушек! По счастью, на нас мчится автомобиль и прерывает наши научно-исследовательские наблюдения.

Мы приходим домой усталые, голодные и довольные и, сев за обеденный стол, признаём, что это и есть конечный пункт нашего пикника.

Следующий мой выезд за город через неделю совершился на пролётке, приводимой в движение четвертью лошадиной силы, в форме худой-прехудой лошадки. Свернув с того же шоссе, мы едем просёлком по направлению к реке Чирчику. Доехать до него не удаётся потому, что путь преграждён его протоком, на котором нет моста. Мы любуемся долиной – зелёной-зелёной, прорезаемой журчащими арыками и далёкими горами. Наш возница выпрягает свою четверть лошадиной силы, купает её в арыке, потом он пускает её «попасться» у дороги; но лошадка, с целью пополнения недостающих трёх четвертей силы, углубляется в клевер и ест его, благо никого нет, с таким аппетитом, что и мне захотелось клевера; но я удовлетворяюсь, как сознательный гражданин, куском чёрного хлеба с колбасой. Долгое пребывание на «свете и воздухе» не проходит безнаказанно. К вечеру мое лицо и руки красны, как варёный рак, и с таким последствием среднеазиатского солнца я вынужден выступать с докладом.

С каждым днём всё больше редиски, огурцов, капусты, клубники – это в начале мая! Вечерами наша Уездная улица очаровательна, с её журчащим арыком и ароматом тополей и маслин... Я впадаю в весенний лиризм и сочиняю стихи.

Со временем критики и литературоведы будут утверждать, что эти стихи пускаются, так сказать, в пространство «потому», будут писать эти враги поэзии, «что автор пережил на своём веку уже столько вёсен, что целевая установка стихов более чем сомнительна».

Я мог бы, конечно, возразить, ссылаясь на Библию и академика Богомольца, но не хочу заводить споры раньше времени: ведь никто ещё этого мрачного мнения не высказал.

А стихи – вот они:

1. Чуден мир голубою весной...
2. Поразвелись зимние сны
И ручьи быстробежной волной
Из-под снежной журчат пелены.

Синим небом летят надо мной
Журавли из далёкой страны
И опять у берёзы родной
Ветки сладкою влагой полны,

3. И до утра в чашобе лесной
4. Соловьиные песни слышны.
Я хочу, чтоб мне ветер степной
Весть с родимой примчал стороны.

5. И хочу я порою ночной
6. Пропитаться сияньем луны,
7. И чтоб пили Вы вместе со мной
8. Ароматы смолистой сосны,

9. Чтобы Вам, только Вам, Вам одной
10. Были грёзы мои отданы,
11. Чтобы в сердце струна за струной
12. Струнам вторили Вашей весны!

Желающие могут воспользоваться этим произведением для любой, разрешённой законом, цели – не препятствую...



Если сократить эти стихи и оставить строфы, помеченные номерами, то они годятся для романса. Кладите их на музыку, товарищи композиторы, и пойте их, товарищи сопрано, а я пока что кончаю письмо, ибо пора ужинать!

Что? Вы недовольны? Мало ташкентского колорита? Ещё стихов? Ну, извольте – с настроением!

*Вот стоит без плаща, без гитары,
Прислонившись к стене, человек;
То на вид, безусловно, не старый
И не очень-то юный узбек.
Он высок, он и смугл, он и статен,
Взор его, словно уголь, горит;
Его голос и чист, и приятен,
И он нежно так речь говорит:*

*«О зачем твои взоры с тоскою
Загляделись в туманную даль,
Будто там, за горой голубою,
Ты навеки развеешь печаль!
Верь мне: радости звонкие птицы
Не поют на оазисах грёз!
Осуши ты крутые ресницы
От алмазов сверкающих слёз!»*

*Посмотри-ка крутом, на природу:
Вон по небу плывут облака,
Пчёлка ищет на лилии меду,
Дремлет жук в лепесточках цветка;
Посмотри, как с улыбкою ясной
Светит солнце на доли и сад,
Как по зелени травки атласной
Ярким пламенем маки горят!*

*Как весна виноградную лозу
Убирает зелёной красой!
На, возьми эту белую розу,
Всю покрытую свежей росой!»*

Ну, шабаш, больше ни строчки! Лучше выпью за Ваше здоровье, дорогие читатели, стаканчик чудесного «Буаки», здешнего «токайского» (сорок пять руб. бутылка).

Узбек Воталиф (Филатов)

КОСОГЛАЗИЕ

Звонок. Беру трубку:

– Кто у телефона?

– Можно попросить профессора Филатова?

– Это – я.

– Ах, это Вы, профессор. Извините за беспокойство. Я зубной врач Погосский. Смею ли просить об одолжении: разрешите ли прийти к Вам поговорить об операции одной больной?

– Пожалуйста.

В назначенное время передо мной мужчина средних лет, прилично одетый блондин, с небольшой бородкой, нервного, холерического типа; манера говорить быстро, перескакивая с предмета на предмет. Просит прооперировать больную, в которой принимает участие. «Девушка, профессор, одинокая, никого нет близких; миловидная собой, но такой, знаете, недостаток – косая, сильно косая. Очень, очень миловидная, но эта косина так портит её. Она так будет счастлива, если Вы исцелите её, да и я тоже. Весь расход я беру на себя, за операцию, перевязки и прочее».

Вечером вижу девушку. Действительно, миловидная и очень косая. Пишу записку, что потребуется не одна операция, а две или три. Ответ:

«Прошу Вас сделать всё, что возможно, для этой бедной, скромной девушки. Признаюсь, профессор, что принимаю в ней участие не только как знакомый, но и как жених её. Все операции оплачиваю, как укажете».

После первой операции – письмо неожиданного содержания:

«Уважаемый профессор! Девушка, которой Вы изволили сделать операцию, совершенно недостой-



на ни Ваших, ни моих забот. Мне раскрыли глаза на неё, и я знаю, что образ жизни её совершенно предосудителен. Ввиду этого предупреждаю Вас, что от уплаты за дальнейшее лечение отказываюсь. За произведённую операцию сопровождаю, согласно договоренности, гонорар».

Через несколько дней — новое письмо.

«Дорогой профессор! Всё, что мне наговорили про Вашу пациентку злые люди, оказалось чистым вымыслом. Она вполне безупречна, и я прошу Вас сделать моей невесте вторую операцию, намеченную Вами. Сообщаю Вам, что впредь буду оплачивать операции и лечение полностью, как Вы укажете».

Делаю вторую операцию. Новое письмо:

«Уважаемый профессор! Предупреждаю Вас, что девица, которой Вы сделали операцию, моральное чудовище, а потому я впредь от материальной поддержки оперативного лечения отказываюсь. С почтением, Погосский».

Ещё через несколько дней:

«Прошу Вас, уважаемый профессор, продолжать оперативное лечение девицы X., с которой снято какое бы то ни было осуждение. Моя невеста умоляет довести Ваше искусное лечение до конца. Она сосит уже значительно меньше».

Делаю третью операцию: косина вполне исчезла, девица стала хоть куда. Новое письмо:

«Профессор! Девица, которая после Ваших операций стала значительно красивее, предалась, как я доподлинно узнал из вернейших источников, развратному, распутному образу жизни. Вот что сделали мои заботы и Ваши операции! Представьте: эта недостойная особа не только бранит меня, упрекая в каких-то неблагоприятных целях, но и, вопреки очевидности, распространяет клевету на Вас, будто бы Вы испортили ей глаза. Какое чудовище! Отныне она мне более не невеста. Ни за какое её лечение я более платить не намерен, дабы не способствовать развитию разврата.

С искренним уважением, Погосский»

Больше писем не было...

ДОБРО И ЗЛО

Вопросам добра, обсуждаемым с разных точек зрения, посвящено бесконечное количество книг. Ближе к этой проблеме примыкала и философия противления и непротивления злу. Из наших русских авторов припомним Льва Толстого и Владимира Соловьёва с его знаменитым «Оправданием добра» и «Тремя разговорами». И разве не породили эти вопросы бесконечного ряда литературных произведений, в которых они являются главными темами или представляются вкраплёнными в развитие содержания повести или романа? И, казалось бы, что я могу внести нового в эту проблему, затронутую много-много раз, маленьким эпизодом, о котором я хочу рассказать. Но в том-то и дело, что огромная философская и беллетристическая литература представляет собою бесконечное столкновение взглядов и ничего, в сущности, не решила. И каждый новый казус, в котором добро переходит в зло или зло переходит в добро, имеет свою цену, как фермент, который побуждает читателя помучиться над решением вопроса о добре и зле, которого не решила вся прошлая литература. Когда-то я прочёл коротенький изящный рассказик (кажется, Тэффи) на эту тему. Сущность его сводилась к следующему: в знойной пустыне росло деревцо и бросало свою тень на раскалённый песок. Подбежала к нему лань, спасавшаяся от преследования волка, и попросила приюта у деревца; деревцо покрыло её своей тенью и дало бедной, измученной лани минутку отдыха. Когда лань, освежившись немного, убежала дальше, прибежал к деревцу гнавшийся за нею волк; он был измучен длинным путём и зноем и попросил у деревца тени; и деревцо, покрыв его тенью, дало ему минутный отдых, и, освежившись немного, побежал волк дальше в погоню за ланью. Увидел это архангел Варахлил, прилетел к Богородице и порицал деревцо за помощь, оказанную волку. А Богородица сказала: «Оставь, правильно поступило деревцо, что дало приют и тень и лани, и волку».

Прокомментируйте, дорогой читатель, этот рассказик, а потом и мой, предложенный вашему вниманию.

В бытность мою ассистентом глазной клиники в Одессе поступил к нам дряхлый старик, слепой. С нечёсаной головой, с патлатой бородой, которою он зарос до самых глаз, согбенный, с незрячими глазами, которыми он только отличал день от ночи, он производил жалкое впечатление. У него на обоих глазах была катаракта — помутнение хрусталиков. Зрение у него погибло давно, и много лет он сидел в углу своей хаты и терпел произвол от своей жены, которая давала ему скудное пропитание. Кто-то надоумил его поискать помощи у моего учителя, знаменитого окулиста профессора Головина, и после длительных усилий, он, наконец, добрался до нашей клиники. Старика подстригли, вымыли в ванне, одели в чистое бельё, нарядили в больничный халат. Старик был очень доволен. Вот его после нескольких дней пребывания в клинике, в течение которых его хорошо кормили (а он уже давно не едал так сытно), привели в операционную, уложили на операционный стол; операция удаления катаракты, произведённая на одном из глаз искусной рукой профессора Головина, удалась как нельзя лучше. При первой же перевязке больной с радостью убедился в том, что он прозрел. Он вёл себя в послеоперационном периоде прекрасно, покойно, с какой-то тихой радостью. Через десять дней он уже ходил по клинике без повязки. Не имея ещё оптических стёкол, которые полагается



носить после удаления катаракты и которые ему рано было давать, он ещё не пользовался полным зрением, но вполне ориентировался в окружающей обстановке. Он заметно повеселел, подбодрился. Ему вскоре была снята катаракта и с другого глаза, так же вполне удачно. Когда ему были подобраны оптические очки на оба глаза, то оказалось, что зрение у него прекрасное, близкое к нормальному зрению; со второй парой очков он мог уже читать. Профессор Головин подарил ему очки. Прежний старик – развалина – совершенно преобразился. Его согбенный стан выпрямился, движения стали бодрыми, уверенными, старик сбрил совершенно бороду и своими пышными усами напоминал николаевского солдата; он нравился нам своим весёлым настроением, своей дисциплинированностью; прощаясь с нами перед выпиской из клиники, он выразил профессору Головину свою благодарность за возвращение зрения и сердечно простился. У нас осталось сознание хорошо выполненного офтальмологического дела. Через несколько недель сказались последствия нашего доброго дела.

От приятеля помещика получено было письмо, в котором он нарисовал нам картину того, что мы наделали нашим искусством. Оказалось, что зрение было возвращено самому отчаянному бандиту и конокраду во всём округе. Его кражи, грабежи и даже убийства в своё время являлись для местных жителей большой бедой. Подвиги его прекратились, когда он ослеп. Измученная им жена, воспользовавшись его инвалидностью, держала его в чёрном теле много лет. И вот он вернулся домой зрячим. Он начал избивать жену и домочадцев. Он украл у нашего приятеля четырнадцать гусей; он распорол чьей-то кобыле брюхо; он принялся за конокрадство, составив, как в былые времена, шайку; все подвиги свои он совершал так умело, что уличить его было невозможно, а можно было только держать его в подозрении.

«Ну, удружили Вы нам с Вашей операцией», – писал в отчаянии наш корреспондент. Конечно, мы, как врачи, по своей обязанности оказывать помощь, не заслужили упрёка, так как таково наше социальное назначение. Но картина перехода добра во зло получилась довольно яркая.

«ОКОЁМ»

МАРИЯ ВАТУТИНА

ОТРАВА. В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ Коктебельские хроники

Не скажу, чтобы в Коктебель мы, литераторы из разных уголков света, слетались только, чтобы предаться совместному разгулу. Все заранее уведомлены, что поводом для разгула традиционно служит Волошинский фестиваль. Пчёлка Майя, он же Андрей Коровин, давно разослал всем программу фестиваля, а она в этом году богатая, потому что юбилейная. Десятилетний юбилей фестиваля – это очень радостное событие, потому что это дополнительный тост. Пить коктебельские вина и коньяки без смысла – бессмысленно. Литераторы так не могут: во всём им хочется дойти до самой сути – почему пьём, зачем пьём, с кем пьём, пить или не пить. Нет, последний вопрос снимается с повестки.

Но впрочем, главный повод употреблять в Коктебеле – это мания преследования и паранойя, которые совсем недаром охватывают умы свежеспавших и трезвомыслящих поэтов, только недавно сошедших с поезда. Уже мчась на давно знакомом частнике по коктебельским предгорьям, они вспоминают опыт прошлых лет, когда весь фестиваль мучился животом, а поэтому, по приезде на место, первое, что они ищут – это средства защиты от неистребимого крымского кишечного вируса. Чётко осознавая, что таких средств только два – коньяк и вино – они уже в «частнике» по дороге в литфондовскую часть Коктебеля договариваются друг с другом, у кого сегодня проходить профилактику.

Фестиваль разворачивается медленно. Андрей Коровин и вся команда музея Волошина даёт на сборы дня полтора: день приезда, размещение, регистрация участников. И вот вечером второго дня расфуфыренные, в летних одеждах после московской-то осени, мы входим под сень музейных высоких деревьев, образующих во дворе музея Волошина подобие лесного собора. Тут намолено. В том числе, и нами. И все обнимаются. И все целуются. И все как стеклышко. Даже Власов. Нет, ну Власов – уже как мутное стеклышко.

Ветер средневеково раскачивает верха деревьев, зайчики и блики весело прыгают по загорелому Коровину, уже занявшему свое место в президиуме. Это он нас всех здесь собрал. Ну, честно. Мы знаем всех замечательных работников музея, мы даже Волошина знаем, по стихам. Он тоже собирал здесь не последних поэтов России. А нас – Коровин, потому что его, заряженная добротой энергетика, снова замутила это грандиозное чётко отлаженное мероприятие, и ещё в Москве за полгода до сентября мы спрашивали друг у друга: на Волошинский едешь? И Андрей то и дело приносил: Волошинский. Чтобы отложилось в сознании, прижилось в душе.

В толпе наблюдаются депутаты Государственной Думы РФ, важные люди из высших органов власти Крыма, кураторы культуры. Приехали посмотреть, как тульский мужик может подковать блоху без единой копейки. Конечно, средства организаторы фестиваля откуда-то находят, потому что они чисто конкретно волшебники, потому что всегда найдутся люди, которые могут заплатить и немножко поддиктовать – как организовать в этот раз фестиваль, которому уже десять лет. Мне всегда досадно, когда я думаю, что такой гениальный фестиваль не стоит первым в списке грантов у министерств культуры и министерств по делам национальностей всех стран СНГ! И какая беда бы случилась от того, что фестивалю подкинуло бы денег российское правительство или украинское? Только было бы всё более солидно, мощно: оплатили бы участникам дорогу, номера, арендовали бы правильные залы для выступлений, устроили бы людям экскурсии. Нет, поэты всем довольны. И может быть, ещё бы и не воспользовались дарами... Но как-то неправильно, что нет государственной финансовой поддержки. Так я думаю.

А между тем фестиваль осуществляет очень много благих дел: от открытия новых имен до представления лучших русскоговорящих поэтов всему, так сказать, миру на украинской земле, на той её территории, которая всегда жила русским языком и русской культурой. А где русская культура, там и дружба с Россией, там и позитивная настроенность на всяческие связи с нашей страной. Да и проще сказать, мы любим друг друга: украинцы и русские. У нас такие вечера! У нас такие стихи друг о друге,

такие песни, такая общая природа, что никаким безденежьем это не отменишь. Можно только дожидаться, что призрак коктебельского вируса переморит нас там всех когда-нибудь окончательно.

Очень хочется ездить в Коктебель, привязать к этому месту на карте своего сына. Но как riskовать его здоровьем, зная, что никто не берётся в Украине чинить крымские коммуникации, вычищать море от гадости, налаживать курортный сервис. Коктебель — это стихия. Там бродит по тёмной аллейке абориген Владимир Алейников, раскинулся в кресле на побережье валяжный Кублановский, рычит о Бродском грандиозный Рейн, нараспев декламирует нежнейшая Кекова, улыбится племени младому и знакомому великий Бахыт. Ну, как тут не поехать! Ведь заманит в очередной раз хитрый Коровин в отравляющий нас каждую осень Коктебель вот такими вот встречами с теми поэтами, имя которых переживёт их самих в веках. Поедем, отравимся, полечимся. И всё будет хорошо.

СТАНИСЛАВ ЛИВИНСКИЙ

СНЕЖИНКА

I.

Как будто это было не со мной
(и было ль, вообще, на самом деле),
но армия мне снится до сих пор.
Забор кирпичный, царские казармы,
под крышей надпись — тыща девятьсот
шестой. А на дворе двадцатый век
последние донашивал шинели.
Огромный плац и сотни человек.
И первый снег идёт, как новобранец,
не в ногу, но ему никто не крикнет —
А, ну-ка, там, салага, шире шаг!

Мы на плацу стоим и замерзаем -
Солдатики игрушечные, дети.
Передо мной дрожит какой-то мальчик:
смешной затылок, девичья фигура.
Я вижу эти маленькие плечи.
Я помню, как ему одна снежинка
упала прямо в дуло автомата.
Зачем-то я запомнил этот день.

II.

Я помню старшину. Сто раз на дню
он вспоминал фамилию мою,
орал, как сука, вечно надрывался,
что для меня давным-давно она —
пустое слово, бывшая жена.
Я б на неё теперь не отозвался.

Простой сюжет. А дальше — настезь дверь,
на стол положат, кто-нибудь да всхлипнет.
Смеяться будешь — прапорщица-смерть
нас так же по фамилии окрикнет.

III.

Я помню — старшина по воскресеньям
водил нас в баню, как на водопой.
Вот зрелище. Я про него сказал бы,
что это тот ещё соцреализм.
И мне казалось — в общей нагоде



беспомощность была и обречённость.
Наверное, в чистилище теперь
такой же пар, такие же отсеки,
такой же невозможный синий кафель.

Я помню – доставали из петли
мы в этой бане год спустя мальчишку,
солдатика с той самою снежинкой.
Как он лежал на каменном полу
и принимал мужские очертанья,
и кто-то слишком мрачно пошутил,
что парень неудачно дембельнулся.

Его я помню очень хорошо,
хотя его лица совсем не помню.
Смешной затылок, девичья фигура.
Совсем ещё ребёнок, бедный мальчик,
а за спиною чёрный автомат
и маленькая белая снежинка.

Эта жизнь не твоя. Потяни за последнюю строчку,
распуская сюжет, нажимая на клавишу «сброс».
А писал, словно Бог, вымеряя всегда точка в точку.
И стояли слова – пятки вместе, носочки поврозь.
На замызганной кухне давно обретаются черти.
Похудел и осунулся, куришь одну за одной.
Погоди умирать! Что ты знаешь, дружок, о смерти?!
Вот побегай ещё, подпиши у неё обходной.
Погоди умирать! Видишь, сколько напало снега.
Как скрипит под ногами, заходитя всем существом.
И сугробы такие, что хочется прыгнуть с разбега,
и кричать – С Рождеством!

Как собирался, ещё пацаном,
в трюме рвануть на тот свет.
Круглый дурак за квадратным столом:
с детства дразнили – поэт.

В тридцать он всё ещё, как молодой,
ходит по краю листа.
Бог – говорит – с накладной бородой,
чёрт без рогов и хвоста.

Ташиг в стихи всё, что плохо лежит –
старый знакомый мотив.
Сверху надставить эпитаф, пришить,
переходя на курсив.

Это гроза-дерева на цепи
мечется, чует весну.
Молния с треском ломает в степи
через колено сосну.

Будто бы голос – а есть кто живой? –
хлопает громко дверьми,
или же бог говорит сам с собой,
всех называя детьми.



Затемно вернёшься с похорон,
 куришь, наливаешь самогон,
 засыпаешь прямо там, на стуле.
 И сквозь тридевятый слышишь сон,
 как под утро дворники проснулись.

Так задумал, видимо, творец —
 с чёрно-белым вывертом-сюжетом.
 Новонспечённый вот отец
 у роддома — выглядит поэтом.
 Там жена, там целых две души!
 Он стоит под окнами с букетом
 и кричит ей — сына покажи.

Так на землю падают слова,
 и слова подхватывает ветер.
 Так от нас останутся на свете
 пепел да примятая трава.

На земле — примятая трава,
 дома — фотокарточка на полке.
 Облако, похожее на волка:
 это — хвост, а это — голова.

Это показалось, что болит —
 не спеши хвататься за пожитки.
 Отпусти, пускай оно летит —
 надувное облако на нитке.

Что ты хочешь? Ружьё? Самосвал?
 Принесли, когда я ещё спал,
 мне от Деда Мороза двустволку,
 положили тихонько под ёлку.

Этот праздничный запах ванили.
 За спиной «С новым счастьем!» кричали.
 Молодыми родители были —
 внука бабушке оставляли.

Там, где память пропахла костром
 и сухая за окнами вишня,
 овдовевшая в сорок втором,
 замуж так и не вышла.

Ни друзей у неё, ни подруг.
 Всё ходил к ней один политрук.
 Говорил — детям нужен отец.
 Предлагал, хоть сейчас под венец,
 а потом вешал китель на гвоздь.
 Но у них что-то там не срослось.

На единственном фото она
 перед самой войной вместе с дедом.
 Он писал ей — Ну, здравствуй, жена!
 А потом не вернулся с победой.
 В форме и лейтенантских петлицах
 он всю жизнь будет бабушке снится.



Над кроватью тот самый портрет.
Чашка выскользнет на пол из рук.
Только дочка и маленький внук
подрастает — ну, копия дел.

Только так и живёт, крепостной,
прикрывает красу сединой,
поясницу вот кутает пледом.
И часами без света сидит,
и с собою сама говорит,
и зовёт внука именем деда.

Нам бы всё — разобрать, спонерить,
да с фонариком чтоб в туалет.
Ты не помнишь — а запер я двери,
не оставил уют или свет?

Или всё, что ни делалось — на спор,
чтоб до смерти прикладывать лёд,
а по праздникам — страшные астры,
и надеяться, что повезёт.

Вот и ёжик блуждает в тумане
иль господь поправляет софит.
Это я только думал, что ранен:
паф-паф-паф — оказался убит.

Эти страсти, земные мордасти,
барабанные дробы минут.
И меня разберут на запчасти,
на запчасти меня разберут.

Бог на последнем этаже
печётся о моей душе.
Листая старую подшивку
моих грехов, бранит паршивку.
При свете маленькой лампадки
всё время делает закладки.
Бросает в печь черновики.
Не отвечает на звонки.

И я молчу. Я не жужжу
в тоске по мировой культуре.
И всё под окнами хожу,
как кошка по клавиатуре.

Мой Бог, почти как человек,
вздохнёт и вспомнит прошлый век,
когда выписывали черти
ему свидетельства о смерти.
Потом, когда навеселе я,
стучит крестом по батарее,
чтоб сделал музыку потише.
На сочинителей стишков
всегда глядит поверх очков
и что-то в свой блокнотик пишет.
А я рифмую, лью елей,
всю жизнь торчу на перекуре
с дырявой памятью своей
и тройкой по литературе.

На порожках курить и смотреть на родную спецшколу,
на безумные окна спортзала, заделанный лаз.
Наливать по чуть-чуть, запивать, если что, пепси-колой.
Ну – за нас!

Как тихушница-жизнь шарит в сердце, брюзжит о расплате:
подрисует усы, бородёнку, добавит морщин.
А когда-то на задней-презадней расписанной парте
жил-был мальчик один.

Жил-был мальчик один. Он зимою подкармливал осень.
Он мечтал о щенке, он хотел духовое ружьё.
Не любил молоко и любил, как жужжит «Смена-8»,
и без плёнки снимал на неё.

Остывает мгновенье, потом выцветают чернила
или, может быть, стало на улице раньше темнеть.
Перегнуться, повиснуть вот также на шатких перилах,
плюнуть вниз и смотреть.

ДМИТРИЙ МУРЗИН

ОДЕССА. ЛЕТО 1977 ГОДА

Вот то Чёрное море, где
Я учился глаза открывать в воде,
Так и не научившись плавать...
Понимая мир едва ли на треть,
Я бросал в прилив возвращенья медь,
Не предчувствуя крах державы.

От Одессы память вернула лишь
Соль лимана и частный сектор крыш,
Да экскурсию в катакомбы.
Мы снимали комнату «для гостей»,
Пахла чем-то солёным моя постель,
На подушке синели ромбы.

Во дворе, как водится, виноград,
И хозяйкин, грозный такой, халат,
Говорит: «Не ешь, он незрелый».
А я всё же ел, и кривило рот –
Не был сладок этот запретный плод,
Но зато мне было две Евы.

Евам было по одиннадцать лет,
Я когда-то помнил восемь примет,
По которым их различали...
Нет иных таких, среди Надь и Лен,
Ведь они похожи, как пара колен,
Как одна сторона медали.

Из чудес вечерних, ау, смотри,
Кабачок пустой, со свечой внутри,
Как провалы горят глазницы,
Польхают ноздри, пылает пасть,
Надо мною страх обретает власть,
И потом полночи не спится.



Ночью было душно, а днём – жара,
Остальное – смутно, чай, не вчера,
Было жизни седьмое лето.
Двадцать лет, для памяти – всё же крик,
Остаётся запах, уходит звук
По слепящей полоске света.

Кончается век, как ни в чём не бывало,
Кончается так, как кончаться привык.
А мы продолжаемся. Дело за малым:
Успеть опустить застоявшийся миг.

Кончается век, словно ниточка рвётся,
Но крутится-вертится шар голубой.
И жизнь продолжается, жизнь остаётся,
Как солнце, висящее вниз головой.

...Идти к вокзалам трём после обеда...
Из города в другие города
Здесь каждый день уходят поезда.
Я на одном из них сейчас уеду.

Сегодня понедельник, значит, в среду
Ты спросишь: «Любишь?». Я отвечу: «Да»...
Ещё сто раз – и больше никогда.
Ещё сто раз – и ты за мною следом.

Я говорю столице: «Отпусти».
Вхожу в вагон, в котором места мало,
И лезу с головой под одеяло.

А поезд всё не может отойти
С какого-нибудь третьего пути
Ужасно Ярославского вокзала.

Наступает время ночи,
Смысл жизни – очевиден,
Этот силуэт нездешний –
Я не здесь, и ты не здесь,
Нам никто не напророчит
Ни разлуки, ни обиды,
Если ты ещё со мною,
Значит, умер я не весь.

Наступает время ночи
Почём зря, напропалую,
И тебя я ощущаю,
Как дыхание своё...
Если б ангелы мне дали,
Ну, к примеру, жизнь вторую...
Если б дали жизнь вторую,
Я бы прожил и её.



Наступает время ночи,
 Ночь стоит по всей отчизне,
 Мы с тобой живём в прекрасной,
 Самой лучшей из отчизн. . .
 Для тебя, мой милый ангел,
 Мне одной не хватит жизни,
 Для тебя, мой милый ангел,
 Мне нужна вторая жизнь.

Носитель языка, чтоб уберечь язык,
 Бежит из той страны, язык которой носит.
 Настали времена и взяли за кадык,
 И вот родная речь молчит, пощады просит.

Молчание всегда срывается на крик,
 Изъята буква «ять», де-факто и де-юре.
 И в колченогий стиль, как косточка в язык —
 Войдет порок и бич, бред-аббревиатура.

По планам ГОЭЛРО, ВКП(б), ЧК —
 Поди-ка разбери — что истинно, что ложно.
 И, сгорбившись, идёт носитель языка —
 И ноша тяжела, и бросить невозможно.

Сергею Самойленко

Садилось солнце как вельможа,
 Клонилось лето к сентябрю.
 Ты останавливал прохожих,
 Чтоб посмотрели на зарю.

Они шагали торопливо,
 Был вечеру никто не рад,
 А мы с тобою пили пиво
 За тот единственный закат.

Садилось солнце, как вельможа,
 Клонилось лето к сентябрю. . .
 И ты остановил зарю,
 Чтоб посмотрела на прохожих.

Купить на кухню табурет.
 Писать о том, что лету — амба.
 Попав опять в объятья ямба
 Настропалиться на сонет.

Порезать мелко винегрет,
 Перебирать эстампы, штампы:
 Без мотыльков скучает лампа,
 И некому лететь на свет. . .

На небе облака висят.
 В подъезде прячется собака.
 Я наблюдаю листопад,
 Как будто ожидаю знака,
 Припоминая Пастернака,
 Про то, как в раннем детстве спят. . .

**ИРИНА ИВАНЧЕНКО**

КОКТЕБЕЛЬ: ТВОРЕНИЕ

Андрею Коровину

Отгородить кусочек моря
карминным каменным хребтом
и гальку крупного помола
сушить на блюде золотом,

ловить серебряную рыбу
весёлым утренним зрачком,
пока сторожевая глыба
не станет первым маяком,

и, не заботясь о ночлеге,
по камешку скалистый кряж
наращивать, скреплять побегом
лозы, пока желтеет небо
и волн татарские набег
берут измором дикий пляж.

Ещё ни рая нет, ни ада,
ещё рыбак и виноградарь
ворота бухт не отворил,
но бьёт волна и нет с ней сладу.
Чем выше горная ограда,
тем громче море говорит.

Чтобы расслышали в далёкой,
степной, заморской стороне,
где спит земля на солнцепёке
и грезит берегом во сне.

Эти горе-слова
не растопишь слезами.
Ни жива, ни мертва
я стою на вокзале.

И чернеет вдали
небо над Фиолентом.
Я на сгибе земли.
В кассе нету билетов.

Сердце бьёт, как родник,
и расходятся створки.
Приютит проводник
в уголочке, в каптёрке.

И в купейном тепле,
по кровящему следу
я приеду к тебе,
завтра утром приеду.

Я тебя обниму
и замру под ключицей.
В эту горе-весну
ничего не случится.

Я доеду домой
через пламя и копоть.
Мой божественный, мой
человеческий опыт.

АПРЕЛЬ

Ольге Якутович

Апрель покажется спасеньем,
когда на облаке верхом
взлетит над Вербным воскресеньем,
взойдёт над Чистым четвергом.

Сугробы пятятся проворно,
когда, слышан по шагам,
идёт во двор влюблённый дворник,
взлетает, как летал Шагал,

и в брызгах клёкота и свиста
легко и ловко, без купюр,
орудует метлой и кистью,
щербатый выбелив бордюры.

И, капнув синим на качели,
он намечает высоту —
как будто юный Боттичелли
впервые подошел к холсту.

И к Пасхе расчищая время,
как двор от снега, явь от сна,
он небеса вставляет в раму
свежеотмытого окна.

И смерти как в помине не было,
когда, не отводя руки,
апрель окрашивает набело
деревья, дни, черновики.

НЕЛЕТАЛЬНЫЙ ГОД

И осень не явилась в свой черёд,
и замерло времён круговращенье.
и длится, длится нелетальный год,
и нет ему ни смены, ни прощенья.

Как Цезарь, август жалует народ
горячим хлебом, солнечной потехой.
Никто не умер в нелетальный год,
не улетел, не выбыл, не уехал.

Храни, Господь, от дыбы и беды,
даруй, как диво, технику паренья
над перевалом будничной среды,
над праздничной высоткой воскресенья.

Сентябрь — турист известный: он в обход
пойдёт и перепутает дорогу.
Никто не умер в нелетальный год.
Мы, слава Богу, живы понемногу.



Под осень неприветлив небосвод,
но изредка, обнявшись, по субботам
летаем мы. И нелетальный год
приветствует учебные полёты.

МОЛИТВА ЗА АНГЕЛА

*Лесничий сна, обходчик сада –
он копит для меня прохладу,
а сам нуждается в тепле.
Храни, Господь, мою охрану,
как всё живое на земле. . .*

В истоках, проблесках, притоках,
в богатстве, в бедности, в потёмках
ты рядом. Видимо, не зря
нас завязали, как тесёмки
набухшего календаря.

В болезни, в здравии – все тридцать
с излишком лет моих и зим
ты за плечом молчишь, как птица
над слабым птенчиком своим.

А я теряю страсть к полёту,
и я живу вполоборота,
тебя читая по губам,
но погляди, какое лето
накрыло нас, как ураган.

Вольноотпущенная радость –
цвести, расти не по часам.
Вновь из смирительной ограды
в пустой проулок рвётся сад.

И громогласен гул надземный,
и разбегается гроза -
ошеломительную зелень
как новость, всем пересказать. . .

Смотритель, виноградарь, воин,
моя награда и вина,
пора тебе на вкус освоить
простор за створками окна,

где свет един, а цвет разбросан
в неброской прорисовке дней,
где пламенеют абрикосы
в резных подсвечниках ветвей.

Тяни над опустевшей клетью,
над вымыслом и ремеслом
разгаром жизни, жаром лета
неопалимое крыло. . .

Но сколько б не летал и где бы
ты не был – к ночи жду домой.
Я всем должна – земле и небу,
и я в долгу перед тобой.



И в жаре, в жалобе, в разгаре
я помню — мы с тобою в паре,
как шаг и след, словарь и стих.
Я помню, значит, существую,
листаю книгу долговую¹
и отвечаю за двоих.

¹Календарь — (от лат. *Calendarium*) — долговая книжка: в Древнем Риме должники платили проценты в день календ, первых чисел месяца.

ПЕРЕЛЁТНЫЙ ПОСЁЛОК

*Из недоставленных писем, посылки
выпорхнет адрес и выправит азимут:
Крым, Коктебель, перелётный посёлок,
птицам вослед улетающий на зиму*

1.

Друг мой сердечный, оставим обиды
и, приглядевшись к дороге неблизкой,
вспомним, что смерть — только выдача вида
на небожительство, смена прописки.

Прежде чем плакать в жилетку блокнота,
вспомним: без грусти о прожитом лете
ласточки стаятся перед отлётом
и поджидают попутный ветер.

Знаешь, в Восточном Крыму невесёлая
осень уже распугала курортников,
и в ожиданье отлёта посёлок
лёг под горой, как под грудью родинка.

Перед дорогой в домах и квартирах
дело кипит за прикрытыми ставнями —
серые горы постелей отстирывать,
море посуды отмыть и расставить.

Женщины жмутся к заборам, тревожно
перекликаясь с соседками.
Продыху
нет до отлёта.
И лунной дорожкой
ходит октябрь по воде аки посуху.

Где в сентябре завлекали самсою,
море чужим на разлив предлагали,
пара воробышков роется в гальке.
Словно на отдыхе, осень босая
бродит ещё неостывшими пляжами,
пьёт из колодцев и чёрных скважин.

Высохли простыни, сложены в ящики.
Гребни холмов зеленеют, как ящери, —
море расчёсывать этими гребнями.
Прошлого не было. Есть настоящее
между холмами и морем серебряным.

2.

В тихую ночь небеса открываются
(волны — и те ненадолго замолкли).
Весь Коктебель от земли отрывается
и отправляется к месту зимовки.



Вслед за шалманами, винными лавками,
рынком, садами и тёмными крышами
серые чайки с пунцовыми лапками
ринутись к небу и тянутся выше.

Где-то в Восточном Эдеме отмечено
место посадки на карте вселенской.
Море волнуется, и полумесяцем
выгнулся берег и ждёт поселенцев.

Там, на Востоке Эдема, такая же
бухта, холмы с разноцветной обивкой,
тёплая галька. И те, кто раскаялся,
смогут приехать сюда на побывку.

И приземлится на взморье пустом
странник давнишний,
неправильный дом.
Лесенки белые стены обвили –
дом-небылица из памятной были.

Он резонирует всеми пазами
с морем – ещё неудобный, бескровный.
Из-за холмов благодушный хозяин
к дому придёт и ворота откроет.

Скоро из хмурого города Лима
к дому-чернильнице, дому-скворешне
Осип прибудет, и снова Марина
камень в подарок получит сердечный.

3.

– Как долетели?
– Прекрасно. И слава
Богу,
в дороге ведь всяко бывает.
За день обжились, и улочка справа
улочку слева на плов зазывает.

Говор татарский и говор узбекский
пересекаются с русской речью.
Море воркует, и бьётся с разбега
в стенку волны обманувшийся кречет.

Здесь, в Коктебеле, совсем по-земному
щурится солнце, и нежит, и ластится.
Людно, и к каждому пришлому дому
вмиг прибываются местные ласточки.

Перезимуем, согреем купальщиков.
Души потешим закатом сиреневым.
Прошлого не было. Есть настоящее
между холмами и морем серебряным...

4.

Друг мой заветный, печали не стоит
вечно удерживать в гавани сердца.
Вновь от начала весна пролистает
светлую книгу пасхальной седмицы.

Друг, за плечами потери надежда
тихо стоит в неприметной одежде.
Тяжко, но сёстры – память и нежность –
нас навещают зимою бесснежной.

День многолюден, набит под завязку
хлопотным и суетливым занятием.
Главное – ночью отслеживать связку,
не разомкнуть ненароком объятия.

Крепче прижми, как озябшую птицу,
родинки грея губами, при этом
не выпуская меня за границу
между земным и надземным светом.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЧИХИН

ГОЛУБЫЕ ЕЛИ

Обдирая дёсны, мы доели
Чёрствые, скупые бутерброды
И валили голубые ели
В жижу под колёса вездехода.
Злость обезображивала лица.
Топоры звенели всё упрямей.
Ели, словно раненые птицы,
Суматошно хлопали ветвями
И распластанно валялись наземь,
Молодняк ломая под собою.
А колёса смешивали с грязью
Их ветвей убранство голубое.
И ни с места.
Снова всё сначала.
Топоры ярились, дело зная.
Страшно вспомнить, как ожесточала
Красота, почти что неземная.
Собственное варварство бесило,
Было пусто на душе и гадко...
Но машину всё же выносило
Из болота по жестокой гати.

ИЮньСКИЕ БЕРЕГА

Река. Тот берег, что пологий,
Июню распахнул простор.
Другой насыпленный и строгий
Суровую стеною гор
Похож на крепость, где на башнях
Скучает ёлочный конвой
И охраняет снег вчерашний
Не таял чтоб.
А за рекой
Берёзы с солнцем согрелили,
Стоят порочны и легки
И кажут ёлкам на вершинах
Весёлых листьев языки.



ПЕТЛЯ
(тундровый сюжет)

Алигету Немтушкину

1.

Рядились, таились, но только стемнело
Два брата-разбойника вышли на дело.

По тундре продугой, распахантой, голой
Гуляют разбойники голод и холод.

С угрюмой сноровкой без финки, без пули
Один загоняет, другой караулит.

Не ради корысти, так ради потехи
Догонят, поймают, дадут на орехи.

Укрыться б, да нету с матёрыми сладу, –
Разыщут, поднимут, загонят в засаду.

2.

И сладко поспать, да голодной не сладко.
Из лунки согретой летит куропатка

На поиски тощих мороженных почек,
Чтоб как-то дожить до скончания ночи.

Позёмка мешается, вертит и крутит,
Но вот из-под снега проклюнулся пруттик.

А голод – не тётка, и холод – не папка.
Где пруттик – там ветка. Спешит куропатка.

От ветки до ветки – по крохе, по грамму...
И жить веселее, но праздновать рано.

Настроена ловко, укрыта укромно
Её поджидала петля из нихрома.

3.

Упрутого наста почти не касаясь,
По тундре петляет испуганный заяц.

Гонимый вчерашним и позавчерашним –
И холодом страшным, и голодом страшным.

Силёнок остался остаток остатка,
Но видит – у ветки лежит куропатка.

Он крови боится, не пробовал мяса.
В зобу куропатки зелёная масса

Расклёванных, смятых и слипшихся почек.
Противно. А голод и слушать не хочет.

И некуда бедному зайцу деваться,
Приходится рвать и вгрызаться, вгрызаться.

Не многим сумела порадовать птица,
Но всё же слегка удалось подкрепиться.



Оно бы и ладно. И в дело, и в жилу.
Но зайца другая петля сторожила.

4.

Песец – молодец. И расчётлив, и ловок,
Не раз уходил от гремящих двустволоков.

И здесь повезло: не искать, не гоняться –
Судьба подарила замёрзшего зайца.

Насытился зверь угощением обильным.
Везёт, как известно, красивым и сильным.

Кто смел, тот и съел. А кто ловок, тот волен.
Не царь, но царёк – он и этим доволен,

Что может позволить себе, не бояться.
Поел и трусцою: согреться, промяться.

Бежал не спеша и весьма удивило
Его, когда горло петлёю сдавило.

5.

Но царь настоящий – звериный и птичий –
Шагал человек. Возвращался с добычей.

Не то, чтобы холода не замечая,
Развел костерок, подогрел себе чая.

И хлеба нарезал, и сытного сала –
От холода с голодом это спасало.

Домой – не из дома. И ходко, и споро.
Особенно если дорога под гору.

И с каждой минутою к дому всё ближе...
Вот тут и влетает беспечная лыжа

В чужую петлю. Вырываясь из плена,
Он чувствует, что онемело колено

И встать невозможно, и жуткие боли.
Ползёт, напрягая последнюю волю.

И нету просвета у тундровой ночи.
Хихикает голод, а холод хохочет.

ПОРОГ

Когда бы не камни, река онемела,
И то, что за день рассказала река мне,
Она бы за век рассказать не сумела
Когда бы не камни, когда бы не камни.

Легко одолев травянистые мели,
Расслабленно плыли мы ласковым плёсом
Туда, где, казалось, скучали таймени
По нашим весёлым уловистым блёснам.
Почти что вслепую – реки повороты
Причудливей чем у любого лекала.
Но вот, настороженно, словно ворота,
У берега встали шербатые скалы



Поросшие редким корявым багулом.
Ещё поворот. Берега – на суженье.
А дальше – густым нарастающим гулом
Порог заявил о своём приближенье.
Так зверь отгоняет пугающим рыком
Врага от своих несмышленных детишек.

Орлан, над распадком, ручьями изрытом,
Степенно крути свои мрачные пишет.

Река всё быстрее. Давно ли плелись мы,
А здесь уже ветер упругий и свежий.
Над камнем струя пролетает по-лисьи
И давит валун, обхватив по-медвежьи,
Вода взбешена, что валун неподвижен,
Ревёт, так, что мы уж друг друга не слышим.

Крути у орлана всё ниже и ниже,
А кедры на скалах всё выше и выше.

Быстрее, быстрее. Вон хариус чёрный
Взлетел над чистинкой и канул, как камень.
Промокли тельняшки и в пене лодчонка,
А речка по глыбам скачками, скачками.

Несёт нас, и по сердцу эта игра нам,
Лихая с лихвою, но чистая сила.
Мы знали, что здесь не бывает стоп-крана.
Ну вот и допрыгались – шест закусило.

Нас вертит поток и мокры наши лица.
Капризы реки и удачи капризы...
Не верил – поверишь
И станешь молиться.
А берег, как локоть, который так близок.

СЕРЫЙ ДЕНЬ

День, как большой домашний пёс,
Разлётся сыто и лениво.
Семейство сереньких берёз
Расположилось у залива.
Во мгле туманной пелены
Темнеет ствол трубы фабричной.
И мы
Так тихо влюблены
И так обыденно-привычны,
Спокойные, как этот день,
Мы кажемся сестрой и братом,
И некуда нам руки деть,
Как перед фотоаппаратом.

ТИМ СКОРЕНКО

ЛУЧШИЙ ВИД НА ЭТОТ ГОРОД

Если ночью отправиться в город, подбитый тьмой, как бывает осенняя куртка подбита мехом, и ловить звездопад, и шептать «этот город – мой», и жалеть, что отсюда в студенчестве не уехал в мир, где климат прекрасен и плещется океан о бетонные стопы какой-то из вечных статуй, где становятся близкими пальмы далёких стран и где Анды намного доступнее, чем Карпаты, то мечты о свободе становятся вдруг тюрьмой для тебя, безнадежно влюблённого Арлекина; ты стоишь со штыком, как японский городовою в декабре у ворот обескровленного Нанкина. Вроде он для тебя, он раздвинул своё нутро, предоставив тебе и запасы свои, и женщин, и свою паутину грохочущего метро, и остатки от праздников, мимо тебя прошедших, мол, бери, мой хороший, хватай, коли хватит сил, обгрызай мои звёзды, царапай мои фасады; только город тебя, как и водится, не спросил, что тебе самому в его каменных джунглях надо.

Так и смотришь на небо; взлетающий самолёт незаметно сигналист: смотри, я бегу отсюда. И ты думаешь: может быть, всё-таки упадёт, оправдав этой смертью надежду твою на чудо и твою правоту, потому как остаться здесь невозможно, не веря в достоинство ходьбы на месте, но ты знаешь, мой маленький, в этой стране чудес не бывает без связей, рубля, шантажа и лести. Если город не давит, то это ты так привык, что совсем незаметной становится тяжесть слова, он кладёт на тебя белокаменный свой язык, и всё время чуть-чуть добавляет, опять и снова вынуждая искать оправдание тем делам, что когда-то вполне можно было означить ленью, а теперь – ни за что, и ты делишься пополам для того, чтоб успеть стать и снайпером, и мишенью.

То есть ты – это я. Про себя во втором лице говорить много легче, поскольку давать советы нынче каждый горазд, каждый знает один рецепт, как попасть на балет или в оперу без билета, как решить все проблемы за десять лихих минут, как найти и работу, и дом, и жену с зарплатой; только эти же люди, как шепку, тебя сомнут и не спросят: «Дружок, что по сердцу тебе здесь надо?»

Я стою наверху. На зубце крепостной строки. На кремлёвской звезде. Подо мною кипит Гоморра. Я – японский солдат. Я готовлюсь войти в Нанкин. Генерал обещал, что подарит мне этот город.

НЕВЕРБАЛИКА

Иное молчание может быть ярче слов, значительней фраз, выразительней жестов ловких – Так девушка молча сжимает своё весло, и поза её не нуждается в расшифровке, Так фавн Барберини застыл, не прикрывши срам, так падает юный Адонис в разгар охоты, Так тысячи лет охраняют подземный храм солдаты из обработанной терракоты.

Давай же молчать – есть отличный карибский ром. Мы можем смотреть друг на друга – и всё на этом. И самое главное – молча, мы не соврём, как нам объяснял знаменитый профессор Экман. Моторика мышц лицевых, выражение глаз, движение пальца на кромке кофейной чашки. Способны гораздо точнее сказать о нас, чем годы совместной работы в одной упряжке.

Слегка улыбнись и чуть искоса посмотри, рукав подними, покажи мне своё запястье, Я знаю: снаружи всё так же, как и внутри, и я становлюсь мягкотел и тебе подвластен, И сразу не станет привычной нам чепухи, конфетных бумажек, шумящей вокруг столицы. Я буду тебе объяснять, как писать стихи. Ты будешь учить меня бегло читать по лицам.

КАНАТ

Я иду по траве, по земле, по бетону, по огромному городу, между машин, по иссохшей листве, отложениям донным, по-над пропастью в просе, пшенице и ржи, я сажусь на трамвай, забираюсь в автобус, вызываю такси, захожу в самолёт и смотрю на часы, на секстант и на компас в ненадёжной надежде, что компас не врёт; я опять в кинозале, к последнему ряду я привык и пыгаюсь добратся туда, понимая, что снова иду по канату, и баланс мой нарушен, уже навсегда.



Мы встречаемся в местном метро ежегодно. Ты глядишь на меня из настенных реклам, ты одета эффектно, слегка старомодно, за тобою – костёр, под тобою – метла, ты похожа на фреску в гробнице этруска, на ханойскую башню, на дождь проливной, говоришь по-английски (-немецки, -французски), хотя, в общем-то, помнишь, какой твоей родной; ты идёшь подо мной, хотя ты меня выше, ты – чужая столица, чужая страна, и я чувствую (впрочем, и вижу, и слышу), как ты пальцами гладишь мой ровный канат.

Я сорвусь, упаду, обязательно – завтра, послезавтра, неважно, но я упаду, ну же, делайте ставки, побольше азарта, как гимнаст через площадь идёт на звезду, так и я – только глупо, бесцельно, бездарно, балансирую, лишь бы остаться стоять и стареть, и твердить: я не старый, не старый, и на палец накручивать белую прядь. Значит, стоит сорваться, покуда не поздно, и на улице – праздничный солнечный май, и отправиться дальше куда-нибудь к звёздам. Но сначала поймай меня. Просто поймай.

АДМИРАЛ

Безнадёжностью дышат ритмично звенящие рельсы,
Безысходностью тянет от пылью прошитых оград.
Символизмом горят заголовки желтеющей прессы,
Претворившей в реальность посредственный бал-маскарад.

Эти новые лица красны, широки, крутобровы,
Хороши, как квадрат, по углам не вписавшийся в круг, –
И вы нервно находите в них, госпожа Тимирёва,
Чуть заметное сходство с мужчинами бывших подруг.

Приспособились все, то ли маузер повесив на пояс,
То ли маузер повесившим тело навстречу разъяв,
Но когда всё застыло, остался в движении поезд,
Пассажиры его и весенняя трель соловья.

А с последним не сделаешь зла: он поёт, как умеет
Равнозначно пронзая душонки с обеих сторон, –
Но с одной стороны за окном тишина каменеет,
А с другой его трель превращается в пушечный звон.

И пускай безнадёжностью дышат звенящие рельсы,
И пускай безысходностью тянет от тёмных оград –
Если поезд идёт, значит, время пока ещё есть и
Остаётся естественный шанс дотянуть до утра.

И когда вы поймёте, что время проснуться настало,
Что за мёртвым окном незнакомые звёзды пестрят,
Прикоснитесь губами к небритой щеке адмирала
И, целуя его, заслужите свои лагеря.

ПАМЯТИ ОЛЕГА ЯНКОВСКОГО

Иду устало, сгибаясь низко, по-стариковски,
Свалившись в кресло, канал включаю и слышу плач.
Мне сообщают: сегодня умер Олег Янковский,
Барон немецкий, поэт Рылеев, дракон, трубач.

Я не смотрел половину фильмов, где он снимался,
Меня волнуют, простите, вести с других полей,
Но если роли для эрудитов уходят в массы,
То это значит, что нужно больше таких ролей.

Пред ликом смерти равны и кролики, и удавы,
Бечёвка рвётся, трещат опоры, крошится мел.
И я исчезну. Но я имею на это право,
А вот Янковский – или мне кажется? – не имел.

КОСА

Когда же ты выйдешь, мой мальчик, на поле боя, услышишь стрельбу и внезапно поймёшь, дурак, что здесь всё иначе, что время совсем другое, и даже команды сержанта звучат не так, ты будешь бежать, заводя своё тело криком, ты будешь стрелять в непрозрачный горячий дым, и станет в какой-то момент непривычно тихо, и ты, слава Богу, останешься молодым. Но это случайность, всего лишь свинья на бойне, планктон, попадающий в алчный китовый рот; как врач не задержит внимания на бубоне, так вряд ли твоё дезертирство заметит взвод. Ты будешь лежать, будут рядом лежать другие, смотреть в никуда, неподвижно вращать в траву, и будут бледнеть персональные березини, которые без носителей – не живут.

Коса рассекает колосья, косец устало с покатога лба вытирает горячий пот; обеда-ссобойки опять неприлично мало, но нужно работать, пшеница – она не ждёт, сгнивает наутро и снова растёт под вечер, и нужно косить до предела и на износ; бывает, в такую систему сойдутся вещи, что день прогуляешь – не хватит десятка кос. Вон тот колосок – это мальчик, болевший долго и страшно уже надоевший плохим врачам; другой – это толстый владелец партийной «Волги», лобивший кататься на скорости по ночам. А вот и старик, отходящий в своей постели, среди одиночества, скорби и темноты. А вот и полярник, нашедший покой в метели. А вот и иракский смертник. А вот и ты.

Мы все лишь пшеница. Мы – рожь. Мы – овёс. Мы – просо. Мы – злаки, которым нельзя превращаться в хлеб. Скоси нас, работник, сорви нас, оставь вопросы; землю рождённых назад возврати земле. Война или голод, болезни, цунами, сели, лавины, обвалы, теракты, эффект толпы, случайные выстрелы, выстрелы мимо цели – да мало ль причин для рутинной твоей косьбы? Когда же устанет косец, ослабеют руки и кошки в атаку пойдут, на душе скребя, взмахнёт он косою, засвистит, заглушая звуки, и точным последним ударом сорвёт себя.

Беги, дурачок, улепётывай с поля боя, беги через лес, через пашни, вперёд, вперёд – в далёкие земли, где небушко голубое, где льются в речных берегах молоко и мёд. Ты выйдешь на поле и скажешь «спасибо, Боже», найдёшь мертвеца в затвердевшей сухой грязи.

Возьми у него инструмент. Наточи как можешь. А дальше – коси. Не отлынивай, брат, коси.

МАРИЯ МАРКОВА

Горе, когда одинок и лежишь без сна,
или стихи читаешь, на плач сбиваясь:
я на севере диком себе сосна,
ветром сдуваемая листва я.

Над своим и плакать смешно. Смешно
с красным лицом, опухшим в разгаре лета
днём на улицу выбежать из кино:
как? один? а горя – на два билета.

Горе неразделённое, сон займы.
Притворишься спящим – дрожат ресницы,
и с экрана сияет звезда зимы,
перед сердцем стоит, никуда не скрыться.

Не сияй! Чернеет твоя кайма,
близок край, и это – в начале века,
тысячелетия. Не своди с ума
хрустом льдин и провалом снега.

Вся-то обморок – жизнь моя. Просмотреть,
простоять с открытым лицом у края,
отвернуться от света её не смей,
зачарованной бабочкой обгорая.



Нежен, зелен, робок обрыва гул.
Притворишься мёртвым – дрожат ресницы.
Господи, я и петь, и плясать могу.
В детство впадая застенчивое, дразниться.

С языком, убогонький, с кулаком,
над холодными ямами голубыми
пробегать, похрустывая ледком,
из-под ног испуганными твоими

птицами подниматься. Но свет! Но гул!
Даль неизвестная! Как говорят высоты!..
Страшно прислушаться к облаку, на бегу
вырасти страшно, страшно покинуть соты.

Как говорят вершины! – белым-белы –
сходят лавины снежные, погребая
пьющих гостей и праздничные столы,
плачущих и похоронные. Как губами

море земли касается, а земле
царства и царства сущестъ, повинуюсь смутно,
тайную смерть доверяют свою, во мгле
ладят гробы из пепла и перламутра.

Мне ли сопротивляться? Не хватит слёз
время разжалобить, – гипсовые истицы,
мойры прядут верёвочку из волос
и напевают: грядущее только снится,

снится сегодня, и в прошлом – прекрасный сон –
мальчиком смотришь на спицы велосипеда,
мимо домов несёшься за колесом –
не прерывается обморок. Больше лета –

невыносимого – больше для горя тем,
больше тоски и сердца, и не хватает
места для радости. Гибкие ветви тел!
Томные реки! Пропасти под мостами!

Сколько пространства, и только одна звезда!
В горе прозреть, очнуться, переживая:
не дотянуться до света мне никогда,
ветром сдуваемая листва я.

Близок край, и холодно одному.
Зябко, тревожно, боязно, зыбко, голо.
Как проснуться ночью в пустом доме
и, с кровати встав, не коснуться пола.

Есть ли вес, не почувствовать. Словно свет
от окна, выхватывая детали:
чёрный фонарь и дерева силуэт, –
лишь мигнуть, чтобы потом летали,

днём, золотые пылинки, и воздух дрожал, прогрет.

Не смотри, закружится голова.
 Гнёзд осиных не трогай. В хлопотах их жилищ.
 Над земляным наделом – ягоды, пахлава –
 виться им целый день, вынужденно селиться
 в складках чужой одежды. Не прихвати одну
 пленницу, дай ей волю, не умирая, жалить.
 Я же, лоб остужая, прислоняюсь к окну,
 и – одними губами: милые, уезжаем.

Но как долгие спуск по лестнице по одной
 со смотровой площадки. Белы перила.
 Между двумя пролётами – осы, и надо мной
 стрелки их чуть сдвигаются. Я их проговорила
 или они всегда пребывали здесь,
 в хаосе золотом, жалиющие секунды
 временного бессмертия, фурии этих мест?
 Вот тебе и проклятие воспоминаний скудных.

Не сохранить собеседников до зимы.
 Не удержать и моря в его движенье.
 Горные голуби, запахи, розовые холмы,
 пыль на ступнях и сандалиях... Как ты несовершенна,
 память, какую боль ты предлагаешь нам
 вместо внезапной радости видеть, какую муку
 ты сообщаешь ласковым именам
 фотографических образов или звуку
 гальки упавшей. Удара неполный звук,
 разве он станет полночного разговора
 шумом и шёпотом моря, всего вокруг –
 голосом? Разве он повторяет горы,
 их очертания, ломаные хребты,
 бухты уединённой дугу кривую?..
 Камень летит, запущен, и не достиг воды.
 Так – без ответа – в беспомыслении всех зову я.

Милые, уезжаем. Я – завтра, вы...
 Как «опоздала»? Вчера ещё?.. Вот досада.
 Не попрощаться под редким дождём листвы,
 не помахать растерянно. Слёз не надо.
 Это – от ветра, не достаёт глотка
 воздуха, взгляд теряется вдруг без цели,
 и проявляются – чистые, свысока –
 слёзные шелестящие акварели.
 Юбки взлетает край, и в разводах лент
 первой ступеньки не видно, но слева – осы.
 Вот они под ногами, вот они – у колен,
 вот они у лица хороши сквозь слёзы.

Сколько бы ни прошло с той минуты лет,
 плачущий всё стоишь, не касаясь пола,
 в облаке ос, с содроганием сердца свет
 их отводя рукой и боясь укола.

Коктебель, 2012



UNICUS

– *Кто мой ангел хранитель?*
– *Твой ангел хранитель – сторукий программист.*

Лес механический.
Звук механический.

В ученической
тонкой тетради я пишу:
о, конструктор мой, шутки ли ради
дал мне душу, подобную карандашу?..
Ты же знаешь, как дальше творение пластика и металла
избавляется от немоты.
Речь чужая – лекало.
Но моя... почему не похожа она на цветы?
И душа – то снимается стружка, то грифель
уменьшается, и в одной восхитительной книге вчера
я прочёл про львиноорлиного грифа,
а увидел уroda человекоподобного – ни пера,
ни звериной сознания силы.
Ты лишил меня прелести быть существом
из чудесного мифа. Бессердечный ты или
не знаком с волшебством,
я не знаю. Я знаю так мало и жадно.
Осязания, зрения датчики, чистая плоть.
Что есть свет? – мельтешашие белые пятна.
Что есть вещь? – для руки подходящий оплот.

unus

День – это звук постоянства, треск постоянный.
Посетителей жвала стучат, трутся ноги
друг о друга, то форте, то пьяно –
по полу бег. Снисходительно боги
камер слежения смотрят на всё с высоты –
насекомое царство должно быть полно немоты,

так откуда такой феерический шум? – как он сводит с ума! –
что значит «прослыть сумасшедшим»? –
задержишься на секунду, ответь, почему на меня
улыбаются их насекомые лица? –
ты такой же, но я умоляю: смотри на меня –
если раньше и брезговал с кем-то из вас говорить –
то теперь я познал одиночества полную сферу –
почему этот лес отвергает меня – почему
эти травы сухи и жестоки, а выше,
разве так представляете вы беспредельную высь,
этот матовый купол и крепкие рёбра каркаса?

duo

Лес ли был изначально, создатель молчит.
Ночью бабочка билась ко мне, я ничем не помог ей.
Но grasshopper и locust, должно быть имеют ключи
от любой из дверей и, конечно, от окон.

Этот ягель кубический, этот разрез красоты –
глаз раскосый цветка нисходящего – нежный светильник,
эти конусов ели и трубок блестящих кусты
с укоризной безмолвствуют мне: бесполезный бездельник.

Я с утра притворялся на страже бесценных даров,
но когда утекают воришки и свет приглушают,
открывается жалкая бездна далёких миров
или жалость бездонная к миру, но это мешает
мне прислушаться к голосу разума, разных программ
выполнение вдруг затрудняется, — что за помехи? —
о грехе ли заботится вновь покидающий храм,
но я чувствую, о, мой конструктор, какие огрехи
есть во мне, все ошибки твои, — исключительно им
я обязан подобным сознанием, железных желёз
ощущаю — и это реакция первая — дым.
Почему это он, а не плёнка слепящая слёз?..

tres

Смерть, на что ты похожа? Слова пока лишь
я встречал, равнодушно фиксируя «мёртв» и «прошай».
Ты ласкаешь избранника или его караешь?
Как относишься ты к говорящим с тобой вещам?
На любовь ли похожа ты? А любовь какая?
Если химия это, то я говорю: случись!
Будь мне воздухом первым, первыми облаками
светлой газовой камеры, и глоток твой — чист —
пусть меня оживит. Но если ты вся — словарна,
если буквенна, знакова, мертвенна и пуста,
если ты кощунственна, холодна, нетварна,
если ты стерильна от кончиков ног до рта,
мне не надо тебя ни ласковой, ни жестокой,
ни прекрасной ликом, ни с голосом ста сирен.
Оставайся сказанным словом, слогом,
не вставай с колен.

quatuor

Мне приснилось что-то, но образ неосязаем.
Я потратил время на то, чтобы воссоздать
полудевочку, полуптицу с уязвительными глазами
в окружении смертоносных любви солдат.
Одиночество было частью её состава.
В одиночестве полным над линиями чернил
металлическим пальцем, холодным его суставом
по губам полуптичьим её я легко водил.
Языком описуемо, краской отобразимо,
и скелет её — графика, чёткая боль штриха.
Но на свете нет её, а во мне всё зримо.
В этом месте плакать? смеяться? молчать?

Ха-ха.

quinque

Я сегодня узнал, что время не всем подвластно.
Что одни уходят раньше, другие — нет.
Я сошёл с ума и стал рукотворным, грязным.
Жизнь есть сон, и мне приснилось, что я был свет.
Пусть лесные звери запчасты мои растащат,
и немного дальше покатится голова,
чтобы прямо под коркой её голубой, блестящей
извивались черви слов и росла трава.

Поднимите мне веки, веки мне опустите,
подвинтите мне веки, веки мне развинтите.
Вы хотите смерти моей и любви хотите?
Ни любви, ни смерти вовсе вы не хотите.



Сквозь меня вы смотрите, видите механизма
идеальный образ, видите механизма
идеальный свет, сияния красоту.
Преломляет свет седьмая по счёту призма,
расширение света является аневризмом
идеальной души, рассмотренной на свету.

Так подробно жизнь моя, сон мой членимы все.
Дорогой мой конструктор, возьми меня с потолка
и представь другим, детали в уме тасуя,
сделай львиноорлиным грифом меня, пока
я ещё понимаю связи и вижу сцепку,
я ещё представляю разным себя и сценку
репетирую мысленно в роце своих систем.
Насекомым сделай меня, посади на скрепку.
Умертви меня быстро. Слова хлопки и слепки,
хлеб условия, слива, больно мне, глух и нем.

АЛЕКСЕЙ ТОРХОВ

БЛЮ-ЙЕЛЛОУ САБМАРИН

из романа в рассказах

*Мы все живём в сине-жёлтой подводной лодке,
сини-жёлтой подводной лодке,
сини-жёлтой подводной лодке...*

легендарная группа «Хрущи»

ЕГОГОРОД

*Пять этажей. Степь.
Звон телефонов.
Дома соседнего тень –
пятиминутное фото.*

Александр Шенин

Пятиэтажная степь, звон телефонов.

Главный телефон – изредка и встревожено. Вываливает тяжёлый язык благовестника. Увесисто бухает, взывая к вечности. Неумомонные средние держат ритм, фальшивят на перезвонах, сплетничают, трезвонят. И где-то у самых облаков – тоненько дзенькают многочисленные мелкие, сливаясь с цикадами. Вся эта звонь клубится, мечется как собачий лай по вечернему селу. Только зацепы – пойдут перебрехиваться, не унять.

Годами некопанный асфальт. Ковыляющие двуногие тени. Дома лоскутами, фигурными пятнами устилают место, очерченное под город.

Наставник в приснившейся жизни говорил: «У нас вместо плечей – ягодицы. Мы, конечно, тоже способны построить небоскрёб. Но только лёжа! Иначе рухнет».

Двуногие прыгают с этажа на этаж, играют в «классики».

Картину портят сорняки-девятитажки новой эпохи, тут же состарившейся на глазах. Время раскачивает их гранёные стебли. Сердца многочисленных букашек, обитающих внутри, то замирают, то оживают. Оттого кажется – пульсируют.

Это место называется – Егогород. Года здесь уложены пластами. Как подушки на кровати бабушки.

Он опять и опять слышит голос:

– Алик! Ну, сколько можно звать? Быстро иди домой!

И тогда – отслаивается от пахучей земли. Встаёт во весь рост.

Трамвайщицы шарахаются от него в разные стороны, пугаясь фигуры без тени. А он замирает...

Сверху не разобрать – куда идти? Где его дом?

Стоит и вслушивается в телефонный звон – не по нему ли?

Стоит.

А птицы слетаются и жадно пьют из него густой прохладный воздух. Ему не жалко.

Ещё бы – Поэт!

ПОЧТИЛЬОН

В почтовой сумке гнездится одиночество и черпает от невысказанного.

На самом её дне, если возможно представить такое, обнаруживаются тела, утонувшие в пучине молчания. Силятся вспомнить алфавит. Беззвучно кричат, и круглые рты их напоминают дыры бутылочных горлышек. Со дна этих колодцев даже днём видны коньячные звёзды.

Потёртая кожа, неровные швы. Вдоль и поперёк перелатано – всего не объяснить, не упомянуть. То ли вырезано – из сердца вон! То ли вишто и боишься кашлянуть...

– Услуги почты! Услуги морской почты!

Потасканная почтовая сумка оттягивает плечо, полна пустых бутылок. Именно – полна пустых. Как голова.

Свежий голос устало гнусавит. Висит над пляжем. Невыносимо долго растёт из сутулого старика, словно щетина.

– Помогаю с отправкой писем! Доступные тарифы!

У зазывалы лицо потомственного алкоголика. А ещё – изжёванный язык замполита и глаза, живущие отдельно. Кажется, вытащи их – тут же расползутся по ладошке, спрыгнут на песок и – поминай, как смотрели! Если же без подробностей, он – охапка мощей и конечностей. Всё это как-то передвигается.

– Ну шо, Степаныч? Ни одного клиента за час... Я ж тебе говорил: хорошо не жили – нехрен и начинать!

– Вот, язвип-персона, важный перец... Конверты почтальона учат! Тьфу...

Шаги по раскалённому песку. Расхлябанная походка бесхозных дромадеров.

Пляж – место временной свалки людей. Приходится лавировать. Отдыхающие валяются, как неподъёмные бутылки. Выпиты солнцем. Голые снаружи, пустые внутри. Собирай – озолотишься! Только кто ж их примет, даже дьяволу нужны не тела – души.

– Человек, по сути, остров, Колян. Чтобы сбыться, ему вода нужна, много воды. Столько, чтобы в глаза не помещалась. Вот они сюда и едут. На песке валяются, будто сами себя потеряли. Погоды ждут. Это как в доме без адреса писем ждать...

– Да нет, Степаныч, в таком доме лучше ждать повестки...

Голые тела с лоскутиками ткани. Женское уже не будоражит. У похмельных ангелов Степаныча импотенция, у бесов Коляна – передоз. Хотя, попадаются такие выпуклости! И смотрят в небо карие глазки груди, а соски торчат, будто не забытые на пол-удара гвозди. Тогда взгляд цепляется за их шляпки...

И рвётся бесцветная ткань бытия, и горизонт распадается на пунктир. Вынуждает замедлять и без того неспешное. Пересматривать, смаргивая.

– Что дед, бобик ожил? Или просто глаз мозолишь? – смеётся из пустот фемины сучий голос.

– Изыди, тварь...

Ремень сумки сползает с потного плеча. Приходится постоянно поправлять.

– Желаящие послать письмо самому себе! За очень смешные деньги...

– Ага! Себе пишешь, себе носишь – прочитай другого просишь.

– Ты чего это, Колян, стихами заговорил, не пугай меня. Нехорошо это – стихами о суетном да с издёвкой...

– Отправляем письма в собственной таре! Дёшево и удобно... В собственной таре...

Очнувшийся пляжник тупо смотрит на сборщика стеклянной подати. Сочувственно протягивает пустую пивную бутылку. Старик с достоинством берёт её клешневатыми пальцами. По-птичьи цокает языком:

– Увы, мил-человек... Вынужден разочаровать. Вот смотрите – марка малого достоинства: «Янтарь. Светлое»... Имеет хождение только вдоль побережья. Такую даже не стоит отправлять – не дойдёт. Дешевле будет докричаться. Увы...

Осторожно ставит бутылку на песок. Виногато пожимает плечами. По-военному трогается с левой ноги, чуть оттянув носок. Заунывно заводит нестройную:

– Чому я нэ сокил, чому нэ летаю...

– Почтальон с тебя, как с моего худенького мирошник... А сокол – и подавно...

– Убогий ты, Колян... Про сокола отец мой постоянно пел. А сам даже голубем почтовым не стал. Так всю жизнь ножками и топал. Пока не стоптал их по самое сердце. Оно и остановилось. Эта сумка от него осталась. Как чехол, где никогда не лежали крылья... Вот ношу на память. Дело его продолжаю...

– Постоянный ты какой-то, Степаныч, аж противно... Нет, чтобы послать всех, – слово з? слово,



членом п? столу!

– Ничего фалличного, Колян... Только общественное.

Шаги не считаны. Круги не меряны. Почтальонский труд не нормирован: написано – доставь. А человеческая суть неизменна. Если докричишься.

– Степаныч, рассказал бы какую-нибудь нихераську...

– Эт можно... Попал Садко на дно морское, а там – камикадзе ржавый самолёт ремонтирует!..

– Да ладно тебе, Степаныч, беса гнать! Люминий же не ржавеет.

– Ржавеет, Колян, просто у него ржавчина светлая. Всё ржавеет. Письма и те...

– Кто забыл написать письмо маме?! Кто забыл?..

Степаныч выхватывает взглядом старуху, встрепенувшуюся в тени под пляжным грибок. Пробирается к ней.

– Милок, я жеж не разумею ничего в этих почтах...

– А тут и разумееть нечего, баушка... Вот сюда говорите, будто ухо это... А что на сердце поближе лежит, то и говорите...

Баушка скороговоркой шепчет в бутылочное горлышко:

– Матушка, кланяюсь Вам низко... не сердчайте... изба Ваша стоит... присматривать попросила...

Николай меня не обижает... потому как умер давеча... кума Любка надоедает, судачит... ещё заладила, что денег Вам занимала... может, вспомните, то сообщите мне... если надумаете присниться...

Потом спохватывается:

– Ой, милоч, не много наговорила-то, поместится?

– В аккурат... – кивает старик.

Степено берёт бутылку из её рук, оглаживает стекло. Придирчиво осматривает этикетку. «Приморский портвейн. Ёмкость – 0,7 л».

Достаёт из кармашка сумки белую капроновую пробку, сноровисто закупоривает горлышко.

– Матушку Вашу помню, доводилось... Портвейн ей по душе был. Дойдёт, не переживайте...

Бережно вкладывает письмо в боковой отсек сумки.

– С почином, Степаныч...

– И тебе не хромать, полезный...

– Какая-то голосовая почта получается... Не проще записки внутрь вкладывать?

– Не проще, Колян... Когда излагаешь и читаешь не вслух, а «про себя», тогда о Боге не думаешь. Всё равно что предаёшь его по мелочи. Молчишь, будто таишься. Внутрь себя бросаешь. А там такая яма – нырять бесполезно... Пусть без умысла, а получается – меняешь божественный звук на пустоту. Теперь уже слово не есть бог. Теперь оно есть человек... Соображаешь? Во-от... Потому – никаких писулек! Не принимаю немых посланий. Пускай твоё письмо – один пустынный стон, но ты его из себя достань! Выскажи...

– Эк мудрёно, Степаныч... Остаётся поверить на слово... которое человек. А человек ты стоящий, уважаю...

– Ну, хоть ты...

Облезлые, когда-то синие шлёпанцы старика затевают новые следы. Шлёпают вдаль – по невидимой почтовой тропе, по калёному песку.

Одинокая птица трепещет в пустоте выгоревшего неба. Полощет крылья в горячем воздухе.

– Вот взять птицу – она тоже письмо. Только как её прочитать? К тому же не нам она писана, Колян, не нам.

– Это ж как её вотвзять-то, Степаныч? Скажешь тоже?..

Так и коротают за беседой жизнь, день – до вечера. Вынуждены уживаться – сторчавшийся бес Колян да спившийся ангел Степаныч. Шлёпанцы семят по песку. Обходят пляж, оставляя неспешные мазки следов на песчаной холстине. Солнце висит музейной лампой, освещает ежедневный шедевр без рамы. Сегодняшний эскиз ничем не отличается от вчерашнего:

«Левая подошва отчаянно косолапит, постоянно забирая внутрь. Правая, напротив, не отклоняется ни на йоту. Левая – налегает на пятку. Правая – даже не очерчивает своих границ. Левая – вдавленные ямки. Правая – лёгкое пятно-прикосновение. Левая – ... Правая – ...»

Левая – правая – левая – правая...»

Пункт приёма стеклотары на выходе из пляжа выпадает из курортного ансамбля. Маскируется в кустах. Впрочем, на популярность заведения это не влияет.

Приёмщик Лагтын лениво всматривается в местную жизнь. Отставной грузчик с нависающей улыбкой памятника, даже единственным глазом видит за нескольких.

– А вот и Колян Степаныч... Как часы-ходики. Уже с уловом тиктакает.

Рыхлое лицо его собеседника оживает:

– Ты знаешь, Лаптын, не могу понять – он и впрямь свихнулся с этой отцовской сумкой или косит? Я у него как-то пытался выцганить одну запечатанную бутылку. Если бы он ими не дорожил, точно на голове бы у меня разбил!

– Чужая душа – Потёмкин. Такие фанерные деревни явит – степь не заметишь! – смачно сплёвывает слова Лаптын. – Только с чего ему косить-то – все срока выслужил, все долги отдал. Теперь жизнь сама по нему служит, фитилёк поддерживает...

Согбенная фигура, прищаркивая, входит в тень павильона. Устало снимает с плеча увесистую сумку.

– Здоров были, Степаныч!

– Здоровей видали... – бурчит старик. – Почём нынче слать?

– По деньгам, Степаныч... По деньгам. Курс прежний: нам – шиш, вам – по локоть. Выкладывай.

Николай Степанович, кряхтя садится на корточки. Неспешно, бережно выставляет бутылки на пол. Сортирует. Закупоренные отставляет в сторонку, пустые, бутылку за бутылкой, ставит в пластиковый ящик.

– Дед, а может, поменяемся на одну почтовую, с начинкой?..

Старик поднимает голову. У самого лица покачивается денежная купюра, округло смотрит глазами молодого Шевченко. Чуть выше – бельма рыхлолицого.

– Грабки заberi, Рыхлый, а то отвяжутся! А бумажкой слюни подотри... – в голосе старика обнаруживается сталь, заточенная резать по-живому.

На дне его водянистых глаз начинает вскипать взгляд.

Пальцы Рыхлого непроизвольно комкают купюру, бумажный комочек прячется внутри кулака.

Бутылки, как мыши, переждавшие опасность, опять стеклянно шуршат, кокают. Закупоренные письма – числом пять – вольготно размещаются на дне опустевшей сумки.

– Бывай, Лаптын... Супруге поклон.

– Давай, служивый...

Лаптын долгим взглядом провожает старика. С трудом выныривает из одолевших мыслей:

– Вспомнил... Когда армейский почтальон приходил, каждое его движение ловили. Как раскладывал. Как раздавал. Никому не хотелось услышать: «Тебе ещё пишут!»... До последнего надеялись... Вот и нам нынче... «Ещё пишут...». Только пишут ли... Некому.

– Да какой он почтальон? Почти... Почти-льон...

– Сам ты «почти»! Ты его глаза видел?.. На десять твоих поменять можно.

Из динамика на спасательной станции тычется в небо раненый женский голос. Всякий раз падает на песок:

Мы срослись плавниками...

Камикадзе выползают на отмель,

Чтобы влёт задохнуться,

Чтоб недолго по краю...

Умираю!!!

Вскоре голос и вправду умирает. Но сразу оживает в мужской ипостаси, уговаривает не заплывать за буйки.

– Степаныч, так даже на новые шлёпанцы не заработаешь! Эти-то уже и цвет свой забыли...

– Зато я помню. Свидетельствую – синий... Будто взгляд Зойкин... Как я им тогда захлёбывался!.. А на новые мне уже тратиться без надобности. Жизнь сама выдаст. Чтобы шлёпал от неё подальше... Последний хрип моды – модель «Дембельские белые»...

– Ой, в точку! На бесцветьи и белый – радуга...

– Не белохульствуй, рожа...

Тела пляжников всё больше напоминают песчаные барельефы. Словно совсем недавно здесь забавлялись недобрые дети, лепили человеческие «пасочки».

Сухой усиливающийся ветер слой за слоем сдувает песочную кожу. Человекообразные островки, обманутые большой водой, трескаются от жары, осыпаются.

– Новый вид услуг: «Молитва – письмом»! Новый вид... Стопроцентная доставка...

Голос наконец-то отслоился от старика. Возникает хаотически, то там, то сям. Гаснет на полуслове. Ближе к вечеру он чудится везде. Но отчётливее всего в чахлах кустиках, неподалёку от причала. Здесь, в бубнящей невнятице проступают даже куски внутренних диалогов:

– А с жизнью, Колян, общаться надо. Кричать надо в её сторону. Каждый онемевший к ней, мнит себя Буддой. А по сути он – кем-то Забудда. Забуддыга...

...

– Это всё равно, что чаек вместо почтовых голубей пользоваться, Колян. Такая и доставка будет. До первого рыбьего косяка...



...

Правда, Колян всё чаще отмалчивается.

Иногда, если повезёт, почувдится очередная нихераська «от Степаныча»:

– Сидят на дне эти камикадзе, ставшие крабами, и читают-читают перехваченные письма и донесения врага. Пытаются вычитать между строк: что да как на родном острове. Кровавит ли восходящее солнце, заполняет ли мокрожилия... А вместо этого – снова и снова! – чужая любовь. Ни к тем. И не от этих. Да океаном – всеобщее одиночество... Так и сидят, как в трансе. А потом, очнувшись, посылают на разведку самого молодого...

Волны слизывают следы босых ног, идущие им навстречу. Пытаются дотянуться до исходной точки – опустевших шлёпанцев.

Выброшенные пучки водорослей. Развороченный студень медуз. Мусорные отголоски бывших атлантис. Сразу и не бросается в глаза, как пробираясь среди отторгнутого морем хлама – боком, обречённо, вдоль неровной линии прибоя – ползёт краб-камикадзе. Неотвратимо заходит на главный курс, слева от объектов.

Ещё пара минут – и упрётся в пустую почтовую сумку. А может, передумав, примет чуть ближе к морю. Чтобы врезаться в облезлые шлёпанцы, в которых с трудом угадывается синий цвет.

Впрочем, нет синего, как не было.

Ни в низком небе. Ни в близкой воде.

«ЛИТМУЗЕЙ»

Материалы печатаются к 95-летию со дня рождения Генриха Бёлля

ЮЛИЯ ЦЫМБАЛ

МИР ГЛАЗАМИ ГЕНРИХА БЁЛЛЯ

очерк

Писателя с мировым именем, нобелевского лауреата, прогрессивного деятеля – Генриха Бёлля называли «совестью немецкого народа». Его романы приобрели мировую известность благодаря тонкому психологизму, сатирическому гротеску и высокой художественности их автора. Жизненный путь писателя проходит во время политической неустойчивости Германии, зарождения фашизма и второй мировой войны. Разрушением и уничтожением личности в романах писателя показана война. Бёлль выступает в роли наблюдателя за поведением человека в экстремальных условиях. Писатель рисует образы, которые реально и в то же время гротескно показывает читателю.

Генрих Бёлль родился в 1917 году в Кёльне. После окончания школы поступил в гуманитарную греко-римскую гимназию. Отказавшись вступить в гитлерюгенд, он постоянно подвергался насмешкам окружающих; после окончания гимназии Генрих Бёлль отказался от идеи пойти добровольцем на военную службу и поступил учеником в один из боннских букинистических магазинов. Весной 1939 года Генрих Бёлль поступил в Кёльнский университет, однако приступить к учёбе ему не удалось. В июле 1939 года его призвали на военные сборы вермахта, а осенью 1939 года началась война. Бёлль попал в Польшу, затем во Францию. Он воевал в России, Украине, Крыму. Был капралом на Восточном и Западном фронте. Затем последовали подряд четыре серьёзных ранения, а в 1945 году он сдался в плен американцам.

Бёлль – первый и самый популярный западно-германский писатель, книги которого были переведены на русский язык. Он издавался в Советском Союзе больше, чем у себя на родине, в ФРГ. «Долина грохочущих копыт», «Бильярд в половине десятого», «Хлеб ранних лет», «Глазами клоуна» – наиболее известные из переведённых на русский язык книг Бёлля. Писатель часто посещал Советский союз, побывал в Москве, Ленинграде, Тбилиси. Однако после того, как Бёлль встал на защиту советских диссидентов, в частности А. Солженицына, И. Бродского, В. Синявского, Ю. Даниэля, правительство Союза резко изменило своё отношение к писателю. Кроме того, Бёлль выступил с резким возмущением против вторжения русских танков в Прагу. Бёлля перестали печатать. Только после долгого перерыва, во время перестройки, в 1985 году, писателя снова стали публиковать в СССР. В этом же году Генрих Бёлль умер.

Интересно, что один из лучших его романов – «Мир глазами клоуна», был переведён в Советском Союзе совершенно неправильно. Или умышленно неправдиво.

По просьбе писателя была произведена проверка перевода романа. Проводил её исследователь Богатырёв. Он нашёл массу неточностей и искажений текста, в результате чего роман «Мир глазами клоуна» превратился из антиклерикального в антирелигиозный. Антиклерикальность не отрицает бога, в ней заложен протест против церкви, которая навязывает свои догмы государству. Ряд других произведений Бёлля тоже был неправильно переведён. Бёлль потребовал, чтобы в таком виде его произведения больше не издавались. Его требований, естественно, никто не стал выполнять и разразился международный скандал.

Произведения Бёлля всегда содержат тонкую психологическую игру, превращение и развитие простого человека в «агнца» или «буйвола». Новые «буйволы» опаснее старых. Они научились мимикрии. Отто и лавочник Грец, готовы предать родную мать во имя идеалов фашизма. Они трансформировались в цинизм министра, которому «не нравятся парни, которые ещё во что-то верят». Но он готов использовать эту веру в избирательной кампании. Фашист Негтлингер теперь называет себя демократом по убеждению, понятие «оппозиция» стало эфемерным – у «правых» и «левых» всё одинаково.

Времена не меняются...



Вспоминается книга современного израильского журналиста Ханны Арендт о банальности зла. Ханна присутствовала в качестве корреспондента журнала «The New Yorker» на суде в Иерусалиме, в 1961 году над Адольфом Эйхманом, бывшим немецким офицером, который сотрудничал с гестапо и был непосредственно в ответе за уничтожение около миллиона евреев. Исследуя мотивы, побуждающие простых немецких людей совершать преступления, она пришла к выводу, что они, будучи исполнительными людьми, просто выполняли приказы, данные им сверху. Эта банальность тупого исполнения привела к катастрофе, заставившей весь мир содрогнуться от ужаса...

Не все сегодня знают, что знаменитый писатель во время войны побывал в нашем городе. Впечатления он описал в очерке «Тогда в Одессе». Бёльль, будучи военным, вместе с другими солдатами готовился к военной операции в Крыму. Перед этим их высадили в Одессе. Всего один вечер, который оставил интересный след в воспоминаниях писателя...

При прочтении этого очерка создается реальная картина военной Одессы глазами Бёльля. Холод, разруха, мокрые улицы, бульжная мостовая. Группа военных вместе с писателем заходят в дом, где сидят их соотечественники, выпивают вино и общаются с девицами. Вино, конечно, было кислое, но его пили все, закусывая, впрочем, «восхитительными колбасками». Сидящий в углу солдат пел песню «Ах, солнце Мексики», вероятно, чтобы тёплые воспоминания о солнце, позволяли согреться. Здесь продавали всякие мелочи — ручки, зажигалки, часы, для того, чтобы получить взамен ещё немного вина и уюта.

В конце очерка писатель замечает, что больше не вернётся в Одессу никогда...

В 1987 году в Кёльне был создан фонд Г. Бёльля. Это неправительственная организация, тесно взаимодействующая с партией «Зелёных». Фонд поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества, экологии и прав человека. Всего, за что боролся писатель, и борются все прогрессивные люди на земле.

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

ТОГДА В ОДЕССЕ

рассказ

Тогда в Одессе стояла стужа. Каждое утро в больших грузовиках мы тряслись по бульжникам на аэродром, дожидались, поёживаясь, пока вырулят на старт серые птицы, однако в первые два дня, в тот момент, когда мы уже должны были загружаться, следовал приказ об отмене вылета из-за плохой погоды — то над Чёрным морем стучался туман, то небо заволакивало тучами, и мы опять залезали в большие грузовики и тряслись по бульжникам обратно в казармы.

Казармы, просторные и грязные, кишели вшами, мы примазывались где-нибудь на полу или усаживались за замызганные столы и играли в очко, что-нибудь пели, подкарауливая момент, чтобы слинять за ограду. Солдат маршевых формирований в казарме собралось много, и в город никому из них не полагалось. В первые два дня мы пытались смьтться, но не тут-то было, нас ловили и в наказание заставляли таскать большие котлы с горячим кофе и разгружать хлеб; интендант-счетовод в полушубке, якобы предназначенном для передовой, стоял и считал буханки, не давая нам ничего заначить, а мы крыли и счёт, и порожденного им счетовода. Небо над Одессой всё ещё было и туманным, и тёмным, а постовые ходили, как маятник, туда-сюда вдоль чёрной, грязной казарменной ограды.

На третий день мы дождались, пока совсем стемнело, и тогда пошли прямо к главным воротам, а когда постовой нас задержал, мы брякнули ему: «Группа Зельчини» и прошли мимо. Было нас трое, Курт, Эрих и я, и шли мы не торопясь. Было всего еще четыре часа, но уже царил полная тьма. У нас не было иных желаний, как только вырваться за эту длинную, чёрную, грязную ограду, и вот, вырвавшись, мы чуть ли не захотели обратно; мы ведь лишь два месяца были в армии и всего боялись, но, с другой стороны, мы понимали, что если снова окажемся там, за оградой, то будем опять рваться на волю, а уже тогда это нам вряд ли удастся; кроме того, было ещё только четыре часа, спать нам всё равно не дали бы — либо вши, либо пение, а то и собственный страх перед тем, что завтра будет хорошая погода и нас наконец перебросят в Крым, на верную смерть. Умирать нам не хотелось, и в Крым нам не хотелось, но не было и охоты торчать целый день в этой грязной, чёрной казарме, где стоял запах суррогатного кофе и где по целым дням стружали хлеб, предназначенный для фронта, и где дежурили интенданты-счетоводы в полушубках, предназначенных для фронта, поглядывая, что-бы никто не заначил буханку.

Не знаю, чего нам хотелось. Мы просто медленно пошли по этой тёмной и ухабистой окраинной улочке, меж низеньких, неосвещённых домов; огороженная ветхим реденьким штакетником, застыла

ночь, а за нею, казалось, раскинулась пустыня, пустошь, такая же, как дома, когда люди, затеяв строить дорогу, роют траншею, а потом передумывают, заваливают ров отходами, золой, мусором, и он снова зарастает травой, жёсткой и дикой, буйными сорняками, а табличку «Сбрасывать мусор запрещается» уже и не видно, так как её погребли под мусором. . .

Шли мы не торопясь, потому что было ещё очень рано. В темноте нам попадались солдаты, возвращавшиеся в казарму, а те, что шли оттуда, перегоняли нас; мы боялись патрулей и всего больше хотели повернуть назад, но мы знали и то, что в казарме нас охватит отчаяние и что лучше уж испытывать страх, чем отчаяние в этих чёрных, грязных казарменных стенах, где таскают котлы с кофе, снова и снова таскают котлы с кофе, и где сгружают хлеб для фронта, снова и снова хлеб для фронта, под присмотром интендантов, которые толкутся в роскошных полушубках, в то время как мы все дьявольски мёрзнем.

Иногда в домах то слева, то справа в окнах брезжил изжелта-сизый свет и слышались голоса — ясные и пронзительные, боязливые, чужие. А потом из тьмы вдруг выплыло совершенно яркое окно, за ним было шумно, и мы услышали, как солдаты поют: «Ах, какое солнце над Ме-кси-кой. . .»

Мы толкнули дверь и вошли: на нас пахнуло теплом и дымом, тут и впрямь были солдаты, человек восемь или десять, некоторые сидели с женщинами, и все они пили и пели, а один расхохотался, когда нас увидел. Мы ведь были зелёные ещё, к тому же все, как на подбор, коротыши, самые маленькие в роте; форма на нас была совершенно новенькая, грубое бумажное волокно на рукавах и штанинах кололось, да и подштанники и рубашки щекотали голую кожу, и свитера были совершенно новые, и тоже колючие.

Курт, самый маленький из нас, прошёл вперед и отыскал столик; он был учеником на кожевенной фабрике и не раз рассказывал нам, откуда доставляют кожу, хотя это и было производственным секретом, он даже рассказывал нам, сколько они на этом зарабатывали, хотя уж это было секретом из секретов. Мы сели рядом с ним.

Из-за стойки вышла женщина, чернявая толстушка с добродушным лицом, и спросила, что мы желаем пить; мы же сначала спросили, сколько стоит вино, потому что мы слышали, что в Одессе всё очень дорого.

Она сказала: «Пять марок графин», и мы заказали три графина вина. Мы просадили в очко много денег; что осталось, поделили по-братски, на каждого вышло по десяти марок. Кое-кто из солдат не только пил, но и ел; ели они жареное мясо, ещё дымящееся, положенное на белый хлеб, и колбаски, пахнувшие чесноком; тут только до нас дошло, что мы хотим есть, и когда женщина принесла вино, мы спросили, сколько стоит еда. Она сказала, что колбаски стоят пять марок, а мясо с хлебом — восемь; она ещё сказала, что это парная свинина, но мы заказали три порции колбасок. Солдаты целовались с женщинами, а то и лапали их, не стесняясь, мы не знали, куда нам деться.

Колбаски были горячие, жирные, а вино было очень кислым. Мы расправились с колбасками и не знали, что делать дальше. Рассказывать друг другу нам было уже нечего, мы две недели вместе проболтались в поезде, и всё уже порассказали. Курт был с кожевенной фабрики, Эрих с крестьянского хутора, а я прямо со школьной скамьи; нам всё ещё было страшно, но мы согрелись. . .

Солдаты, целовавшиеся с женщинами, сняли португези и вышли с женщинами во двор; то были три девчонки с круглыми, смазливими личиками, они что-то щебетали и хихикали, но отправились, теперь с шестью солдатами, по-моему, их было шестеро, во всяком случае не меньше пяти. Остались одни только пьяные, которые горланили: «Ах, какое солнце над Ме-кси-кой. . .» Один из них, стоявший у стойки, высокий светловолосый обер-ефрейтор, в этот момент обернулся и снова заржал, глядя на нас; вид у нас, надо полагать, и впрямь был как на учебных занятиях: мы сидели тихо и смиренно, сложив руки на коленях. Потом обер-ефрейтор что-то сказал хозяйке, и она принесла нам прозрачно-го шнапса в довольно больших стаканах.

— Надо бы выпить за его здоровье, — сказал Эрих, толкая нас коленкой, а я стал кричать: «Господин обер-ефрейтор!» — и кричал до тех пор, пока он не сообразил, что я обращаюсь к нему, тогда Эрих снова толкнул нас коленкой, мы вскочили и хором крикнули:

— Ваше здоровье, господин обер-ефрейтор!

Солдаты захохотали, но обер-ефрейтор приподнял свой стакан и крикнул нам:

— Ваше здоровье, господа гренадёры¹. . .

Шнапс был очень резкий и горький, но он согрел нас, и мы были бы не прочь выпить ещё.

Светловолосый обер-ефрейтор подозвал жестом Курта. Курт подошёл к нему и, обменявшись с обер-ефрейтором несколькими словами, подозвал нас. Тот сказал, что у нас не все дома, раз мы сидим без денег, надо что-нибудь толкнуть, вот и вся недолга, потом он спросил, откуда мы и куда держим путь, а мы сказали ему, что сидим в казарме, ждём, когда можно будет лететь в Крым. Он как-то сразу посерьёзней, но ничего не сказал. Потом я спросил, что именно мы могли бы толкнуть, и он сказал: всё.

Толкнуть здесь можно всё — шинель и шапку, или подштанники, часы, авторучку.

Шинель нам толкать не хотелось, страшновато — это ведь было запрещено, да и очень мы мёрзли, тогда в Одессе. Мы вывернули свои карманы: у Курта нашлась авторучка, у меня — часы, а у Эриха новенький кожаный бумажник, который он выиграл в лотерею в казарме. Обер-ефрейтор взял все три вещи и спросил хозяйку, сколько она может за них дать, а она, внимательно всё рассмотрев,



сказала, что вещи плохие и что она может дать за все двести пятьдесят марок, из них сто восемьдесят за одни часы.

Обер-ефрейтор сказал, что это мало, двести пятьдесят, но он сказал также, что больше она всё равно не даст, а раз уж мы завтра летим в Крым, то нам должно быть всё едино и надо соглашаться.

Двое из солдат, певших «Ах, какое солнце над Ме-кси-кой...» встали теперь из-за стола, подошли к обер-ефрейтору и похлопали его по плечу; он кивнул нам и вышел с ними.

Хозяйка отдала мне деньги, и я заказал каждому по две порции свинины с хлебом и по большому шнапсу, а потом мы съели ещё по две порции свинины и выпили по шнапсу. Мясо было свежее и жирное, горячее и почти сладкое, а хлеб весь пропитался жиром, и мы запили все это ещё одним шнапсом. Потом хозяйка сказала, что мяса у неё не осталось, одни только колбаски, и мы съели по колбаске, заказав к ней пиво, густое, тёмное пиво, а потом выпили ещё по шнапсу и попросили пирожные, плоские, сухие пирожные из молотых орехов; потом мы снова пили шнапс и никак не могли почувствовать опьянения; зато нам было тепло и приятно, и мы забыли о колючих бумажных подшпанниках и свитерах и вместе с вновь пришедшими солдатами пели хором: «Ах, какое солнце над Ме-кси-кой...»

К шести часам денежки наши кончились, а мы всё ещё не были пьяны; и мы отправились обратно в казарму, потому что нам было нечего больше толкнуть. На тёмной, ухабистой улице теперь не светило ни одно окно, а когда мы добрались до проходной, постовой сказал, что мы должны зайти в караульную. В караульной было жарко и сухо, грязно, пахло табаком, и фельдфебель стал орать на нас и пригрозил, что последствия мы ещё увидим. Однако ночью мы спали очень хорошо, а на следующее утро мы снова тряслись в больших грузовиках по булыжникам к аэродрому, и было в Одессе холодно и замечательно ясно, на сей раз погрузились наконец в самолёты; а когда они поднялись в воздух, мы вдруг поняли, что никогда сюда не вернёмся, никогда...

¹Гренадёры – так в вермахте называли рядовых моторизованной пехоты.

ОЛЬГА КОРОЛЬКОВА

«...А Я БЫЛ СОЛДАТОМ...» фронтовые письма Генриха Бёлля

*Копии писем Г.Белля 1943-1944 г. любезно предоставлены
Одесскому литературному музею Р. Бёллем и Архивом Г. Бёлля (Кёльн).*

Генрих Бёлль вступил в немецкую литературу в 1947 году, и первые его произведения были посвящены теме войны. Не только потому, что проблема осмысления далеко не самых славных лет немецкой истории была чрезвычайно актуальной для бёллевского поколения, но и потому, что единственным серьёзным жизненным опытом начинающего писателя был опыт солдата.

Осенью 1939 года студент Кёльнского университета Генрих Бёлль был призван на действительную службу в ряды вермахта, служил в оккупированной Польше, затем во Франции. Военная судьба была милостива к ефрейтору Бёллю – он не принимал участия в военных действиях. Но осенью 1943 года его часть перебрасывают на Восточный фронт, в одну из самых горячих точек – в Крым. Зимой 1943-1944 гг. здесь идут ожесточённые бои, завершившиеся победоносной для Советской Армии Яско-Кичиневской операцией в августе 1944-го.

Письма Генриха Бёлля, которые он почти ежедневно пишет своим родителям и жене, позволяют с большой точностью восстановить обстоятельства его пребывания на Восточном фронте и, в частности, в Одессе: конец октября-начало ноября 1943 г. – военный эшелон идёт в Крым, останавливаясь на небольших станциях; 10 ноября 1943 г. – Винница, откуда самолётами часть доставляют в Одессу; 11 ноября 1943 г. – самолётами же часть перебрасывают в Крым, на передовую; 2 декабря 1943 г. – Бёлль получает осколочное ранение головы. Раненого перевозят из медсанчасти в медсанчасть, а затем 6 декабря 1943 г. на «юнкерсе» доставляют в Одессу, в лазарет. Произведена операция, и 13 декабря 1943 г. Бёлля переводят в другой лазарет, в восьмидесяти километрах от города в сторону румынской границы; 6 января 1944 г. – Бёлль прибывает в Одессу на поезде Бухарест-Одесса на неврологическое обследование, а затем его определяют в роту выздоравливающих; 12 января 1944 г. – лазарет для легкораненых на границе с Румынией, откуда путь Бёлля идёт всё дальше на Запад.

Именно Восточный фронт становится первым непосредственным столкновением Г.Бёлля с войной. «Когда-нибудь потом я расскажу тебе кое-что об этих днях, когда я смотрел войне в её настоящее лицо [...]» – пишет Бёлль в письме к жене, Аннемари Бёлль, 14 ноября 1943 года (*здесь и далее письма Г.Бёлля даны в нашем переводе – О.К.*). Позже он действительно расскажет об этом, и не

только Аннемари, но и всем своим соотечественникам, всему миру, в рассказах «Неизвестный солдат», «Тогда в Одессе», «Мы, вязальщики мётел», в повести «Поезд пришёл вовремя» и во многих других произведениях. В 1943-1944 годах выкристаллизовывается то понимание войны, которое писатель пронесёт через всю жизнь. Фронтные письма Бёлля являются чрезвычайно ценным документом в этом смысле. Особенно интересны для нас письма с Восточного фронта, так как в них отчётливо выражен взгляд будущего писателя не только на сущность войны, но и его отношение к русским, к России и, в частности, весьма любопытное восприятие нашего города Одессы.

Война для Бёлля принципиально лишена любого налёта героичности, она сопрягается в его сознании, в первую очередь, с грязью, кровью, унижением человеческого в человеке, страхом, отравляющим каждую минуту существования, бессмысленной гибелью людей. «Война жестока, зла и ужасна; как звери, мы съёживаемся в своих земляных норах и прислушиваемся, прислушиваемся к огню артиллерии, которая часто почти накрывает нас тяжёлыми калибрами [...]. Мне представляется загадочно-печальным, что матери должны отпускать своих сыновей на войну [...], я плотно и крепко прижимаюсь к чёрной русской земле, чтобы защитить свою жизнь от смертельного железа. Ах, я уверен, что со мной ничего не случится», — пишет Бёлль в письме Аннемари 19 ноября 1943 г.

Письма Бёлля с Восточного фронта — это не жалобы на тяготы военной жизни и не бодренькое приукрашивание действительности для успокоения родных. Они полны очень точных и трезвых наблюдений над происходящим и таких же трезвых раздумий и оценок. Вместе с тем, бёллевские письма проникнуты необычайной теплотой по отношению к близким, тоской по ним, желанием приободрить их и вселить в них веру в благополучный исход всех страданий. 7 января 1944 г. Бёлль пишет родителям из Одессы: «[...] я действительно верю в Божью помощь и пребываю в постоянном убеждении, что я вернусь к вам живым из ужасов этой войны. Здесь действительно не ждёшь абсолютно никакой человеческой помощи; исключительно везде ты предоставлен воле «случая». Нужно только знать, что никакого случая нет, но действительно каждая мелочь зависит от Бога». Бёллю совершенно чужда идея «фронтного братства», которая одушевляла писателей «потерянного поколения» после Первой мировой войны. Его солдат одинок в своей «заброшенности» в страшную круговерть войны.

Особенно сильно это чувство перед лицом огромной, таинственной и страшной для Бёлля России. Первый раз он ступает на русскую землю во время остановок военного эшелона, в котором он едет на фронт. «На станциях, где мы останавливаемся, царит сумасшедшая, пёстрая суэта, безумная торговля предметами одежды, часами, зажигалками [...]. Русские платят фантастические цены за всё [...] И это всегда замечательно, когда на остановке можно покинуть темницу вагона, чтобы глотнуть воздуха, увидеть людей, действительно настоящих русских мужчин и женщин с птичьими голосами, как у домработницы вашей хозяйки» (письмо родителям, 9 ноября 1943 г.). «Россия, так, как её видишь из окна вагона, несказанно велика и печальна, действительно сказочная страна, которую не так-то легко «понять», нужно ждать, ждать [...] До сих пор мы всегда останавливались на маленьких сельских полустанках, здесь люди ещё не так сильно сломлены голодом. В деревне вообще жизнь сохраняется всегда свою естественную форму [...], но иногда по пути можно увидеть мрачных, бледных, жалких, бедных пролетариев, по виду которых можно догадаться, что такое Советская Россия» (письмо 10 ноября 1943 г.). Это последнее письмо Бёлля с дороги.

Затем его ждут изнурительные бои в Крыму, ранение и, наконец, — передышка, «остановка в пути» — госпиталь в Одессе. «[...] В этом большом, тёмном, очень восточном городе я лежу на изумительной белой постели с широкой повязкой на голове, которая, однако, выглядит более опасной, чем есть на самом деле», — пишет Бёлль родителям 8 декабря 1943 г. Появляется возможность кое-что увидеть в этой загадочной России, пусть даже госпитальный двор или некоторые улицы города: «Широкая, широкая и плоская, и белая — Россия, эта страна без заборов и стен, без границ кишит злыми духами... Я так тоскую по Рейну, по Германии [...]» (письмо родителям, 31 декабря 1943 г.).

А вот какова Одесса, увиденная глазами ефрейтора Бёлля (письмо Аннемари, 7 января 1944 г.): «От вокзала я должен был добраться до пункта сбора раненых по улицам, покрытым жидкой глиной, на которую безостановочно падал снег, через «базар» - рынок. Ах, эта толкотня востока мне так отвратительна. Я ещё не успел отойти от вокзала, как какой-то устрашающего вида бродяга захотел за 1200 марок снять с меня обручальное кольцо. Прежде, чем я успел опомниться, он сунул его под лупу и был откровенно восхищен качеством золота! Ах, мне действительно стало противно. На базаре ты можешь купить всё, что хочешь, а также всё можешь продать. Идёт безумная торговля между сельскими и засаленными «местными жителями», у каждого из которых по десять тысяч марок в кармане. Ты можешь сколько угодно есть жареные колбаски, ты можешь купить шоколад, сигареты, сало, сливочное масло, ветчину, чудесное подсолнечное масло [...], водку и радиоприемники [...]. Ты можешь съесть шницель по-венски, приготовленный со всей изощренностью, ах, всё, что вообще продаётся и покупается есть на этом [...] «базаре», который одновременно подобен раю и преисподней [...] — а вокруг, на фоне тёмно-серого неба, ты увидишь фантастические силуэты прекрасных башен с куполами-луковицами; толстые, уютные башни, в которых, однако, есть что-то таинственно демоническое. Но самое фантастическое — это дома, грязно-жёлтые фасады, от жёлтого до чёрного, призрачные и захватывающие, плоские крыши, длинные, длинные грязные улицы, и эти — жёлтые фасады, такие похожие и, в то же время, захватывающе чуждые друг другу. Моя первая мысль при виде этих домов



была: Достоевский! Волнующим образом они все ожили передо мной: Шатов и Ставрогин, Раскольников и Карамазовы, ах, все они были со мной, когда я смотрел на их дома. Это именно их дома [...], я могу понять, как в подобных домах можно было днями, ах, годами дискутировать за чаем, сигаретами и водкой, ковать планы и забывать о работе [...]. Я ещё недостаточно силён, чтобы выразить то, что движет моим сердцем... Знаю только, что я почувствовал, что я человек с запада, и что я тоскую, тоскую по Западу, где ещё сохранился "raison". Здесь, в "больничном районе", — необозримая колония крепких, солидных, красивых, но немного безвкусных домов-коробок [...], совсем таких, как у нас ящики для детских кубиков! Между ними разбросаны запущенные поля и дома-казармы; и все, все без заборов и стен, это в первую очередь и больше всего бросается в глаза, особенно, если ты приехал непосредственно из Франции; там каждый ничтожный клочок земли окружен до смешного высокой стеной, здесь же всё свободно, велико и безгранично [...]. Во Франции можно чувствовать страх, входя в дом, здесь же страх охватывает тебя при виде плоских беспредельных полей, которые "свободны" для всего!!!»

Бёлль рассуждает с точки зрения «человека Запада», поэтому и Одесса для него — город Достоевского и, в то же время, город огромных пространств. Настоящего своеобразия Одессы Бёлль не видит, да оно и понятно в его ситуации.

И всё же Одесса, Россия вообще, для Бёлля таинственны, непознаваемы рассудком, путающе чужды, но не враждебны! Для него здесь нет врага, что не совсем обычно для солдата, который стреляет сам и в которого стреляют. В письме Аннемари 21 ноября 1943 г. из Крыма Бёлль признается: «Проходя мимо каждого убитого, немец он или русский, я приучил себя тихо говорить: "Благослови, Господь, твою душу!"». А в конце своей жизни, в 1985 г., в эссе «Письмо моим сыновьям, или Четыре велосипеда» он напишет так: «[...] у меня нет ни малейшего основания жаловаться на Советский Союз. То обстоятельство, что я там несколько раз болел, был там ранен, заложено в "природе вещей", которая в данном случае зовётся войной, и я всегда понимал: нас туда не приглашали [...]. Солдатам — а я был солдатом — следует жаловаться не на тех, против кого их послали воевать, а только на тех, кто послал их на войну».¹

К 1985 году Бёлля вёл долгий путь гуманистических исканий и утверждений. Но мы с полным правом можем считать, что путь этот начался уже в сороковые военные годы и, не в последнюю очередь, на Восточном фронте.

¹ Иностранная литература. — 1985. — № 12. — С. 221-222

«ШКАФ»

ЛОЛА ЗВОНАРЁВА

ЗАВЕЩАНИЕ АГАСФЕРА, или ВРЕМЯ ЖИТЬ И ВРЕМЯ УМИРАТЬ ПО АЛЕКСАНДРУ ШОЙХЕТУ

статья

У истоков легенды об Агасфере, появившейся в XII веке, – христианский миф. Герой легенды отказал Христу, идущему с крестом на Голгофу, в кратком отдыхе на скамейке своего дома и прогнал его, называя «осквернителем шаббата и соблазнителем народа». Христос проклял его и отныне Агасфер вынужден был вечно странствовать, не зная ни покоя, ни отдыха: он стал «вечным жидом», странствующим по городам и сёлам Европы и Средиземноморья, принимая участия в боях гладиаторов в Риме, сталкиваясь с насилием вновь и вновь, стремясь умереть, но – продолжая жить. Используя образ Агасфера и традиционный мотив легенды, современный израильский прозаик Александр Шойхет наполняет её принципиально новым содержанием: его Агасфер, главный герой одноименного романа – это «воин времени».

В этом фантастическом романе, привлекая богатый исторический материал – из разных эпох и стран, писатель обращается к неиссякаемым пластам глубинной памяти еврейского народа, столь высоко ценимым и его ровесницей Диной Рубиной (вспомним её роман «Белая голубка Кордовы»).

Александр Шойхет в романе «Агасфер» использует с пушкинских времен популярный в нашей литературе приём двойного отстранения – перед нами найденная рассказчиком рукопись умершего землянина Виктора Берга. Действие развивается одновременно в нескольких планах.

Читая книгу, мы легко проходим сквозь столетия, попадая то в глубокую пещеру с лежанкой, покрытой козьими шкурами, то на крышу дома в южном Иерусалиме, то в пыльное местечко, затерянное в жаркой Бессарабии, то – в варшавскую кондитерскую на знаменитой Маршалковской или в скрывающий польских партизан лес эпохи второй мировой.

Одна из задач романа «Агасфер», открывающего читателю всплески памяти из прежних воплощений героя, попадающего в разные исторические эпохи, – поднять боевой дух современных мужчин, усилить мужскую составляющую современной цивилизации, которая давно уже стала, с точки зрения автора, чересчур женствен-

ной. Поэтому даже в заголовках глав подчёркивается образ героя-воина («Воин Бар-Кохбы»). Эпиграфом к двум романам Александра Шойхета можно было бы поставить слова одной из героинь романа «Агасфер»: «Смелость, дерзость, напор, сила – вот что должно появиться у вашей молодежи. Иначе ваша нация будет уничтожена в новом веке, как и прочие древние народы».

Творческую манеру А.Шойхета отличает естественность и современность, но опирается писатель на традицию, имеющую глубокие корни в европейской прозе. Это, в первую очередь, исторические романы Л. Фейхтвангера – «Испанская баллада», «Гойя». Издатели выпустили роман «Агасфер» под грифом «Новая классика», подчёркивая его высокий художественный уровень.

Обращается писатель и к любимому толстовскому тезису – человеку всё даётся («его способностью восприятия впечатлений»). Ещё В. Версаев сто лет назад обратил внимание на созвучность эстетических установок Льва Толстого и нобелевского лауреата Анри Бергсона, считавшего, что интеллект не в состоянии понять жизнь, а интуиция это под силу.

Особую пластичность прозе Шойхета придаёт умение рисовать эпизоды из жизни того или иного персонажа через впечатления, восприятие окружающего мира этим героем. В происходящих событиях словно участвует сама природа: «Полная луна недобро усмехалась с небес...», «Деревья качались от ветра и махали мохнатыми зелёными лапами, как будто тоже прощались».

Шойхет в импрессионистической манере передаёт объёмное ощущение богатого конфликтами многонационального мира, насыщенного боями и ранениями, любовными радостями и погонями. В этой энергичной, поистине мужской, порой – подчёркнуто брутальной прозе всё движется («рыжие тёплые волосы, отнесённые ветром на спину»), звучит («стрекот цикад»), насыщено запахами и цветом («меч из зеленоватой переливчатой стали в простых чёрных ножнах»).

Авантюрный сюжет в романе «Агасфер» удачно дополнен тщательно выписанным бытом с узнаваемыми, запоминающимися деталями («доспех из чёр-



ной грубой кожи незнакомого зверя и шлем с железными накладками») и импрессионистической художественностью, завешанной модернизмом.

Читателю близки вопросы, над которыми мучается главный герой. Такое ощущение, что они обращены ко всем нам: «Что было главным в моей жизни? С чем я сталкивался в прошлом?.. Разве этот мир гармоничен? Разве в нём есть место любви, состраданию, справедливости? Разве тот, кто силён и многочислен, озирается на Всевышнего, когда забирает чью-то жизнь, дом или имущество?»

Основа прозы Александра Шойхета – энергичный, напряжённый глагол действия, который держит на себе повествовательный каркас. Читатель вовлекается в стремительный поток событий. Но сознание современного читателя диалогично. Помня об этом, Шойхет часто обращается к приёму диалога: его герои любят спорить, и в этих спорах начинает участвовать читатель.

Новый роман Шойхета «Витражи» (подзаголовок – «короткая длинная жизнь») также перенасыщен диалогами. В нём автор открывает свой взгляд на «двести лет вместе», проведённые в несмолкающих спорах на разных уровнях российского общества.

Понимание еврейского менталитета как чужого и враждебного, подкреплённое ложными стереотипами и откровенной клеветой, на разных социальных этажах советского общества и на различных уровнях – от бытового, домашнего до государственного и общественного – показано прозаиком через судьбу московского интеллигента среднего поколения Бориса Штейна. Так и чувствуешь в голосе автора боль за наивных мальчишек и сильных парней из интеллигентных еврейских семей, изо всех сил старавшихся быть «своими в доску» в московском дворе, студенческом стройотряде или археологической экспедиции, но рано или поздно неизбежно наталкивавшихся на холодную стену отчуждения.

За годы жизни в СССР Борису Штейну довелось пережить и службу в советской армии периода брежневского застоя, и первую институтскую любовь, и брутальное испытание стройотрядом и археологической экспедицией, и полное скрытых рифов искушение тайной оппозицией власти – диссидентством, и казавшуюся вполне реальной угрозу погромов, и ложное обаяние перестройки, и полную скрытых драм эмиграцию.

Стремясь показать героя глазами его оппонентов или тайных поклонниц, Александр Шойхет включает в повествование фрагмент из дневника начальника Батарейского отряда Анапской экспедиции и письмо московской подруге бывшей студентки физтеха, ныне проживающей в Нью-Йорке.

Роман «Витражи» свежестью переживаний событий 70-х, 80-х годов прошлого века по-своему «рифмуется» с мемуарной повестью Дмитрия Бобышева «Я – здесь». У этих книг общая задача – подвести первые итоги прошедшему столетию на примере судьбы одного поколения российских интеллигентов, переживших эмиграцию в отнюдь не юном возрасте. Автор-повествователь романа «Витражи», окончивший Литературный

институт в середине 70-х и эмигрировавший в Израиль в 1990 году, также внутренне остаётся здесь, в России. На этой земле он родился, впервые полюбил и обрёл, а потом потерял друзей. Здесь открывал для себя разные лики и маски зла, и ему важно поведать читателю и об этом – о человеческих мерзостях и многочисленных предательствах, которые обрушила на него судьба.

Вместе с героем романа «Витражи» мы оказываемся то на даче в Одинцово, то в московском подвале, то в госпитале Санта-Катарина. Для автора важно осмыслить, что произошло с его поколением – выполнило ли оно свою историческую роль, какое будущее ожидает наши страны? Сегодня ответить на эти вопросы невозможно, думая лишь о мире земном.

Именно поэтому среди героев появляется Ангел-хранитель, голос которого главный герой – в прошлом москвич, а ныне – израильтянин Борис Штейн – слышит не только во сне, но и наяву. Так в реалистическом повествовании появляется ещё один – мистический план.

В романе «Агасфер», где есть свой мистический герой – Чёрный ангел – спрятан как бы тайный отсыл к «археологической» главе романа «Витражи», где герой и его возлюбленная встречаются через две тысячи лет: «Я жил на земле уже шестую жизнь... Это было на исходе двадцатого века, на юге России...»

А этот фрагмент из романа «Агасфер» вполне мог оказаться на страницах романа «Витражи», ибо касается самой важной для автора темы, объединяющей эти две книги – размышлениями о своём поколении – о тех, кто в «пятидесятых рожденья»: «Жизнь в сравнительно благополучных пятидесятых – шестидесятых складывалась у моего поколения так, что мы жили на улицах. Нет, мы не были бездомными, но жизнь в московских «коммуналках» располагала к открытости, там не было места для наших шумных игр, поэтому мы убежали на улицы. У трети моего класса не было отцов, матери работали с утра до вечера, а старики наши уходили из жизни быстро».

Эрудированный философ и отважный воин, готовый с оружием в руках защищать свою страну и любимых людей; искушённый стилист, предпочитающий лапидарную короткую фразу, и страстный публицист-интеллектуал, постоянно готовый к полемике, умело оперируя цифрами, фактами и цитатами, – лицо автора-повествователя в романах «Агасфер» и «Витражи» всё время как бы двойся. Но самое главное – он избегает поверхностных, торопливых оценок, призывая читателя к искреннему диалогу-размышлению. А значит, эта книга очень нужна нашему мыслящему современнику, пытающемуся понять, что с нами происходит и куда нас несёт «неумолимый рок событий».

И ещё. Эти две книги пронизаны страстной любовью к своей культуре и к своему народу, к его трагической истории и трудному настоящему и – что не менее важно для автора! – убежденностью, что поколение сегодняшних «пятидесятилетних» должно оставить после себя достойный и значимый след.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

На 3 стр. обложки:

фото № 1 - Генрих Белль (1942 г.);
фото № 2 - С женой Аннемари (1942 г.);
фото № 3 - Конверт письма Генриха Бёлля (1943 г.);
фото № 4 - Генрих Бёлль (1952 г.).

Підписано до друку 12.02.2013 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,41.
Зам. 3296. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17